



Аннотация

В сборник вошли произведения известных советских писателей (А. Н. Толстого - «Голубые города», «Гадюка», «Похождения Невзорова, или Ибикус»; А. Веселого - «Реки огненные», «Седая песня»; В. Кина «По ту сторону»), которые в увлекательных приключенческих сюжетах рассказывают о сложных и напряженных событиях революции и гражданской войны, рисуют разнообразные и сильные человеческие характеры, показывают наряду с героическими и сломленные судьбы («Похождения Невзорова» А. Н. Толстого).

Алексей Толстой

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

ДВА СЛОВА ВСТУПЛЕНИЯ

Один из свидетелей, студент инженерного училища Семенов, дал неожиданные показания по наиболее туманному, но, как это выяснилось в дальнейшем, основному вопросу во всем следствии. То, что при первом знакомстве с обстоятельствами трагической ночи (с третьего на четвертое июля) казалось следователю непонятной, безумной выходкой, или, быть может, хитро задуманной симуляцией сумасшествия, теперь стало ключом ко всем разгадкам.

Ход следствия пришлось перестроить и вести его от финала трагедии от этого куска полотнища (три аршина на полтора), приколоченного на рассвете четвертого июля на площади уездного города к телеграфному столбу.

Преступление было совершено не сумасшедшим – это установили допрос и экспертиза. Вернее всего, преступник находился в состоянии крайнего умоисступления. Приколавывая на столб полотнище, он спрыгнул неловко, вывихнул ногу и лишился чувств. Это спасло ему жизнь, – толпа растерзала бы его. На допросе предварительного следствия он был чрезвычайно возбужден, но уже следователь губсуда застал его успокоившимся и отдающим себе отчет в совершенном.

Все же из его ответов нельзя было составить ясной картины преступления, – она распадалась на куски. И только рассказ Семенова слепил все куски в одно целое.

Перед следователем развернулась страстная повесть мучительной нетерпеливой и горячечной фантазии.

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ БУЖЕНИНОВЕ

В стороне от станции Безенчук, Пугачевского ныне уезда, тянулся по широкой грязище красноармейский обоз. Кругом бурая степь, мокрые тучи над ней, вдали – тусклая, как трехсотлетняя тоска земли российской, щель просвета над краем степи да телеграфные столбы с подпорками в стороне от дороги. Было это осенью 1919 года.

Головная конная часть, сопровождавшая обоз, наткнулась в этой ветреной пустыне на следы недавнего боя: несколько дохлых лошадей, опрокинутая телега, десяток человеческих трупов без шинелей и сапог. Головной отряд, покосившись, проехал было мимо, но командир вдруг повернулся в седле и указал мокрой варежкой на телеграфный столб. Отряд остановился.

У столба, привалившись, сидел человек с пунцово-красным лицом и, не шевелясь, глядел на подъехавших. С обритого черепа его свисала окровавленная тряпка. Запекшиеся губы шевелились, будто он шептал про себя. Видимо, он делал страшные усилия, чтобы подняться, но сидел, как свинцовый. На рукаве у него была нашита красная звезда.

Когда двое всадников тяжело соскочили с коней и пошли к нему, разъезжаясь по грязи, он быстро-быстро задвигал губами, безусое лицо сморщилось, глаза расширились, белые от ужаса, от гнева.

– Не хочу, не хочу, – едва слышно, поспешно бормотал этот человек, отойдите, не застилайте... Мешаете смотреть... Ну вас к черту... Мы же вас давно уничтожили... Не топчитесь перед глазами, не мешайте... Вот опять... С того холма через реку... Глядите же вы, собаки белогвардейские, обернитесь... Видите – мост над полгородом, арка, пролет – три километра... Из воздуха? Нет, нет, – это алюминий. И фонари по дуге на тончайших столбах, как иглы...

Человек бредил в жестоком сыпняке и, видимо, принимал своих за врагов. От него так и не добились, что это был за отряд, десять человек из которого валялось у дороги. Сам он остался жить только оттого, что во время боя лежал раненый в телеге, валяющейся сейчас кверху колесами.

Его положили на воз с овсом. Вечером на станции Безенчук сделали перевязку и с ближайшим санитарным эшелоном отправили в Москву. Документы его были на имя Василия Алексеевича Буженинова, уроженца Смоленской губернии, двадцати одного года.

Человек этот остался жить. К весне он встал на ноги, а летом его снова бросили на фронт. С сотнями других, таких же как он, Буженинов входил и уходил из разоренных городов Украины; хоронился по орешникам и вишенникам, отстреливаясь от белых и зеленых; сиживал в звездные ночи у костра над Доном; месил грязь в степях под осенним ветром, воющим уныло между ушами коня да по телеграфным проводам; бился в лихорадке в палящих песках Туркестана; ходил под Перекоп и в Польшу.

Все это впоследствии вспоминалось ему как сновидение: стычки, песни голодного брюха, перетянутого красноармейским кушаком, полуразбитые теплушки, мчавши-

еся по равнинам, пылающие на горизонте крыши деревень, товарищи – то горластые и беззаботные, то бешено злые в бою, то присмирившие с усталости и голода. Товарищи, как бегущие мимо вагона столбы и деревья, уходили из памяти, из зрения, уходили «домой», в землю. Разного человека в те годы не было, – были братишки. Вот он, братишка, обмотавший кусками ковра ноги – вместо сапог, таскает ложкой из котла кашу так, что желваки катаются на скулах, а к вечеру, гляди, лежит, уткнувшись, запустив окоченевшие пальцы в землю.

Вот отчего те годы вспоминались как сон.

Сведения о жизни Василия Алексеевича расплываются в тумане этих лет. Болен и ранен не был, в отпуску не бывал. Однажды Семенов встретил его в пограничном городке, в корчме, и за самогоном провел несколько часов в горячей беседе. Впоследствии Семенов рассказывал так об этой встрече:

– С Василием Бужениновым мы окончили одно училище, он был классом старше. Затем он поступил на архитектурные курсы в шестнадцатом году, а я в семнадцатом – в инженерное.

В корчме мы стали вспоминать прошлое. Вдруг Буженинов вскочил, перекинулся. «Чего старье переворачивать, давай о другом. Сто лет прошло с тех пор. Я вот помню, как бабушка у нас в доме, в провинции, спички колола вместе с головкой на четыре части для экономии, – из одной коробки четыре коробки выгоняла. Вот так сэкономили! Две с половиной тысячи паровозов валяются под откосами. Я спрашиваю: война кончена, значит опять теперь спички на четыре части колоть? Возврата нет, ста-

рое под откос! Либо нам погибнуть к дьяволу, либо мы построим на местах, где по всей земле наши братишки догнивают, – построим роскошные города, могучие фабрики, посадим пышные сады... Для себя теперь строим... А для себя – великолепно, по-грандиозному...»

После демобилизации Василий Алексеевич поступил снова на архитектурные курсы и пробыл в Москве до весны 1924 года. Семенов рассказывает, что все это время Буженинов работал с каким-то даже иступлением. Питался впроголодь. Одно время, говорил, он ночевал в склепе на Донском кладбище. Женщин, разумеется, дичился. И носил на костлявых, сутулых плечах все ту же красноармейскую шинелишку, простреленную, в бурых пятнах, в которой его когда-то нашли в степях Пугачевского уезда.

В начале апреля Буженинов заболел нервным переутомлением. Семенов приютил его у себя на диване. Тогда же Буженинов получил из уездного города, со своей родины, какое-то письмо и часто перечитывал его, будто оно было написано на мало понятном ему языке. Письмо страшно его волновало. Несколько раз он говорил, что должен побывать на родине, иначе во всю жизнь не простит себе. Очевидно, воображение его было также не в порядке.

Семенов собрал деньги между товарищами и купил Буженинову железнодорожный билет. Дня за два до его отъезда по случаю весенних дней была вечеринка, на которой Буженинов, захмелев, в крайнем возбуждении рассказал товарищам удивительную историю.

Рассказ его приводится здесь в том именно виде, каким был воспринят товарищами, плотно набившимися в ком-

нату Семенова, когда за открытым окном над московскими крышами, над полосатыми от рекламных лент узкими улицами, над древними башнями, над прозрачными ветвями бульварных лип разлился синеватый свет вечера и пренебреженный поэтами всего Союза весенний месяц узким ледяным серпом стоял в вечерней пустыне.

ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

«Четырнадцатого апреля 2024 года мне стукнуло сто двадцать шесть лет... Подождите скалиться, товарищи, я говорю очень серьезно... Я был ни стар, ни молод: седой, что считалось весьма красивым, – волосы отлива слоновой кости; угловатое свежее лицо; сильное тело, уверенное в движениях; легкая одежда, без швов, из шерсти и шелка; упругая обувь из кожи искусственных организмов – так называемой «сапожной культуры», разводимой в питомниках Центральной Африки.

Все утро я работал в мастерской, затем принимал друзей и сейчас, в сумерки, вышел на террасу уступчатого дома, облокотился и глядел на Москву.

Полстолетия тому назад, когда я уже умирал глубоким стариком, правительство включило меня в «список молодости». Попасть туда можно было только за чрезвычайные услуги, оказанные народу. Мне было сделано «полное омоложение» по новейшей системе: меня заморозили в камере, наполненной азотом, и подвергли действию сильных магнитных токов, изменяющих самое молекулярное строение тела. Затем вся внутренняя секреция была освежена пересадкой обезьяньих желез.

Действительно, заслуги мои были значительны. С террасы, где я стоял, открывалась в синеватой мгле вечера часть города, некогда пересеченная грязными переулками Тверской. Сейчас, уходя вниз, к пышным садам Москвы-реки, стояли в отдалении друг от друга уступчатые, в двенадцать этажей, дома из голубоватого цемента и стекла. Их окружали пересеченные дорожками цветники – роскошные ковры из цветов. Над этой живописью трудились знаменитые художники. С апреля до октября ковры цветников меняли окраску и рисунок.

Растениями и цветами были покрыты уступчатые, с зеркальными окнами, террасы домов. Ни труб, ни проводов над крышами, ни трамвайных столбов, ни афишных будок, ни экипажей на широких улицах, покрытых поверх мостовой плотным сизым газоном. Вся нервная система города перенесена под землю. Дурной воздух из домов уносился вентиляторами в подземные камеры-очистители. Под землю с сумасшедшей скоростью летели электрические поезда, перебрасывая в урочные часы население города в отдаленные районы фабрик, заводов, деловых учреждений, школ, университетов... В городе стояли только театры, цирки, залы зимнего спорта, обиходные магазины и клубы – огромные здания под стеклянными куполами.

Такова была построенная по моим планам Москва двадцать первого века. Весенняя влажность вилась в перспективах раскрытых улиц, между уходящими к звездам уступчатыми домами, и их очертания становились все более синими, все более легкими. Кое-где с неба падал узкий луч, и на крышу садился аэроплан. Сумерки были насыщены музыкой радио – это в Тихом океане на острове играл оркестр вечернюю зорю.

Всего одно столетие отделяло нас от первых выстрелов гражданской войны. На земле шел сто седьмой год нового летосчисления. Демобилизованные химические заводы изменили суровые и дикие пространства. Там, где расстилались тундры и таежные болота, — на тысячи верст шумели хлебные поля. Залежи тяжелых металлов на севере, уран и торий, были наконец подвергнуты молекулярному распадению и освобождали гигантские запасы радиоактивной энергии. От северного к южному полюсу по тридцатому земному меридиану была проложена электромагнитная спираль. Она обошлась в четверть стоимости мировой войны четырнадцатого года. Электрическая энергия этой полярной спирали питала станции всего мира. Границ между поселениями народов больше не существовало. В небе плыли караваны товарных кораблей. Труд стал легким. Бесконечные круги прошлых веков борьбы за кусок хлеба эта унылая толчея истории — изучалась школьниками второй ступени. Мы свалили с себя груз, который тащили на кривых спинах. Мы выпрямились. Людям прошлого не понять этих новых ощущений свободы, силы и молодости.

Да, уверяю вас, жить стало большим счастьем, и земля стала желанным местом жизни. Так думал я, глядя с террасы на построенный мною город. В воздухе возник тонкий звук, как бы от лопнувшей струны. Сигнал. И весь город залился светом электрических огней: убегающие к Москве—реке ряды круглых фонарей, фонари на террасах, и — потоки света с плоских крыш в лиловое небо. Мерцающим светлым яйцом возвышался на площади Революции стеклянный купол клуба. Низко и бесшумно ночной птицей нырнул сверху вниз мимо террасы аэроплан, и женский голос оттуда крикнул...»

.....

Буженинов оборвал рассказ и, смущенно, почти жалко улыбаясь, оглядел товарищей. В руке у него дрожал стакан с пивом...

— А что?.. Разве не за это мы пошли в восемнадцатом году умирать, товарищи? — проговорил он глуховатым голосом. — Помню, этим городом я в сыпняке бредил... В какой-то степи сижу у столба... Дождь... Мертвяки валяются... А за дождем, из мокрых бурьянов просвечивают купола, дивные арки, вырастают дома уступами... Сейчас — закрою глаза и вижу... Эх! А мы время теряем, пиво пьем...

Не отхлебнув из стакана, он прилег на кровать, закрыл глаза. Землистое лицо его подергивалось. Начался спор. Буженинову говорили:

— Горячишься, Вася... С такой горячкой дела не сделаешь... Новую жизнь строить — не стихи писать. Тут железные законы экономики работают. Тут надо поколения перевоспитывать. А с утопсоциализмом, куда рот разинул, тебя живо колесами переедут... Держи курс в мировую революцию, а дни пока — все понедельники. С понедельником справиться потруднее, чем твой город построить...

На все эти разумные слова Буженинов, не открывая глаз, отвечал сквозь зубы:

— Знаю... Знаю...

Товарищи пошумели и разошлись на рассвете. Шестнадцатого утром Буженинов уехал на родину. Весь багаж его состоял из папки с чертежами и ящика с чертежными принадлежностями.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Письмо, взволновавшее Буженинова, было от воспитанницы его матери, Надюши – Надежды Ивановны. Сидя у окна в вагоне, он еще раз перечитал его.

«Дорогой Вася, мы недавно узнали, что ты жив и даже учишься в Архитектурной академии. Мы очень обрадовались, главное тому, что ты жив. А ведь три года от тебя не было никаких вестей. Мне уже двадцать два года, я служу в Древлестре. Домик нам вернули в прошлом году, но пришлось сделать ремонт. Теперь у нас – корова, куры и даже индейки. Непременно пришли по почте семян для огорода. Мама очень плоха, оглохла и ничего не видит. С ней очень трудно – все сердится, все не так. На днях простудилась и теперь лежит. Ты бы приехал, а то боюсь, что больше не увидишь ее. Ко мне на масленицу сватался Утевкин, наш конторщик, но я отказала, потому что он ненадежный элемент. Мечтаю пойти на сцену, но, пока мама жива, это невозможно. Хотя Утевкин все повторяет, что у меня талант, но я считаю, что это одни подходы с его стороны. Так хочется жизни. Весна у нас в полном разгаре.

Любящая тебя Надя».

Странное было письмо. Вроде сырой айвы: и как будто бы вкусное и скулы вяжет. Буженинов глядел, как за окном, за опускающимися и поднимающимися проволоками, лежали плоские озера вешней воды. Утро было мглистое, солнце висело оранжевым шаром над разливами. Приминая прошлогоднюю траву, текли ручьи из озера в озеро.

Вдали из вод росли деревья, стога. На островках бродил скот, вертелись обтрепанные ветрами крылья мельницы...

Буженинов вышел на площадку вагона и глубоко, зажмурясь от острого наслаждения, вдохнул запах весенней земли и половодья. Подувал свежий ветерок. Проезжали станции, где в голых еще, высоких тополях кричали грачи, кружась над гнездами. Грачи кричали так тревожно, что больно стало сердцу. Он опять зажмурился, улыбаясь: казалось ужасно смешно, что Наде двадцать два года. А была подросток – милое лицо, голубые глазки, каштановые, как шелк, волосы, заплетенные в косу с бантом. Когда разговаривает – подходит близко, доверчиво, опустив худые руки, – глядит прямо в глаза.

Поезд, замедляя ход, проходил железнодорожным мостом. Глубоко внизу, через вздувшуюся, мутную реку двигалось на шестах древнее судно, полное скота, телег и баб. По всей видимости, корабль достался мужикам от варягов и плавал скоро уже две тысячи лет, развозя жителей в разлив по деревенькам.

Буженинов глядел в окно на рюриковы корабли, на озеро, на грачиные гнезда, на табунки овец, на топкие черные дороги – и мир представлялся ему прекрасным.

Как человек с повышенной чувствительностью, он видел в окружающем лишь то, что страстно хотел увидеть. Это была почти галлюцинация наяву.

УЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

Нам здесь нет надобности подробно рассказывать о немощеных улочках, о гнилых заборах и воротах с лавоч-

ками для грызения подсолнухов, о заплатанных досками домишках, где на подоконниках цветут герани в знак того, что «мол, как хотите, граждане, а насчет герани в конституции ничего прямо не сказано...»

Все знают, что такое уездный городок на берегу реки: базарная площадь, хлюпающая навозом, сенные весы, балаганы, вывеска кооператива над кирпичной лавкой; поп в глубоких калошах, пробирающийся, подобрав рясу, в проулок; милиционер, или, как выражаются на базаре сердитые бабы, «снегирь», стоит, поглядывает непонятно; старый сад бывшего предводителя дворянства, – теперь городской сад, – с гнездами на липах и тучей грачей, волнующих весенними криками некоторых девиц; ну, да еще пожарная каланча... И над тишиной, над этой бедностью – издалека долетающий свист поезда.

Идя пешком со станции, Василий Алексеевич на минуту – быть может, черт его знает, каким-то завитком – подумал: «Вот житье глухое!» – но продолжал быть все в том же восторженном настроении.

Деревянный домик матери, в четыре окна на улицу, врос за эти годы в землю, покривился, облупился. Но за пузырчатыми стеклами в горшочках стояли герань и кактусы. Василий Алексеевич отворил калитку. Дворик был чистенький. На солнцепеке лежали рябенькие куры, и глядел на солнце голенастый петух, видимо очень глупый. У сарайчика старая женщина в солдатской шинели вешала кухонные полотенца. Она молча поклонилась Буженинову. Он взбежал по изгнившим ступеням на крыльцо, в темные сени, пропахшие плесенью и капустой, открыл знакомую дверь, – рогожа на ней висела ключьями, – отворил ее и в

освещенном пролете двери, ведущей из крошечной, с половичком, прихожей в низенькую столовую, где мещанским голосом щелкала ручная птица, – увидел Надю.

На ней была нагольная овчинная куртка, короткая юбка, белая косынка.

– Что вам нужно, гражданин? – спросила она, нахмуривая бровки.

Он назвал ее по имени, – от волнения ничего больше не проговорил. У нее задрожали выпущенные из-под косынки локончики. Брови разъехались. Всплеснув руками, она подошла к Буженинову, и сейчас же не то изумление, не то жалость скользнули по ее хорошенькому личику.

– Вася, неужели ты? – спросила она тихо.

Он поцеловал ее в холодноватую щеку. Прислонил к стене папки и ящик, размотал шарф, расстегнул крючки шинели, – пальцы его дрожали.

– А мама здорова?

– Мама сейчас спит.

– Ты собиралась куда-то уходить?

– На службу. Тебя чаем надо напоить. Я скажу Матрене.

Блеснув синими глазами, она убежала. Буженинов услышал ее голос на дворе, затем она прошла наискосок через улицу, выбирая, где ступить посуше, обернулась, морща нос от солнца, и юбка ее махнула за углом.

Василий Алексеевич перевел дух и сел у окна под клеткой, где шуршала семенем птица и снова, снова принималась от скуки нащелкивать все одну и ту же песенку про то, какая теперь Надя стала красивая, не подросток, а женщина, про то, какие у Нади тревожные глаза, кудрявые височки, как она махнула сейчас юбкой за углом. Птичий

язык темен, всякий может толковать его по-своему. Буженинов глядел на пустырь, заборы, домишки, курил и вздыхал, как человек, осужденный на скверном полустанке ждать курьерского поезда... Он оглядывал комнату. Вот под этой висячей лампой он учился когда-то читать и писать. Вот пожелтевшая фотография: он – семи лет, Надя – девочка, и мать – в шляпке, с необыкновенно сердитым лицом. Вот, в шали и в тальме, сморщенная бабушка – та, что колола спички. От окна до облезлого комода, где Надины зеркальце, пудреница и баночка с кремом «Метаморфоза», – шагов пять. Смешно. А казалось – гораздо просторнее было дома. Под окном – бутылки, в которые стекает с подоконника вода по шерстяной нитке. Да, механика устаревшая. Много придется затратить сил, чтобы на этом убожестве вырос голубой город.

За стеной похрапывала мать. Затем вошла баба в шинели, поклонилась, сказала смирно: «С приездом, батюшка-красавец». Накрыла стол, внесла знакомый, помятый, но страшно бойкий самовар. Василий Алексеевич пил чай, курил папиросы. Весь этот мещанский мирок был окутан волшебной песенкой птицы. За облаками самоварного пара она пела Буженинову о несказанном будущем.

ПОДОШВЫ КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ

Василий Алексеевич был ужасно молод. Ну, что же: семнадцати лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к площади Революции. Воевал три года. Потом – академия, чертежные столы, склеп на Донском кладбище, сны наяву о голубых городах. Житейского опыта не было ни на грош.

И вдруг фантастический бег времени остановился. Подошвы царапнули и стали на землю. Заскрипела калитка, заговорили будничные голоса, запахло навозцем. Столетняя лохматая ворона прилетела из неподвижного неба, села против окна на забор: «Карр, здравствуйте, Василий Алексеевич, что думаете предпринять?»

Что же тут можно было предпринять? Встать к одиннадцати часам, напиться чаю с топлеными сливками. Посидеть около глухой и слепой матери, которая все добивалась, не большевик ли он, Вася. Потом – погулять до обеда, посидеть над рекой. К пяти – вернуться, скрипнув калиткой... вытереть ноги о рогожку на крыльце... И у окна поджидать Надю, стараясь и виду не подать, что весь день он думал об этой радости: вот она прошла мимо окна, пошаркала ботиночками о рогожку, звонко крикнула: «Матрена, собирай обедать». Вошла с неизменной фразой: «Фу, как устала». Повесила на гвоздь в прихожей полушубочек, оправила платье, подставила прохладную щеку для поцелуя.

– Как ты себя чувствуешь? Лучше?

Матрена вносит чугун со щами. Надя говорит:

– Ты ешь, не стесняйся, тебе надо поправляться.

После обеда Надя исчезала либо к подруге, либо в кинематограф, приглашенная «так, одним, ты его не знаешь». Василий Алексеевич садился в сумерках на диван под заклеванные мухами фотографии и грыз ногти, другим чем-нибудь трудно было заняться: Надя очень экономила керосин и просила возможно дольше не зажигать лампы. Курить пришлось бросить по двум причинам: для здоровья (Надя в первый же день сказала, что табак вреден) и за

полным отсутствием денег. Дом содержался на скудное Надино жалованье. Она говорила: «Просто в отчаяние можно прийти, если ты, Вася, не начнешь скоро зарабатывать, посылать нам с мамой». Василий Алексеевич никак не мог забыть у Нади гримаски удивления и разочарования при первой встрече.

«Вид у меня паршивый, конечно, больной, зубы не в порядке, – раздумывал он в сумерках, – но разве это именно важно?... Приятнее, если бы этакий молодчина ввалился в крепких сапогах, веселый, полон карман червонцев... Не было бы сразу разочарования... Ах, глупости, мелочи... К маю отьемся, зубы вылечу – вот вам, Надежда Ивановна, и вид. Зато ваши молодчики из кинематографа городов строить не будут – лобики узки».

Василий Алексеевич несколько раз пытался заговорить с Надей о своих работах, о перестройке Москвы по новому плану, о величии задач, брошенных в человечество русской революцией. Не было сомнения – Надя поймет, оценит его, и весь житейский вздор, безденежье покажутся ничтожными.

Надя не уклонялась от разговоров, но едва он занесется – у нее личико делается озабоченное: «Ах, прости, Вася, совсем забыла... скоро приду...» И – нет ее, убежала со двора. И Буженинов опять сидит в темноте, старается привести мысли в порядок.

Однажды выручил дождь – хлынул потоком. Надя по-ахала у окна, вздула лампу, села штопать чулки. Особенно хороши были у нее глаза: голубые, покойные, с мягкими ресницами – темной каймой. Василий Алексеевич глядел в них, покуда не закружилась голова.

– Вот ты архитектор, Вася, скажи, – заговорила Надя, откусывая нитку на чулке, надетом на деревянную ложку, – неужели, правда, за границей в каждом доме ванная? Вчера в кинематографе видела – чудная фильма! Аста Нильсон каждый день берет ванную, моется. Правда ли это? Ведь соскучишься. – Она покачала головой, усмехнулась. – Со мной был один, – ты его не знаешь, бывший военнопленный, – так он рассказывал, будто в частных квартирах за границей все кровати под балдахинами. Вот выстрой такой дом в Москве. Прославишься. Хотя я что-то не верю. Я жизнь знаю по кинематографу. Конечно, артисты в кинематографе стараются показать себя в лучшем свете, а на самом деле все такие же, как у нас.

– Надя, – спросил Буженинов из темноты, с дивана, – скажи мне открыто, – это очень важно... понимаешь... ты любишь кого-нибудь?..

Надя подняла брови. Штопальная игла остановилась. Надя вздохнула, и снова потянулась нитка.

– Вот что я тебе скажу, Вася... Какое там – любовь. Прожить бы!.. Ох-хо-хо!.. Думаешь, выходят замуж оттого, что влюбились? Это только в кинематографе. Какая уж там любовь! Встретишь человека случайно, посмотришь: если чем-нибудь может улучшить твоё положение – выбираешь его... Ко мне сватался один из Минска. Так мне захотелось в Минске побывать – все-таки столица. Там, говорят, магазины, трехэтажные дома на главной улице... Едва не согласилась. Ну, а выяснилось, что он просто проходимец, ни из какого не из Минска.

– Нет, Надя, нет, ты – комик, чудачка. Я тебя лучше знаю... Ты не можешь так говорить. У тебя это наваянное...

Жизнь на самом деле прекрасна, увлекательна... Нужно строить, бороться, любить...

Буженинов проговорил до позднего часа, покуда хватало керосину в лампе. Надя слушала, откусывала нитки, опускала низко голову, улыбаясь. Прелесть молодой девушки, как весенний воздух, пьянила Василия Алексеевича. Заснул он, не раздеваясь, на диване, камнем провалился в сладкую темноту. А наутро выглянул в окно: сидит ворона, нахохлилась. Все тот же забор; серое небо; на дороге ржавое ведро валяется. Ничего не изменилось за эту ночь. И от вчерашних разговоров остались досада и недоумение.

БЫТ, НРАВЫ И ПРОЧЕЕ

Мелочи жизни, сами по себе не стоящие внимания, стали принимать болезненные размеры в сознании Василия Алексеевича. Вот почему мы предлагаем пробежать эти строки. Они уясняют многое.

В городе заинтересовались буженинининым сыном. Пошли разные предположения. Конторщик Утевкин, говорят, даже побледнел, узнав о его приезде, и сказал более чем многозначительно:

— Ах, так... Ну, теперь мне многое понятно.

Когда сутулая фигура Василия Алексеевича появлялась в дневные часы на улице Карла Маркса, упиравшейся в торговую площадь, прохожие с ужасным любопытством оглядывали «академика». Даже милиционер благосклонно улыбался ему.

Однажды лавочник Пикус снял у дверей лавки защитного цвета картузик, попросил зайти и спросил контрреволюционным шепотом:

– Ну, скажите, что в Москве? Как нэп? Говорят – безнадёжно? Ужасное время. Мы катимся в пропасть. Я дошел до такого нервного расстройства, что по ночам кричу благим матом. Ну, очень рад познакомиться. А Надежда Ивановна вас таки заждалась.

Пикус намекнул на то, о чем говорили по городу. В провинции не любят непонятного, причиняющего беспокойство фантазии. Действительно, за каким дьяволом было Буженинову тащиться в это захолустье? Ясное дело – приехал жениться. Но тут оказывались разные «ямки-канавки»: Буженинов разлетелся не на совсем свободное место, – так по крайней мере посмеивались.

В магазине у Пикуса с ним познакомился Сашок – румяный молодой человек в поддевке и плюшевом картузе, сын хлебного оптовика Жигалева. Стал расспрашивать о столице, о лекциях и кабаре, о женщинах с Кузнецкого и завел Василия Алексеевича в пивную «Ренессанс», во втором этаже, на площади.

Угощая папиросами, Сашок щурил смехом карие глаза, – плотный, смелый, со сросшимися бровями:

– Между прочим, Надежда Ивановна девушка что надо. Заносится только зря. В наше время чересчур о себе много думать не приходится. Так-то, Василий Алексеевич. Новый быт идет, как говорится. Конечно, с ее внешностью – в Москву, на сцену или машинисткой в крупный трест, – карьеру сделать можно. Но здесь...

Шевельнув бровями, Сашок бросил в рот моченую горошину, ухватил ее крепкими зубами, посмеялся.

– Да, здесь интересной девушке делать нечего – гроб... Самое благоприятное – выйдет замуж: у мужа червонцев

восемь жалованья, у самой червонца три с половиной... Бесцветно... Или уж тогда, знаете, шла бы в комсомол. Что ж...

Сквозь густые ресницы он хитровато блеснул зрачками на Буженинова.

– ...Это я пойму. А то ни два ни полтора. Я вот в Англию собираюсь, между прочим, по папкиным делам. Предложил в виде шутки Надежде Ивановне попутчицей, вроде секретаря. Робеет: что скажут. Это у нас-то испугаться общественного мнения! Смехотища!

Василий Алексеевич дико глядел на собеседника: что такое он несет? За такие слова в сущности бить сейчас надо. Но Сашок, не задумываясь, перескочил на другую мысль, сыпал витиеватыми фразами:

– Одно скажу, как интеллигентному человеку: остерегайтесь Утевкина. Этот подлец на все способен. После того как Надежда Ивановна сделала ему поворот, он в экономотдел бегал, в ГПУ. Ну что ж, знаете, глупо. Не произвел полового впечатления, и он бежит на девушку с доносом. Хорошо, что там его послали к сучке. Знаете, что он про вас сказал, только что вы приехали? «Буженинова, говорит, к нам выслали в административном порядке, за некрасивые дела; но вопрос – долго ли он будет у нас на шее сидеть паразитом...» Фельетон, а не человек, этот Утевкин... Кроме шуток, без политики, – долго думаете погостить?

– Не знаю. Должен лечиться. Нужен отдых.

– Венерическое заболевание какое-нибудь, конечно?

– Нервное переутомление, – сердито ответил Буженинов и застучал ногтями о жестяной подносик.

– Так вот оно что, хи-хи, – сказал Сашок и бойко пошел в уборную.

Буженинов хотел тоже уйти, но пиво отяжелило его, и он остался сидеть, угрюмо повесив голову. Дверь пивной поминутно теперь отворялась. День был базарный. Входили крестьяне, перекупщики, лавочники, мещане, заключившие мелкую сделку. За столиками журчали деловые разговоры, негромкие и бедные, как это серенькое небо над площадью, над рогожными палатками, над выпряженными возами, над грачиными гнездами на липах. Дым крепкой махорки колебался слоями по длинному помещению «Ренессанса». На дощатый пол натащили сапогами навозу с площади. Василию Алексеевичу представилось, что сидит он на дне глубочайшего колодца, и только пестрые плакаты Добролета, Доброхима, красный силуэт рабочего между красных труб на штукатуренной стене над головами чаепийц и курителей махорки напоминают о далекой-далекой Москве, где гремит жизнь.

Вернулся Сашок из уборной и сказал, кивнув на стойку:
– Из-за этой вон дамочки тоже у нас ноги кое-кому перешибли, дел двадцать в народном суде из-за нее разбиралось. Знаменитость.

Действительно, за стойкой лениво стояла полногрудая «дамочка» в ситцевом полосатом платье, широколицая, напудренная, с маленьким носиком, с гребенками в туго завитых волосах.

С ней разговаривал, навалясь локтем на стойку, низкорослый человек в черных брюках и в штатском френче. Длинный нос его только что заехал в блюдо с жареной печенкой, нюхал из горшка с селедками.

– Пожалуй, съем, – сказал этот человек и поволоко поглядел на дамочку за стойкой. – Положите мне печеночки и

положите мне половину селедочки. Какую половину? А какую сами захотите – хоть с хвоста, хоть с головы.

Он сел за столик, положил ногу на ногу, закусил зубом папироску, прищурил глаз от дыма.

Дамочка небрежно поставила перед ним тарелки с печенкой и селедкой, отвернулась равнодушно. Но он пригласил:

– Садитесь, Раиса Павловна, за стол. Вы мне не мешаете, а даже наоборот.

Вместо ответа она выпятила нижнюю губу, стала поправлять гребенки.

– А я вчера в кинематографе три сеанса высидел на «Молчи, грусть, молчи», – вы не изволили явиться; вопрос – почему?

Роковая дамочка дернула плечиком, ушла за стойку. Он оборотил к ней длинный свой волнистый нос и, вытаскивая из зубов селедочную косточку, сказал насмешливо:

– Ну-ка, сознайтесь, а ведь я вас вчера таки смутил немножко.

– Чем это вы меня смутили? Оставьте ваши подходы.

– Своими песнями, гражданочка. – И, очень довольный, он изо всей силы принялся резать печенку.

Сашок сказал Буженинову:

– Это Утевкин. Ухажер, первый фокстротист. У него расчет, что вы сестре про его фигли-мигли расскажете. А Надежда Ивановна с этой Раисой лютейшие враги: одного летчика в прошлом году не поделили.

К Сашке подошли двое неизвестных в романовских полушубках, забрызганных дорожной грязью, и они втроем отсели за соседний столик, совещаясь по хлебному делу. Буженинов вышел из пивной.

Ветер на площади покачивал баранки и связки вяленой рыбы в рогожных палатках, задира́л ухо собачонке, сидевшей на возу с сеном. Визжал поросенок, которого мужик тащил за ногу из мешка. Крепко пахло соленым салом, дегтем, навозом. На сухом тротуаре, около кучи банных веников сидела здоровенная баба в ватной юбке и, повернувшись к площади голой спиной, искала вшей в рубашке. Седой человек в старом офицерском пальто с костяными пуговицами остановился, посмотрел бабе на спину и спросил уныло:

– Почем веники?

– Два миллиарда, – сердито ответила баба.

Вот старый еврей, тряся головой, молча тащил за шею гусенка из-под мышки у худого страшноглазого мужика. Гусенок был жалкий, со сломанным носом. Еврей скорбно осматривал лапки и крылья, дул ему в нос, давал цену. Мужик запрашивал:

– Это – гусь, его раскорми – кругом сало.

И тащил гусенка за шею к себе.

– Он и кушать не может, у него нос отломан. Зачем мне больной гусь? – говорил еврей и опять тащил гусенка.

– У тебя нос сломан! – кричал мужик нутряным голосом. – Ты гляди, как он жрет. – И он совал корку, и гусенок жадно давился хлебом.

У телеги с глиняными горшками закричали две бабы, поссорясь. Милиционер с каменным лицом шел к ним не спеша, и бабы замолчали, уставились на красноголового, как крысы.

– В чем дело, гражданки? Пожалуйте в отделение.

Вот почтенный старичок в очках, продавец львов из

бумажного теста с зелеными рылами и расписных свистулек, не обращая внимания на суету и шум, читал книжицу. Перед ним стоял пьяный человек, перекинувший через плечо грязные валенки, видимо принесенные на продажу, и повторял зловеще:

– Предметы роскоши – не дозволяется. Это мы сообщим кому следует.

Василий Алексеевич обогнул по тротуару базарную площадь, миновал сад, где от рассвета до ночи неугомонно кричали грачи над гнездами да на зазеленевшем лугу играла в мяч стайка мальчиков, и вышел на обрыв к реке.

Здесь он сел на скамейку и глядел на разлив, на полосы лесов вдали. Оттуда в вечереющем небе летели птицы. Мгла поднималась на широкой равнине над озерами, над полузатопленными деревнями.

Засунув руки между колен, сжав рот, Василий Алексеевич думал:

«Вековая тоска, бедность, жите-бытье... Пивная с дамочкой, Утевкин, Сашка... Дрянные разговоры... Пристроились, приспособились... Утевкин фокстрот пляшет... Живут, живут... Зачем?... Здесь, что ли, вырастет великое, прекрасное, новое племя...»

В это время какой-то человек сел рядом с Василием Алексеевичем. Снял очки, протер их, высморкался.

– А мы с вами были знакомы, товарищ Буженинов, – сказал он дружески.

ПОКАЗАНИЯ ТОВ. ХОТЯИНЦЕВА

Во время производства следствия товарищ Хотяинцев рассказал о своей встрече с Бужениновым в сумерках на

обрыве. (Хотяинцев находился в городе проездом по служебному делу.)

Показания его были таковы:

Следователь. Когда вы знали Буженинова?

Хотяинцев. В двадцать первом году. Я был политруком в дивизии.

Следователь. Вы замечали за ним какие-нибудь странности, вспышки гнева – словом, что-либо выходящее из нормы?

Хотяинцев. Нет. Он был на хорошем счету. Одно время работал в клубе в полку. О нем тепло отзывались товарищи.

Следователь. Тогда, при встрече на обрыве, вы также не заметили ничего особенного?

Хотяинцев. Мне показалось, что он был мрачен и возбужден. Мы поспорили.

Следователь. Его настроение носило личный характер или причина его возбуждения была более общая – например, социальная неудовлетворенность?

Хотяинцев. Я думаю – и то и другое. Он был удручен своим нездоровьем, невозможностью в ближайшее время продолжать ученье, работу. Кроме того, причины общего характера. Я был изумлен, когда услышал от него резкое и непримиримое отношение к той обстановке, куда он попал. Он начал разговор так приблизительно:

«Помните, товарищ Хотяинцев, работу в клубе, доклады, спектакли, концерты? Какие были ребята! Как все горели! Незабываемое, счастливое время».

Мы стали вспоминать товарищей, походную жизнь. Горячо вспоминали. Он отвернулся и, как мне показалось,

вытер глаза рукавом. «Упал я с коня в грязь, в колею, полк ушел, а я сижу в грязище – вот мне так представляется, – сказал он с большой горечью. – За один день сегодня такой гадости нахлебался – жить неохота. Мещанство. Житьишко. Семечки грызут за воротами. Да, да, товарищ Хотяинцев, отстучали копыта наших коней. Улетели великие годы. Счастливы те, кто в земле догнивает...»

Я, помню, посмеялся тогда над ним. «Вы, говорю, товарищ Буженинов, стихи, что ли, пишете? Уж очень у вас жалобно выходит». Он мне тогда с еще большим напором: «Взрыв нужен сокрушающий... Огненной метлой весь мусор вымести. Тогда было против капиталистов да помещиков, а теперь против Утевкина... Я, говорит, вам расскажу, как Утевкин сегодня печенку ел». И стал в лицах представлять какого-то своего знакомого.

Я вижу – действительно у него пошло на серьез. «Ваши, говорю ему, настроения, товарищ Буженинов, у нас под категорию подведены, это не ново, так рассуждать не годится. Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает, – этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи, во весь голос – романтика! Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня, скакуна, в плуг – трудно: полета нет будни, труд, пот. А между тем это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв – только голова. Революция – это целое бытие. От взятия Зимнего дворца до тридцати двух копеечек за аршин ситца. Вы представляете, какой это чудовищный размах, какой пафос должен быть, чтобы заставить боевого товарища с четырьмя орденами Красного Знамени торговать баранками на базаре, где ваш Утевкин печенку ел? Больше мужества нужно в конце

концов эти баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку. Мещанство метлой не выметешь – ни железной, ни огненной. Оно въедчивое. Его ситцем, и книгой, и клубом, и театром, и трактором нужно обрабатывать. Перевоспитать поколения. И пройдут мучительные года, покуда у вашего Утевкина в голове не просветлеет. Для вас, поэтов, – если хотите, соглашусь, – наше время трагическое...»

Я старался говорить с ним на его же языке. Он молчал, вздыхал, и мне показалось, что я убедил его. Во всяком случае, прощаясь, он сказал: «Спасибо. Если у меня хватит здоровья, мужества, силы – постараюсь повоевать на мирном фронте. Вы правы, это – трагедия: войти в будни, раствориться в них не могу, и быть личностью, торчать одиноко тоже не могу».

ЗА РЕКОЙ

Слякоть кончилась. Настали майские лучезарные дни; по влажно-синему небу поплыли снежные горы с синеватыми днищами. В городе уже пылило из переулков, от заборов пованивало. Зато за рекой стало очень хорошо зелено.

Василий Алексеевич за эти недели отъелся, окреп, не сутулился больше. Чувствовал себя много спокойнее, не то что раньше, когда кончики нервов раскалялись и трепетали при малейшем пустяке. Казалось, еще немного – и прежнее здоровье вернется.

Тяжело было только безденежье. Хотя Надя и не намекала даже, но чувствовалось, что в доме сидит дар-

моед. Подавай ему и щи каждый день, и хлеб, и молоко, и сахар. Про дармоеда кричала однажды Матрена соседской стряпухе через забор.

Надя могла бы купить себе ситчику к весне на кофточку, а вот – не купила. Кофту съел Василий Алексеевич. Работы в городе достать было нельзя – все учреждения набиты, все говорили о сокращениях. Единственное разумное оказывалось не терять времени и готовить к осени зачеты. Василий Алексеевич с некоторым страхом начал работать. Надя похвалила:

– Я уже сказала на службе, что ты начал чертить, а то все смеются.

Поднимался Василий Алексеевич теперь на заре. Матрена во дворе давала ему умыться из ковшика: «Ты уж молочка-то выпей парного, я не скажу». Он садился за стол – за чертежи, почесывая босой ногой ногу, которую щеко-тали мухи. Он весь вдруг настораживался, когда за стеной просыпалась Надя. Обернув голову, раскрыв рот, стиснув карандаш, глядел на стену. И ловил себя на этом: «Фу, как глупо, неуместно». Когда в столовую входила Надя, умытая, свежая, с локончиками, – кровь у него начинала биться и прыгать, как розовая жидкость в стеклянной трубочке с шариком, что продают на вербах.

Он показывал ей проект вокзала, Надя кивала головой:

– Хорошо, мне нравится, Вася. Но уж очень как-то малопрактично. Я люблю маленькие домики, с палисадником. Качели, на лужке – шар. Резеда, душистый горошек... Вот моя мечта...

Василий Алексеевич не спорил, – улыбался. Он решил «открыть, наконец, ей глаза». Она должна увидеть голубой

город. Глупо было о нем рассказывать. Нужно показать. Она поймет. Дармоеда не зря кормили четыре недели.

Василий Алексеевич достал у матери из сундука холст, загрунтовал его и осторожно, не спеша, начал работать в часы, когда Надя на службе. Он закрывал глаза, и в воображении разворачивалась перспектива уступчатых домов, цветочные ковры улиц, стеклянные купола, мосты – точно радуги над городом счастливого человечества.

Когда слишком уже горела голова от работы и дрожали руки, он прятал холст под диван, брал картуз и шел за реку, не замечая ни пыли, ни гнилых заборов, ни приветливо кланяющегося Пикуса в дверях лавки. На той стороне реки шагал некоторое время по низине в мокрой траве и ложился на зеленый пригорок – на спину, скрещенные руки под голову.

Голубой свет неба лился в глаза, солнцем припекало щеку, на медовой метелке возилась пчела. Налетал ветер, шумя осинами, собирая с земли островатый запах трав, меда, влаги. Все это было очень хорошо. Глаза слипались, мягкий толчок блаженно потрясал тело – и вот он спал...

...Сверху вниз, как ночная птица, скользнул аэроплан, и женский голос оттуда крикнул: «Жду, приходи...» Прозвенел: «Жду!..» Наконец-то... И он идет по широким блестящим лестницам уступчатого дома – вверх, вниз, мимо зеркальных окон. За ними – ночь, прорезанная синеватыми мечами прожекторов. Мерцают светом изнутри круглые крыши... Огни, огни... Снова лестница вниз. Он бежит – захватывает дыхание. И вот необъятная зала, посреди – бассейн. Тысячи юношей и девушек плавают, ныряют... Сверкают зубы, глаза, розовые плечи... Он скользит по

мраморному краю, ищет, всматривается: где она, та, кто позвала?.. Милое, милое лицо... И он чувствует – синие глаза вот, где-то сзади, где-то сбоку...

Василий Алексеевич приподнимался, садился на пригорке, дико оглядывая луга, разлив, осины, играющие с ветром, серенький городок за рекой. И лицо его, должно быть, в эти минуты пробуждения овеяно было светом фантастических огней.

МЕЛКИЕ СОБЫТИЯ

В сумерки Василий Алексеевич проходил по переулку имени Марата. Через забор в щель кто-то крикнул ему страшным голосом:

– Мы тебя разнавозим!

И затопали ноги, убегая по пустырю.

Когда он пришел домой, Надя сидела у стола и сморкалась в свернутый шариком платочек, вытирала глаза. Она сердито отвернулась от Василия Алексеевича. Он пришипился на диване. Она заговорила:

– Как не понять, что ты меня компрометируешь... Бог знает что говорят по городу. Сегодня утром эта дрянь Раиса заявляет, – нагло глядит на меня: «Вы, душечка, пополнели». Утевкин – тот просто хамски стал держаться, едва здороваются. Хоть не живи... Очень тебе благодарна...

У нее припухли губы, висели волосы перед глазами. Василий Алексеевич, потрясенный, сказал тихо:

– Надя, я не понимаю.

Она обернулась и так поглядела покрасневшими глазами, что он сейчас же опустил голову.

– Я заранее знала, что ты так ответишь: «Не понимаю...» А чего ты понимаешь? Ходишь по городу, как лунатик... На базаре уж все знают: «Вон жених пошел...» Со смеху прямо катаются... Жених!

– Надя, мне казалось, что это само собой должно выйти...

– Что?.. Замуж, за тебя?.. В самом деле не мешало бы тебе серьезно полечиться...

Надя оттолкнула тарелку с недоеденным, ушла к себе, легла. У Василия Алексеевича в голове началась такая толкучка, что пришлось посидеть на крыльце. Голову стискивало свинцовым обручем, он прирастал к ступенькам, не решаясь кинуться к Наде, разбудить и сонной сказать: «Надя, люблю, Надя, страдаю, Надя, сжался, хочу тебя... Гибну...» В темноте подходила собака Шарик, нюхала Василию Алексеевичу коленку и вдруг, царапая по земле лапами, завивалась и щелкала старыми зубами блох в задней ляжке. За низенькими крышами, за скворечнями разливался еще мертвенный оранжевый свет зари. Небо было непроглядное. В холодке за плетнем у соседа шелестели листья. Разумеется, Василий Алексеевич ничего не решил и не понял в эту ночь.

Назавтра он ждал продолжения разговора. Но день прошел обычно жаркий, с мухами. Ветер гнал пыль по переулку. Надя появилась к обеду мимолетом; что-то укусила, в глаза не взглянула ни разу, убежала.

Томиться, ждать ее было невыносимо. И в первый раз Василия Алексеевича укололо сомнение – здорово, как иголкой, запустило под мозговые извилины: а куда, собственно говоря, Надя уходит каждый вечер?

Он выскочил на двор, нагнув лоб, пошел на Матрену – она колола лучинки.

– Куда Надя ушла?

– Милый, не знаю. Чай, к Масловым, все к ним.

– Кто такие?

– Масловы-то? Лавошники. Раньше богатеи были и теперь, слава богу, с достатком. Слетай, они недалеко.

Прежние сады Масловых тянулись версты на три вдоль реки. Теперь остался трудовой участок, огороженный новым забором, а где – колючей проволокой, запутанной по зарослям акации. Около этих акаций Василий Алексеевич и остановился. Взялся руками за пояс, глядел в пыль.

...Он очутился здесь, как во сне: после слов Матрены уже стоял около этих акаций. Промежуточного ничего не было. «Войду и, если она там, скажу, что...» В это время за акациями засмеялись. Он нагнулся и между стволами увидел Надю и какую-то полную краснощекую девушку. Они лежали на лужку, на одеяле, на ситцевых подушках. Перед ними стояла пожилая, на низком ходу женщина, на руке держала платье, – видимо, портниха. Большие губы ее вытянулись, улыбались добродушно, глуповато. Краснощекая девушка проговорила, мотаясь по подушке:

– Ох, умереть! Так отчего же вы, Евдокия Ивановна, замуж не вышли?

– Порфирий Семеныч ужасно сколько раз умолял, плакался: «Евдокия Ивановна, измените ваше решение». Но я: «Порфирий Семеныч, как я пойду замуж, когда я щекотки боюсь, не переносу».

– Ох, не могу... Ну, а он что же?

– Да что ж тут поделаешь, я – непреклонно. Ну, он с

горя и присватался к Чуркиной, Настасье. Настасья – рада-радешенька, – приданое справила, подвенечное платье сшила. Вот – свадьба, а вечером Порфирий Семеныч является к невесте пьяный, конечно, и все платье ей облювал подвенечное. «Я, говорит, первую любовь не могу забыть...»

Портниха насмешила и ушла. Девушки кисли от смеха и жары на подушках. Порыв предвечернего горячего ветра пронес над садом облако пыли. Краснощекая Зоя Маслова приподнялась и, оправляя голыми до плеч руками рассыпавшиеся волосы, сказала:

– Что же он не идет в самом деле, дурак несчастный. – И опять легла, обняла Надю за талию. – Цыпочка моя, котинька, не обращай внимания, наплюй – пусть языки чешут, кому не лень. Живи, зайнька, как тебе подсказывает молодое сердце. Валяй всюду, куда валяется. – Она засмеялась и куснула Надю за шею. – Старая будешь – так не заваляется, кукушечка.

Помолчав, повертев травинку, Надя ответила:

– Тебе хорошо, с деньгами. А мне своим горбом старуху корми да этого блаженного. Надеюсь, выпишала – поможет, облегчит... Ужасное разочарование, Зоечка. И при этом влюбился в меня, можешь себе представить.

Зоя всплеснула руками. Надя продолжала сдержанно:

– Я решила: если отдамся человеку, то по законному браку, пусть обеспечит мне материальное существование. Тогда, может быть, в Москву поеду, в театральную школу.

– Вот и верно говорят, – с горячностью крикнула Зоя, – у тебя в голове зонтиком помешали. Найди сейчас богатого дурака – законным браком... Сто раз тебе повторяла:

Санька не может жениться, ему отец не велит, нельзя. Так ты весь век и просидишь вороной в переулке...

Зоя вдруг обернулась и толкнула Надю. К ним подходил Сашок в палевой вышитой рубашке, в полосатых брюках, в желтых полуботинках. Под мышкой он держал гитару. Снял клетчатую кепку – московской моды «комсомолка», опустился перед девушками и поздоровался за руку:

– Томитесь, гражданочки?

– Во всяком случае, по вас меньше всего томимся, – бойко ответила Зоя, смехом прищурила глаза.

Надя оправила юбку на ногах, слегка выпятила нижние зубки. Сашок поглядел на небо, где снова пронеслось пыльное горячее облако.

– Жарковато, гражданочки. И до чего эта температура может довести молодого мальчишку – с ума сойти...

– А до чего довести, примерно? – спросила Зоя.

Сашок кивнул на Надю, мигнул, тронул струны гитары и запел вполголоса, хриповато:

*Люблю измятого батиста
С ума сводящий аромат...*

Между куплетами на мотив «Алла верды» Сашок острил, говорил приговорочки, остро поглядывал на Надю. Когда музыка прискучила, все трое захватили одеяло и подушки и пошли пить чай.

Василий Алексеевич как присел тогда у акации, так одним глотком и проглотил эти ядовитые разговоры. Внутри у него все дрожало; он побрел к реке и там сел на глинистом обрыве.

Что случилось? Ничего не случилось. Как и в первые дни приезда, с ужасной остротой увидел, услышал мелочи жизни. Сегодня – ничего нового. Хотя нет: эти выпяченные зубки, головка набок, голое плечико, будто нечаянно вылезающее из ситчика... Это – новое... И про «блаженного» новое... Хотяинцев говорил: «Больше мужества баранки продавать, чем с клинком наголо пролететь в атаку...» Мужество нужно, спокойствие, воля. А впечатлительным – смерть. Вздор, две девчонки и балбес с гитарой наплели вздору с три короба, так уж и мрак опустился на душу и свинцовый обруч на голове... Хорош строитель. Вздор, вздор! С завтрашнего дня по двадцати часов работать, через две недели – в Москву...

Все ж, если бы случайный прохожий со стороны посмотрел на Василия Алексеевича, ему бы представился сутулый, в выцветшей рубашке, с нечесаными отросшими волосами несчастный человек... Впавшие щеки, заострившийся длинный нос, лицо такое отчаянное, что вот еще одно какое-то умозаключение сделает этот молодой человек – и, полон противоречий, махнет с обрыва в речку...

Но этого не случилось. Когда за потускневшими лугами погасла заря и зажглись кое-где костры на покосе, Василий Алексеевич пошел домой. В переулке имени Марата со свистом мимо его носа пролетел камень, и опять чьи-то шаги, убегая, воровски затопали по пустырю.

ЖАРКИЕ ДНИ

«Всего хотеть – хотелок не хватит», – говорила Надя. Она была очень благоразумна. Но дни становились все

жарче, по ночам жгла даже простыня. И поневоле каждый день Надя попадала в сад к Масловым, на подушки под яблоню. Благоразумие было само по себе, а жаркий вечер, сухие пилочки кузнечиков в скошенной траве, зацветшие липы да пчелы, истома под батистовым капотом (подарок Зои) и нахальный Сашка – все это было само по себе.

Лукаво шептала Зоя про свою «даже неестественно страстную любовь с молодым женатым доктором». Надя крепилась, хотя подумает: «А ведь засасывает меня омут, июньские дни», – и отчего-то – не страшно.

Давно не помнили горожане такого пекла в конце июня. Деревья начали вянуть. На лугах за рекой стояла мгла. Говорят – горел хлеб. От сухости по ночам трещали стены. В учреждениях служащие пили воду, вялые, как вываренное мясо.

Буженинов заканчивал зачетные работы. От зари до сумерек в раскаленной комнате под жужжание мух он мерил, чертил, рисовал, красил. Поддерживало его невероятное напряжение. Полотно с планом голубого города он приколотил на стену и работал над ним в минуты отдыха. С каждым днем город казался ему совершеннее и прекраснее.

На будущей неделе он решил ехать в Москву. У матери оказались припрятанными три золотых десятирублевика ему на дорогу. («Возьми, Вася; берегла себе на похороны, да уж люди как-нибудь похоронят... Не говори Надьке-то».) И он действительно уехал бы, исхудавший, восторженный, в лихорадке фантазии и работы, если бы не толчок со стороны. Напряжение его неожиданно вырвалось по другому направлению.

Жизнь, по всей вероятности, не прощает уходящих от нее фантастов, мечтателей, восторженных. И цепляется за них и грубо толкает под бока: «Будя дремать, продери глаза, высоко занесся...»

Назвать это мудростью жизни – страшно. Законом – скорее. Физиологией. Жизнь, как злая, сырая баба, не любит верхоглядства. Мудрость в том, чтобы овладеть ею, посадить бабу в красный угол в порядке, в законе, – так по крайней мере объяснял в сумерки на обрыве товарищ Хотьинцев.

Случилось вот что. Надя, как всегда, в половине девятого, с портфелем, в белом платочке, заглянула перед службой в столовую, где лежал животом на столе Буженинов, равнодушно скользнула глазами по голубому городу, занимавшему половину стены, и молча вышла. Скрипнула калитка, и сейчас же послышался болезненный негромкий крик Нади. Она побежала по сеням, рванула дверь и упала среди книг на диванчик, схватившись за голову.

– Негодяй, негодяй! – закричала она, топая ногами, и заплакала на голос.

На дворе шумела Матрена, ругалась:

– Ах, паршивцы, ах, разбойники!

– Уезжай, слышишь – уезжай сию минуту от нас! – повторяла Надя сквозь брызгающие слезы.

Оказалось, ворота в трех местах были измазаны дегтем, и написано дегтем же, аршинными буквами, матерное слово. Матрена уже отвела во двор обе половинки ворот и смывала деготь щелоком. Надя на службу не пошла, заперлась у себя. У Василия Алексеевича так тряслись руки, что он швырнул карандаш и попытался постучаться к Наде.

– Убирайся, ты один виноват в моем позоре! – еще злее крикнула Надя. – Уезжай в Москву, дармоед блаженный!..

Руки дрожали все сильнее. Дрожало, било тревожным пульсом в середине груди. Василий Алексеевич некоторое время стоял в комнате, мухи ползали по его лицу. Затем – как-то так вышло – он очутился на площади. (Опять из сознания выпал кусок.) Над ним в горячей мгле жгло белое солнце. На площади завился пыльный столб и шел кругом по сухому навозу. Василий Алексеевич глядел на окна «Ренессанса». Кое-какие посетители уже пили пиво. И вот в окне из-за стены выдвинулся длинный волнистый нос. За Бужениновым наблюдали.

Он стиснул зубы и взбежал по лестнице в трактир. Но волнистый нос исчез. Из-за стойки с ужасным любопытством глядела пышная, напудренная Раиса, и ротик ее, как ниточка, усмехался многозначительно. Буженинов схватился за стойку и спросил (на следствии Раиса показывала: «Заревел на меня, вращая глазами»):

– Был здесь Утевкин?

Раиса ответила, что «почем она знает, посетителей много».

– Врете! Это он, я знаю...

– Вы, гражданин, полегче кричите.

Но Буженинов уже опять стоял на площади под мглистым раскаленным солнцем. Оглядывался. По горячей пыли бродили только сонные куры. Раиса видела, как он поднял кулаки к вискам и так, сжимая голову, зашагал к речке.

К вечеру его видели в лугах, сидящим на кургане. Там он и остался на ночь.

ИЗ ОПРОСА НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ

Следователь. Почему Буженинов был убежден, что ворота вымазал Утевкин и что им же брошен камень в переулке Марата?

Надя. Не знаю.

Следователь. А вы уверены, что это сделал Утевкин?

Надя. Кому же еще? Конечно он.

Следователь. Какая была цель? Утевкин ревновал вас, что ли?

Надя. И это отчасти. Да ревновал.

Следователь. Какие же у него были основания ревновать вас именно к Буженинову?

Надя. Над ним шутили... Александр Иванович (Жигалев) говорил мне как-то, что встретил Утевкина и смеялся над ним, будто Утевкин остался с носом... Я тогда рассердилась, но Жигалев успокоил, что всё это только шутки...

Следователь. Жигалев, говоря Утевкину «с носом», имел в виду Буженинова, не себя, конечно?

Надя. Да.

Следователь. Стало быть, Утевкин был убежден, что вы живете с Бужениновым?

Надя. Я ни с кем не жила.

Следователь. Прошное ваше показание было несколько иное.

Надя. Я ничего не знаю... Не помню... У меня все смешалось...

Следователь. Буженинов имел обыкновение носить при себе спички?

Надя. Нет, он не курил.

Следователь. Вы можете указать, каким образом у Буженинова третьего июля оказались спички?

Надя. Когда он побежал – он схватил их с буфета.

Следователь. Вы это видели и помните, как он схватил спички? Это очень важный пункт в показаниях.

Надя. Да, да вспоминаю... Дело в том, что, когда у нас испачкали ворота, на другой день, – мне было очень тяжело, – я пошла к Масловым. По дороге встречаю его... Глаза белые, ну весь – ужасный. Подошел ко мне: «Ты куда?» – «Тебе какое дело, иду к подруге». Он: «Я им отомщу, я этот городишко сожгу...» И кулаком погрозил. Так что, когда он схватил спички, я вспомнила угрозу...

Следователь. Куда он пошел после этого?

Надя. Домой, Матрена подала ему щей. Рассказывала: он съел две ложки и не то задумался, не то заснул у стола. Потом пошел ко мне в комнату и рассматривал мою фотографию, лег даже на постель, но сейчас же вскочил и ушел.

Следователь. Это было в вечер убийства?

Надя. Да.

Следователь. Затем вы его видели, когда он вбежал, показывая окровавленные руки, и тогда же Схватил спички?

Надя. Нет, не сейчас же... Я забыла...

УБИЙСТВО УТЕВКИНА

Повышенное настроение, напряженная работа, сборы в Москву – оказались чистым обманом.

Все его тощее тело, все помыслы жаждали Надю. Буженинов просыпался на заре с оглушающей затаенной радостью. Весь день за работой радость пенилась в нем и была так велика, так опьяняющая, что даже разговор, подслушанный в саду у Масловых, утонул в ней пылинкой. Какие мелочи! Ну не любит – полюбит... Надя – еще не жившая, не раскрытая, ей еще не время.

По всей этой фантастике мазнули дегтем матерное слово. Он не сразу понял весь чудовищный смысл дегтя на воротах. Ночью в лугах, на скошенном кургане, охватив голову, опущенную в колени, он глядел закрытыми глазами на вереницы дней своей жизни. В нем поднималась обида, злая горечь, мщение.

Утром, возвращаясь из лугов, он увидел Надю у сада Масловых. Она показалась ему маленькой, пронзительно жалкой, – припухшие синие глазки! Он сильно взял ее за руку и зарычал, что отомстит. Она не поняла, испугалась.

Дома, перед тарелкой со щами, он думал о мщении. Мысли обрывались было слишком много передумано за ночь. Он пошел к матери, но она скучно похрапывала в духоте с занавешенным окошком. Тогда, как вор, он прокрался в Надину комнату, схватил ее фотографию с комода, и в нем все сотряслось. Он даже прилег на минуту, но сейчас же вскочил и вышел из дома. Военным движением подтянул пояс. Теперь он был спокоен. Оперативное задание дано, мысли работали по рельсам: точно, ясно.

В переулке Марата он перелез через забор и пошел по пустырю, заросшему между ямами и кучами щебня высокой лебедой. Он пересек едва заметную в бурьяне тропинку, сказал: «Ага», – и свернул по ней к развалинам кирпичного сарая.

Было уже темно. Лунная ночь еще не начиналась. Буженинов обогнул развалины и шагах в пятидесяти увидел два освещенных окошка деревянного домика, выходявшего задом на пустырь. Свет падал на кучу щебня, ржавого мусора, битой посуды. Буженинов обогнул ее и в окне увидел Утевкина, набивавшего папиросы, – видимо, он куда-то спешил. Он был в фуражке с чиновничьим околышем, без кокарды и с парусиновым верхом. Губы его, помогавшие набиванию папирос, улыбались под волнистым большим носом, с угла на угол ходила самодовольная усмешка.

Утевкин ловко заворачивал кончики набитых папирос, укладывая их в портсигар, последнюю закурил от лампы, поправил фуражку, взял тросточку со стола, взмахнул ею и дунул в пузырь лампы.

Буженинов отскочил от погасших окон, кинулся за угол дома – забор был выше роста... Кинулся направо – забор... За ним бойко простучали шаги Утевкина.

Впоследствии, на допросе, Буженинов с чрезвычайным старанием припоминал все подробности этой ночи. Он оборвал показания, изумился, пришел в крайнее волнение от простого вопроса следователя: какие реальные данные были у него, Буженинова, чтобы предполагать, что именно Утевкин вымазал ворота? Уверенность – только.

– Если бы вы сами видели, как он набивал папиросы, усмехался... Ну конечно, он... Нет, вы меня не собьете, товарищ следователь... Три года воевать, чтобы увидеть, как Утевкин в фуражечке стоит... Нет, нет... Какие там реальные данные... Он во все время гражданской войны у себя на пустыре отсиживался и теперь мажет ворота, папиросы

набивает... Не только я уверился, что это он, но просто увидел, как он тогда подхихикивал, когда мазал... Я побежал вдоль забора, перелез на ту сторону улицы. Утевкина не видно. Я был в «Ренессансе», на бульваре, в городском саду – нигде его нет... Товарищ следователь, преступление мое заранее обдуманно... Там, где начали мостить площадь, я выбрал из кучи булыжник и с этим оружием искал Утевкина...

.....

Буженинов появлялся в разных частях города. К некоторым обывателям, носившим белые фуражки, он подходил с таким странным видом, что они в ужасе отшатывались и долго ворчали, глядя на сутулую, с прилипавшей рубашкой спину убежавшего «академика».

Ночь посветлела: за лугами из июльской мглы взошла половинка луны, в городе легли невеселые тени от крыш. Наконец Буженинов нашел Утевкина. Тот стоял у сада Масловых – фуражка на затылке, задом упирался на трость... Рот у него был раскрыт, будто он подавился...

– Ну и чепуха, – в величайшем удивлении проговорил Утевкин не то самому себе, не то Буженинову, подходившему (в лунной тени от акаций) со стиснутыми зубами, с отведенной за спину рукой, – ну и стерва эта Надька... А я-то дурак, ах, трах-тарарах... А с ней Сашка, оказывается, очень просто голяшки заворачивает...

Буженинов резко кинулся вперед и со всей силой ударил Утевкина камнем в висок...

КОРОБКА СПИЧЕК

В этот день Сашок ездил по отцовским делам в уезд и появился в саду у Масловых поздно. Весь он был еще горячий от полевого солнца, обгоревший и веселый. Карманы у него были набиты стручками, горохом, уворованным по дороге.

В саду под яблоней на подушках лежала одна Надя. От огорчений этого дня, истомленная духотой, вся влажная, растревоженная, она заснула, подсунув ладонь под щеку. Такою ее нашел Сашок, – очень мила, конфеточка... Он подкрался, отвел у Нади локон от лица и поцеловал ее в губы.

Надя ничего сначала не разобрала, раскрыла глаза и ахнула. Но куда уж там благоразумие. Руки не согнуть – такая истомы. От Сашки пахло дорожной полынью, колосьями, свежим горохом. Он прилег рядом и зашептал в ухо про сладкие вещи.

Надя покачивала головой – только и было ее сопротивления. Да и к чему – все равно уж опозорена на весь город... А Сашка шептал что-то насчет Гамбурга, модных платьев... Про шелковые чулки бормотал в ухо, проклятый. Он уж и руку положил Наде на бочок.

В это как раз время голос Утевкина из-под акаций проговорил:

– Ах, трах-тарарах!

Надя взвизгнула, побежала. Сашок догнал ее, стал божиться, что женится. Она дрожала как мышь. И они не слышали ни короткого разговора Утевкина с Бужениновым, ни удара, ни вскрика, ни возни.

Надя повторяла:

– Пустите, да пустите же, мне нужно домой.

Сашок сказал многозначительно:

– Домой? Ну хорошо, – и отпустил ее вспотевшие руки.

Надя ушла, но не переулками, как обычно, а обходом через выгон, где под луной чернели тени холмиков давно заброшенного кладбища. Сашок следовал за ней издали.

Дома Василия Алексеевича не было. Матрена спала на погребнице. Надя заперлась у себя на крючок, разделась и сидела на кровати, кулачками подперев подбородок. Станный свет от половинки луны падал через окно. Надя смотрела на крючок, и легкая дрожь не переставая пробегала по спине. Не напрасно смеялись по городу, что у нее «в голове помешали зонтиком».

Через небольшое время скрипнула калитка. Потрогали дверь в сенях, вошли. Надя проворчала:

– Не пущу.

В ее дверь поскребли ногтем.

– Нельзя же, – прошептала Надя.

Сашкин палец просунулся в щель, нащупал крючок и поднял его. Надя только пошевелила губами. Вошел Сашок; лунный свет упал ему на белые большие зубы. Он молча живо присел рядом на кровать, и Надя ртом почувствовала костяной холодок этих зубов.

Сашок был ловок обращаться с девушками. Вдруг руки его быстро разжались, он откатнулся в сторону; Надя раскрыла глаза и задохнулась от испуга: в дверях стоял Буженинов... глаза без зрачков, руками схватился за косяки, руки – в темных пятнах, в пятнах рубаха. Сашок, головой вперед, молча кинулся на Буженинова, сбил его с ног

и выскочил на двор – бухнул калиткой. Все это в несколько секунд. Надя нырнула под одеяло, сжалась в комочек. Что-то кричали, топали, – она под одеялом, под подушкой зажмурилась, заткнула уши.

.....

Вопрос, которому следователь придавал важное значение: когда и при каких обстоятельствах у некурившего Буженинова появилась в кармане коробка спичек, – оставался темным. Сам Буженинов отвечал и так и этак, – из памяти выпала мелочь. Хотя он хорошо помнил половинку луны – низко в окошке – в Надиной комнате, Надю и Жигалева в густой тени на постели. (Он даже не сразу и сообразил, кто на постели.) Помнил, как крикнул: «Я убил Утевкина». (Ни Надя, ни Сашок этого не слышали.) Он не мог оторвать рук от косяков двери и затем опрокинулся навзничь, сбитый Сашкиной головой в живот. Он помнил даже, как пронеслось в мозгу слово «осквернитель», и оно-то и кинуло его к дальнейшим неистовствам.

Видимо он не сразу выбрался из темного, заставленного скарбом коридорчика. Он что-то ломал и швырял, покуда не выскочил в кухню. В темноте зажужжали разбуженные мухи. Он ударился коленом об угол плиты и ощупью схватил небольшой утюжок. Когда почувствовал в руке тяжесть выругался матерно и выбежал на улицу. Когда бежал, – помнит отчетливо, – в кармане были спички: постукивали в коробке.

.....

Следователь. Вы утверждаете, что до того момента, когда вы с утюгом преследовали Жигалева, у вас не было мысли о пожаре?

Буженинов. Может быть, я и говорил раньше «Хорошо бы этот городишко сжечь», – наверно, говорил...

Следователь. Значит, и раньше ваши мысли вертелись около пожара?

Буженинов. Я очень страдал от внутреннего разлада, то есть разлада между собой и обстановкой, куда попал. Мои навыки были только одни – война. Я мыслил, как боец: негодное – смести. Но после разговора с товарищем Хотьинцевым я успокоился. Начал работать, стремился подавить себя. Это мне удалось. Если бы тогда сказали: «Перестань существовать, так нужно обществу, революции, будущему», – я бы не дрогнул... Но меня поймали на удочку.

Следователь. Яснее.

Буженинов. Можно подавить в себе страх смерти, честолюбие, жажду жить... Животное благополучие... Все, что хотите... Воля верховодит надо всем... Я доказал это моею жизнью, товарищ следователь. Но сколько бы я ни хотел – сердце мое будет биться так, как само хочет... Жизнь моего тела, вся до последних тайн, не подвластна мне... Когда мне вырывают сердце с жилами – все летит к черту... Вы спрашиваете: на какой я попался крючок?.. Любовь... На то, что мне не подвластно. Взбунтовались во мне соки жизни. Не знаю уж, какие там железы, какие токсины отравили мой мозг... Может быть, и так... Не знаю, я не физиолог... От меня отдирали с кровью, с мясом женщину, которую я любил; я даже не сознавал, как хотел

ее. Начался бунт, я уже не управлял собой. Я ударил камнем Утевкина и почувствовал облегчение. Не знаю, правду ли пишут поэты про любовь, – того я не испытывал. Я горел три года в гражданской войне... Я горел и мучился два года в институте – видел во сне голубые города... Может быть, это была тоже любовь... не знаю... Но когда камень вонзился Утевкину в висок – мне на минуту стало легко... Если это – любовь, это – от любви, тогда будь она проклята. Простите, товарищ следователь, вы все хотите допытаться, откуда у меня в кармане очутились спички... Так вот, когда я увидел то, что происходило в комнате у Надежды Ивановны, – не знаю, как вам рассказать: в глазах у меня все заплясало, в глазах стало красно... И когда я с утюгом бежал за Сашкой, за осквернителем, и слышал, как дребезжат спички, этот красный свет превратился в мысль – сжечь все, сию минуту... Ах да, вы все про спички... Черт их знает, откуда они завелись... Должно быть, на дороге поднял... Когда Утевкин упал, рука отлетела, и в руке была коробка спичек. Я схватил. Зачем? Зажег спичку и смотрел ему в лицо, долго смотрел, пока не обгорели пальцы...

Следователь. Итак, вы утверждаете, что подняли спички на дороге с целью осветить лицо убитого вами Утевкина, – показание весьма существенное, – и что заранее обдуманного намерения поджечь город у вас не было? Так?

Буженинов. Видите ли, товарищ следователь, все это частности. Теперь я думаю, что так или иначе – катастрофы было не избежать. Не Утевкин – так другой... Не пожар – так что-нибудь другое... Судите по существу, судите меня, а не какие-то там случайные поступки.

Следователь. Это вы будете говорить на суде. Теперь я прошу рассказать, что произошло с того момента, как вы выбежали из дома, держа в руке вот этот утюжок...

НОЧЬ С ТРЕТЬЕГО НА ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ

Рассказ Буженинова запутан и противоречив. Беспомощны его попытки обосновать свое поведение. Здесь все нелогично. Он выбегает из ворот, размахивая утюжком, и уже через тридцать шагов не думает больше об осквернителе. Он во власти нового, огромного желания. Страсть в нем набегает волнами, покрывающими одна другую, все плотины прорваны, – теперь все возможно. Это начинается от мысли о спичках.

Буженинов останавливается с разбегу. Он даже завертелся в пыли на дороге и, насколько можно было разглядеть при неясном освещении, широко оскалился.

Луна в это время закатывалась в конце переулка. Желтоватый, над самой землей, свет ее падал на Сашку Жигалева, стоявшего на перекрестке, шагах в тридцати от дома. Тогда мысли Буженинова снова вернулись к осквернителю, и он стал подходить к нему, но уже не с гневом, а скорее с каким-то диким любопытством.

Сашка был очень зол и, когда увидел у Буженинова утюжок, решил расправиться без пощады. Он первый кинулся на Буженинова, свернул ему руку, вырвав и швырнув в сторону утюжок, и так плотно въехал Василию Алексеевичу кулаком в глаз, что тот зашатался.

– Не лезь не в свою кашу, сопляк проклятый, выкидыш, здесь все равно тебе не жить, – сказал Сашка и вторым

ударом сбил Буженинова с ног. После чего пошел по переулку не оглядываясь.

Василий Алексеевич на секунду потерял сознание от чугунного кулака. Но сейчас же приподнялся на руках и глядел, как в узком переулке, между двумя глянцевыми заборами, по длинным теням от репейников уходила черная Сашкина фигура, застилая луну. Поднимался ветер порывами, душный, как из печки, бросал Буженинову в лицо пыль и мусор. За рекой в непроглядной тьме мигнуло белое око молнии. Сашка обернулся и погрозил кулаком. Тогда Василий Алексеевич, прикрыв ладонью разбитый глаз, пошел за Сашкой по направлению к площади.

Это было опять-таки совершенно бессмысленно. (Следовательно он объяснил так: «Если бы у меня обе ноги были переломаны – и тогда бы пополз за Сашкой».)

Ветер усилился. Зловеще, по-грозовому, в темноте зашумели деревья. Облако пыли закутало переулок... Сашка скрылся по направлению к площади.

Назавтра предстоял большой базарный день. Множество палаток с вечера уже было разбито вдоль городского сада, где махали ветвями, грачиными гнездами, гнулись вековые липы. Ближе к реке стояли воза с сеном. Пыль, сено и листья крутились над площадью.

Буженинов опять увидел Сашку на тротуаре под освещенными окнами «Ренессанса». Несколько человек, в том числе два милиционера, о чем-то с ним возбужденно разговаривали. «Это он Утевкина убил, – долетел Сашкин голос, – я его сейчас видел, у него вся рубашка в крови». Люди зашумели. Из окошек трактира высовывались головы любопытных, прикрываясь от пыли. Снова облако закрыло и людей и трактир.

Несколько секунд Буженинов стоял за углом. Быстро соображал, оценивал обстановку. История с Сашкой снова покрылась волной неистового желания. Он стучал зубами от нетерпения. Сквозь пыль багровая молния упала за речкой. Раскололось небо от грохота. Буженинов, нагнувшись, побежал через площадь к возам с сеном. В спину ему затрещали свистки. Ветер кинул обрывки голосов. «Вот он... Лови!.. Лови!..» Пронеслось над головой, должно быть, грачиное гнездо. «Ну и буря, гнезда летят», — мелькнуло в сознании. Он нырнул между возами, продираясь, рвал сено, лез под телегами. Присел, слушал, придерживая сердце... Справа, слева верещали свистки. Голосов было все больше... «Здесь он... не уйдет... шарь под телегой... сюда, ребята... забегай...» Должно быть, весь трактир кинулся в погоню, рыскал, порскал, шарил между возами.

Тогда Буженинов чиркнул спичку и сунул в сено. Загорелось несколько невинных стебельков и сухой листочек. Буженинов коротко вздохнул, протиснулся несколько дальше и справа и слева от себя поджег сено. Подполз под телегами до наветренной стороны, где кончались воза, и там сунул в сено последний пучок спичек.

Между возами повалил белый дым. Буженинов отбежал, обернулся. Вырвалось пламя. Завыли голоса преследующих. В трех местах сразу поднялись огненные шапки. Ветер примял их, разнес, и огромным столбом красного огня занялись десятки возов. Огонь бросался в тьму бешено летящего ветра и развеивался. Искры, пучки горящего сена полетели над городом. Забил набат. Осветились размахивающие вершинами деревья и туча грачей над ними.

Буженинов стоял на скамейке, на бульваре над обрывом, и глядел на то, что сделал. По городу уже в нескольких местах выбросилось пламя. Деревянные крыши, заборы, одинокие деревья, скворечни выступали все яснее из темноты, заливались диким светом. По всей торговой площади плясало пламя. Как живые, шевелились, пылая, лотки и палатки, свертывались, падали. Сквозь крышу «Ренессанса» просвечивали раскаленными угольями стропила. Густой дым валил от пожарной каланчи.

По бульвару бежали женщины с узлами, плачущие дети. На Буженинова не обращали внимания. Дурным голосом кричала женщина, плача упала на землю. Пробежал, подняв руки, бородатый человек в подштанниках. Кого-то пронесли, положили под деревом. Все это происходило перед глазами Василия Алексеевича будто не настоящее, будто его фантазия, будто цветные картинки на полотне кинематографа. Несомненно, ум его в эти минуты помутился.

.....

Город пылал теперь целыми кварталами. Бульвар опустел – здесь от жара нельзя было оставаться. Но Буженинов стоял на скамье и глядел.

Во всех показаниях Буженинова в этом месте – провал, пустота. Он ничего не может вспомнить, кроме мучительного чувства какой-то боли в мозгу при виде телеграфного столба, с висящими по обеим сторонам проволками, на площади среди догорающих балаганов.

Им овладевает настойчивая идея. Трудно понять, как он мог пробраться через пылающие кварталы к своему дому.

Здесь он помнит, как влез через окно в столовую и сорвал со стены план голубого города. Крыша дома уже пылала.

Через выгон и старое кладбище он вернулся на бульвар. Это было уже под утро. Вместо базарной площади – широко кругом дымилось черное пожарище, торчали обгоревшие трубы, валялись листы железа, и одиноко над пеплом стоял телеграфный столб с повисшими проволоками.

– Товарищ следователь, уверяю вас, в эту минуту меня охватило чувство восторга и острой печали: я был один среди пустыни. Страшное ощущение себя, личного своего Я – этой буквы, стоящей лапками на горячих угольках и круглым завитком – в тучах, в утренней заре. Иногда теперь мне жутко сознавать: всегда казалось, что себя утверждаешь в творчестве, в созидании. Я же – вы видите, в чем... Или я чего-то не понимаю?.. Винта у меня какого-то нет?.. Или живу я в иное время – неизведанное, незнакомое, дикое?.. Или прав товарищ Хотяинцев?.. Не знаю... Но я честно вам все рассказал... А план голубого города я должен был утвердить на пожарище поставить точку...

Держа полотнище в зубах, Буженинов полез на столб, но сорвался и потерял сознание. Дальнейшее известно. Следствие по этому беспримерному делу закончено.

Буженинов Василий Алексеевич предстает перед народным судом.

ГАДЮКА

1

Когда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, – на кухне все замолкали, только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

– Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики...

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розово-блестящее углубление – выходной след пули, на правой руке у плеча – небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну,

называла ее «клейменная». Роза Абрамовна Безикович, безработная, – муж ее проживал в сибирских тундрах, – буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, – премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте, – уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус... И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамовна, – иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашку.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру – в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна поутру пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло стать. Вернее – примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилтоварищества это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом, – хорошо, что он увернулся, – и «покрыла матом», какого он отродясь не слышал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь «собачьей радостью» и пила чай на службе. Возвращалась

в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены – ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели – пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комоде, на столе стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол в окурках, посреди комнаты – горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом:

– Это какой-то демобилизованный солдат; ну разве это женщина?

Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов десяти йодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной йодоформом». Но этот план не был приведен в исполнение – побоялись.

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь ее – в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, быть бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа, – говорила ей Роза Абрамовна, – сделают конфету... Да вот, поедешь тут в Париж, ах, бог мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки... Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура...» Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться дурой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна; и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит тут скрывалась какая-то тайна...

.....

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора. Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты,

цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться – набрызгала лужу на полу... «А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла», – хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна.

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколебимое «тэкс, тэкс, поживем – увидим...». Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам.

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.

– Черт знает что такое, – проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.

– У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте, – сказал он, спуская на пол собачку. – Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. «Это, – он говорит, – ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице – возбужу судебное преследование». Я говорю: «Вы не

правы, Журавлев, это не ее кало...» И так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность...

В это время в конце коридора опять слышалось: «Ах, это черт знает что!» – и хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.

.....

В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность, – в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:

– Идите на Псковский переулок... Там я натворила... и сама не знаю что... Я сейчас должна умереть...

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер – вещдок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.

– А имеется у вас разрешение на ношение оружия? – для чего-то крикнул он. Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него. – Ваше имя, фамилия, адрес? – спросил он ее спокойнее.

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его жены, и наверху – бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изодраны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку:

– Доктор, какие звери! – и залилась слезами.

Через несколько дней она сказала ему:

– Двоих не знаю – какие-то были в шинелях... Третьего знаю. Танцевала с ним... Валька, гимназист... Я слышала, как они убивали папу и маму... Хрустели кости... Доктор, зачем это было! Какие звери!

– Шш, шш, – испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале – не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житейское трещало и разваливалось, неистовой яростью дышали слова декретов – белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жажды (в ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха – как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза.

– Из венерического? – спросил он равнодушно.

Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением:

– Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь. – Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.

– Ах ты батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за что. Или так – бандиты? А?

Олечка устала на него: как он мог так спрашивать, точно о самом обыкновенном, ради скуки...

– Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на Промной?

– А, вот оно что! Помню... Ну, вы бой-девка, знаете, – не поддались... (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся... Столько этого гнусного элемента вылезло – больше, чем мы думали, – руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его оглянули Олечку). Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие... А жалко. Сами-то из старообрядцев? В бога верите? Ничего, это обойдется. (Он кулаком постучал о ручку дивана). Вот во что надо верить – в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности; но под его насмешливо-ожидаящим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.

Он сказал:

– То-то... А – горяча лошадка! Хороших русских кровей, с цыганщиной... А то прожила бы как все, – жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука.

– А это – веселее, что сейчас?

– А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же на счетах щелкать...

Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказалось,

– передернула плечами: уж очень он был уверен... Только проворчала:

– Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники...

– Эка штука – Россия... По всему миру собираемся на конях пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся... Хочешь не хочешь – гуляй с нами.

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась голова – и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Только – горячо стало сердцу, тревожно, – чем-то этот сероглазый стал близок... Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал притопывать пяткой...

.....

Разговор был короткий – скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку, и оглянулась в глубь душевного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел, – вместо него ковыляли какие-то на костылях, – вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку, – слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела

мало... Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбрести в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?

Сильнее обиды мучило любопытство – хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион таких дураков... Большевик, конечно... Разбойник... А глаза-то, глаза – наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать пальцы!..

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь, Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то волокли, – срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подневольный, я не большевик... Пустите, куда вы меня?..» Двое паралитиков подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шепотом: «В сарай повели вешать сердешного...»

Ольга Вячеславовна оделась, – на ней было казенное серенькое платье, – бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон колоколов. Занималась заря. Слышалась – то громче, то замирая – военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль – два на низком ходу уса-

тых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. «Я не пленница, я русская», – сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялись, протянули руки ущипнуть за щеку, за подбородок... Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивала зубами.

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Паралитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова? – спросил он. Следуйте за мной...» Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли чоканьем пустоту коридора.

Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам... Ольга Вячеславовна споткнулась... Ей показалось... Нет, этого не могло быть...

Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.

– И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушке, связаться со сволочью? – услышала она его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные.

Она сделала усилие понять – что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздыхнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось. Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги, – под ней лежала карандашная записочка.

– Наши сведения не совсем совпадают, – сказал он, задумчиво морща лоб. – Хотелось бы услышать от вас кое–то о вашей связи с местной организацией большевиков. Что? – Угол рта его пополз вверх, брови перекривились.

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую асимметрию его чисто выбритого лица.

– Да вы... Я не понимаю... Вы с ума сошли...

– К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. (Он держал папиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек.) Ваша искренность подкупает... (Колечко дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая... Кстати: ваши друзья, красноармейцы, умерли героями. (Один пегий глаз его устремился куда–то в окно, откуда видны ворота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну что ж...

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:

– Битте, прощу...

Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами, – щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула...

– В тюрьму! – приказал офицер.

.....

Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась... Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом...

Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы – раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как бог.

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках, – про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.

Ольга Вячеславовна прижалась к углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости... «Заговоришь, заговоришь», – казалось, расслышала она... Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он молчал... Удар, снова удар... И вдруг что-то замычало... «Ага! Заговоришь!..» И уже не мычание – больной вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался – ударилась о него затылком...

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!

.....

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. (Это на Казань двигалась Пятая красная армия.) Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко: «Калачика вам принес, барышня... Если что нужно – только стукните... Мы завсегда с политическими...»

Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде и не притронулась. Било в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и – шепотом: «Мы подневольные, а мы всегда – за народ...»

Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. Затем – низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми; конусы света карманных фонариков заматались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам... Исступленная матерная ругань... Грохнули револьверные выстрелы, казалось – повалились подвальные своды... Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту... На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки... Горячо ударило ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину... Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами...

.....

Пятая армия взяла Казань, чехи ушли на пароклодах, русские дружины рассеялись – кто куда, половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света.

Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.

Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмуро морозящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.

– А девчонка-то дышит, – сказал он. – Надо бы, братцы, до врача добежать...

Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города «непременно старорежимного профессора», ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива...»

Она осталась жива. После перевязки и камфары приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. «Поближе, – чуть слышно проговорила она, и, когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему: – Поцелуйте меня...» Около койки находились люди, время было военное; человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся: «Черт, вот ведь», – однако не решился, только подправил ей подушку.

.....

Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила имя и отчество, – по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич».

Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать, – повторял он ей для бодрости, – живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь – запишу вас в эскадрон, лично моим вестовым...» Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились...»

.....

Ольга Вячеславовна действительно была живуча, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание, по обычаю, учителя русского языка – тучного красавца Воронова; гимназический «кружок Герцена» и восторженные увлечения товарищами по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, – каких в жизни нет, – героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита... Неужто все это было? Новое платье к рожде-

ственным праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, замерзших на тридцатиградусном морозе... Грустная тишина, перезвон великого поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах... Тревога весны, лихорадка по ночам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте... Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки...

В эти сны, – так ей представлялось, – разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским Георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы «городовым входить в храм божий без усилий»), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услатить на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым... Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как черт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло и только, революция развязала ему руки.

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом... Под ледком таилась пучина... Хрустнул он – и жизнь, грубая и страстная, захлестнула ее мутными волнами.

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали – не убили, ни черта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще не изведанной любви – это жизнь... Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза:

– Я так представляла себе: муж – приличный блондин, я – в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего!.. И это – счастье... Ненавижу эту девчонку... Счастья ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот сволочь!..

Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него... У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше умереть – не отстала бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное.

Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизирует его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери.

— Ну гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста...

В парадном зале он разломал дубовый орган — во всю стену — и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин.

— Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло, — умели жить буржуи...

Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови — заваривать, крупы, сала, картошки — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем...

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрие Васильевиче: придет ли сегодня? Хорошо бы — пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он — веселый, страшноглазый, — входила ее жизнь... Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды.

– Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было... К Новому году вполне будете в порядке.

Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.

– Империалистическая война – позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской, – рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки. – Революция создала конную армию... Понятно вам? Конь – это стихия... Конный бой – революционный порыв... Вот у меня – одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо... Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя... И он в панике бежит, я его рублю, – у меня за плечами крылья... Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела... Гул... И ты – как пьяный... Сшиблись... Пошла работа... Минута, ну – две минуты самое большее... Сердце не выдерживает этого ужаса... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут уж – руби, гони... Пленных нет...

Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистела по воздуху... Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам... Казалось: рассеки свистящий клинок ее сердце – закричала бы от радости: так любила она этого человека...

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса

– быстрый, затуманенный не братским чувством... Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть... Но – нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон нижний подвал, где «гвоздили» из души в душу последними словами мировую буржуазию... «Не пулей – куриным словом доедем... Ай, пишут как, ай, черти!» – кричал он, топая ногами от удовольствия...

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподавал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смешно, – и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.

3

В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю она вытянулась, как струна, морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны, говорил Емельянов, – соплей ее перешибешь, а ведь – чертенок...» И как черт она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке,

натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком – лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.

Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за «буржуазную отрыжку», – время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?..» Ольга Вячеславовна выскакивала и – без запинки: «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле...» Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на деникинский фронт.

Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветреных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек – все недавнее прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бро-о-сай курить!.. На коней!..» – раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, шашка ударила ее по бедру... Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал! «Ры-ысью

марш!..» Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся», упоительной песней припомнились ей слова любимого друга... Так началась ее боевая жизнь.

.....

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова – девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто ее не лапал – все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.

По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто – на одной кровати: он – головой в одну сторону, она – в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати... Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь, – мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с

него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых – на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнувший потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту засматривался в пылающее во сне, обветренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

.....

Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка, – совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах – голод, по деревням – бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался – побаловаться, поиграть.

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешила, разнуздавала его, и он, войдя по колено стал пить, но только потянул воду – поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков в конце пруда ему ответили

ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло; вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый?

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска... «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножами коня, пригнулась, – и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу... За спиной послышался тяжелый настигающий топот... Выстрел... Она покосилась – один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака... Опять выстрел сзади... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!» – страшно закричал он, размахивая шашкой... Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня – навстречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел... Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника... «Валька! Валька!» – крикнула она дико и радостно, – и в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник... Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно: «Баба!» – и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина – должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить); ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостлался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за затылок.

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полевой степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь; меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но – ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.

.....

В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха.

– Ой, не могу, ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух мужиков!..

– Постой, ты Расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал: «Баба!»

– А велики ли усы-то у него были?

– Глаза вылупил, удивился.

– И рука не поднялась?

– Ну, известное дело.

– И ты его тут – тюк по затылку... Ой, братишки, умру... Вот тебе и кавалер – разлетелся.

– Ну, а потом ты что?

– Ну что «потом»? – отвечала Ольга Вячеславовна. – Обыкновенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом.

.....

Одно существенное неудобство было в походной жизни: Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливости. В особенности досадно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда; бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали:

– Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами.

Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице – вон из строя; это не боец, – говаривал он. Конник, пуще всего береги ж... Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца – четверть часа физических упражнений».

Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее: приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, – и что-то будто коснулось неслышно ее спины.

Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, черт, уставился, отвернись!»

Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным – самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах, для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее – он, оказывается, спал прямо на полу, у двери... Исчезла простота... В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную, притворную маску. И все же это время она жила как пьяная от счастья.

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность, – о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ – прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:

– Не заробеешь? Ну, ну, смотри... Ближе ко мне держись...

Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стремящем Дмитриия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы – лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатались по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон, марш, марш!..» Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подбрав зад, кинулся в речку...

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами; степь гудела под копытами пяти сотен коней. На скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.

– В целях маскировки мы теперь – сводный полк северо-кавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется, – в зубы, молчать; я вам теперь не «товарищ командир», а «его высокоблагородие господин капитан». (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом.) Вы теперь не «товарищи», а «нижние чины». Тянуться, козырять, выкать. «Мо-о-ол-чать, руки по швам!» Поняли? (Весь эскадрон грохотал; вытягивались,

kozyряли, к «ваше высокоблагородие» пристегивали разные простые словечки.) Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку...

Три дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам – горели железнодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустиали, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех: свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказала кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький...» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки.

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит – его портянки были стираны.

– Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? – сказал он Ольге Вячеславовне.

Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом у Емельянова, повела полным плечом:

– Точно ждали мы вас, уж и борщ... – Голос у нее был тонкий, нараспев, – бойка, нагла... – Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться – высохнут... – И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.

Он одобрительно побрякивал, хлебая, – весь какой-то сидел мягкий.

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце, помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь:

– Ты что: смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала.

Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда сажился на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и – все понял, расхохотался – по-давнішнему – всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

– Ах ты дурочка...

У нее едва не брызнули слезы.

.....

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих.

Привели двух мужиков, – нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только:

– Братцы, голубчики, не губите...

– За белых ваше село или за советскую власть? – нагнувшись с седла, закричал Емельянов.

– Братцы, голубчики, сами не знаем... Все у нас взяли, пограбили, все разорили...

Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост, на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные и этот мост велено защищать – хоть сдохни; а воевать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах – вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь – разбегаются; агитатор был, да помер от поноса.

Командир полка соединился по прямому проводу с главковерхом: действительно – было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.

.....

– Живыми отсюда не уйдем, – сказал Емельянов.

Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке, – в нем была тоска.

– Ну, пойдем, Оля, – сказал Дмитрий Васильевич, – надо поспать часик. – В первый раз он назвал ее по имени.

Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов: весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.

– Поцелуй меня, – с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.

Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи, – у нее упала фуражка, закрылись глаза, – и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.

– Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты...

.....

Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.

Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехались под полковое знамя; разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал:

«Нужно умереть, товарищи», – и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.

Ольга Вячеславовна видела: вот конь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскавав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и – сейчас же конь его забился.

Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Все прорвались на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавиной всадников вилоь по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец, – размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей их!..»

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру

полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали – чем? Портсигар – не курит, часы – не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить золотой брошью – стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать...»

4

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете – никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища болтались на ней, как на скелете, – пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие, люди. Куда было ехать? Весь мир – как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь – воевать.

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, орущие буквы военных плака-

тов и черт знает каких афиш и извещений – ключья бумаги, шелестящие на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке коптящей лампы – и опять снега, сосны, дымы костров, знакомый звук железных бичей боя, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий.

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами – «Губан» – и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»...

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан – синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле. Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика... Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези... Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за

проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь: «Помни, сказал, это надежда на спасение...»

Потом – кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в Главлесе или так, писчебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа в этаж.

На месте долго не засиживалась, все время передвигалась из города в город – поближе к России. Думалось: проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич... Нашла бы и тот куст ракитовый и место приятное, где сидели...

Прошное не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее, – Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной...

5

В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали – что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.

Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разру-

шены с неистовой яростью, все покривилось и повалилось, крапивой заросли пожарища, – человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды – такой же, как в прашуровские времена.

Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же, вот этими – все еще скрюченными, как лапа хищной птицы... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу, – вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти, – она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там – от мальчика до старика... И вот бродят по загаженному городу, в кисло пахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить...

Листки декретов настойчиво требуют – творчества, творчества, творчества... Да, это потруднее, чем пироксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе... Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: «индустриализация»... Она была девственно впечатлительна и мечтала у нарядного плаката, – ее волновало величие этой новой борьбы.

Закат мрачнел; последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, грызя семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаль. Семечки, семечки... Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки – она не могла мириться с тишиной, семечками, банными вениками и огромными пустырями захламляясь...

Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.

.....

К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве уютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколенный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость,

ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреде, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль – всегда к видимой цели...

Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, «разгладила шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:

– Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая, в общем, интересная женщина и – провоняли все помещение махоркой... Женственности, что ли, в вас нет... Курили бы «Яву».

Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: «Черт знает что такое – огородное чучело». Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта... Как же это случилось?

Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико

стоящую перед зеркалом, и – ниже площадкой – фыркнули со смеху; можно было разобрать только: «...лошади испугаются...» Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны... Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядье – звали ее Сонечка Варенцова.

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядье), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» – задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком.

Сонечка нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком мосту, что теперь носят платья «шемиз», чулки телесного оттенка и прочее и прочее...

Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть. Так... Поняла...» Затем схватила за Сонечкину светленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:

– А это – как чесать?

– Безусловно стричь, мое золотко, – пела Роза Абрамовна, – сзади коротко, спереди – с пробором на уши...

Петр Семенович Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда, самодовольно блестя черепом:

– Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна...

Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:

– Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле...

.....

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупился, сидя под бешено трещащим телефоном.

– Елки-палки, – сказал он, – это откуда же взялось?

Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза – как ночь, длинные ресницы... руки отмыла от чернил, – одним словом, крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазком.

– Ударная девочка! – впоследствии выразился он про нее.

Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.

Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда – гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком пялились мужчи-

ны, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.

.....

На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помуслив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полоски бровей, надела шляпу. Они вышли.

Педотти сказал:

– Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.

Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.

– Ну? – спросила она. – О чем вы хотели со мной говорить?

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.

– Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо... В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность... Романтику всякую там давно пора выбросить за борт... Ну вот... Предварительно я все объяснил... Вам все понятно...

Он обхватил Ольгу Вячеславовну под мышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление: Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула, – она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга

Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, рванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:

– Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

– Вперед не лезь, не спросившись, дурак, – сказала она.

Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», закурила и ушла.

.....

Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели... Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки... Припомнилась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало... Вот была чертова ночка... Зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь была ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и «это», конечно, теперь начнется... Не обойтись, не уйти...

Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:

– ...Поразительно, до чего она ломается... Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая... При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: «девица»... (Смех, шипение примусов.) А все говорят: просто ее возили при эскадроне... Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном...

Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:

– Безусловный люис... По морде видно.

Голос Розы Абрамовны:

– А выглядывает – что тебе баронесса Ротшильд.

Басок Петра Семеновича Морша:

– Будьте с ней поосторожнее, гадюку эту я давно раскусил... Она карьеру сделает – глазом не моргнете...

Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:

– Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович... Успокойтесь, не с такими данными делают карьеру...

Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.

.....

После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: «гадюка», «клейменная» и «эскадронная шкура», – она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И – всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно... Будто бы можно было закричать им всем: «Я же не такая...»

Недаром когда-то Дмитрий Васильевич называл ее цыганочкой... С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания... Ее девственность негодовала... Но – что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз... Это было не нужно, это было ужасно...

.....

Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: ОН... Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромахнувшим из-за угла.

Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):

– Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против... Но это же никому не нужно, это – мелочь, это не талантливо!

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попить чай в ущерб деятельности...

– Больно укусить побоялись, а твякнули – по-лакейски... Ну что же, что чай... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать...

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те – любимые, навек погасшие... Чисто выбритое лицо –

правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой... Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири providовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас... Такие люди ей представлялись – несущие голову в облаках... Он тасовал события и жизни, как колоду карт... И вот – с портфелем, с усталой улыбкой – и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями...

– Так все мельчить неумело, – опять сказал он, – можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам... Значит, старики сделали дело и – на свалку... Жалованье получили, теперь пойдем пиво пить... Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрывать опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки... Так-то...

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней... Ей пронзительно стало его жалко... А как известно, жалость...

При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала сдобная плюшка. У окошка шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал:

– Все, товарищ... Идите.

Это было действительно все... Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста...

Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки граммов десять йодоформу: «Бесится наша гадюка-то», – сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо – стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам – где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, – было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней... А так – жизни нет...

Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю...» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих... В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозovým электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, слышав шаги Зотовой... Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в

комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.

Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула, – во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки, – строгий...

– Дело в том...

– Дело в том, – сейчас же перебил он с брезгливостью, – мне про вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно, – пожалуйста, не лгите, объяснений мне не нужно... Вы только забыли, что я не нэпман, слюней при виде каждого смазливового личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет – выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее... Из вас может выйти хороший товарищ...

Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить. Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.

Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскад-

ронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно...

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало Невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему: «Ах, это – черт знает что» дважды – на кухне и возвращаясь к себе в комнату, – после чего она ушла со двора.

На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович – небритый и веселый с перепоею. Роза Абрамовна варила варенье из мирабели. Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и острили. Появилась Сонечка Варенцова с запухшими глазками.

– Я больше не могу, – сказала она еще в дверях, – это должно кончиться наконец... Она меня обольет купоросом...

Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке, – не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону – сероводородом или опять тот же йодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Марья Афанасьевна сказала дело:

– Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?

– Да, – ответила Лялечка, – третьего дня мы были в загсе... Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно...

– Поживем – увидим, – блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович.

– Так этой гадине ползучей, – Марья Афанасьевна потрясла утюгом, этой маркитантке вы в морду швырните загсово удостоверение.

– Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь, такие тяжелые предчувствия...

– Мы будем стоять за дверью... Можете ничего не бояться...

Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял баранчиком:

– Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства...

Лялечку уговорили.

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени... Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому... Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так, сейчас она увидела в руках у себя вещдок – и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку...

В дверях постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы, – и кажется в руках у них были щетки, кочерги... В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами... Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:

– Это совершенное бесстыдство – лезть к человеку, который женат... Вот удостоверение из загса... Все знают,

что вы – с венерическими болезнями... И вы с ними намерены делать карьеру!.. Да еще через моего законного мужа!.. Вы – сволочь!.. Вот удостоверение...

Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонечку... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись, как сталь... Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и – продолжала стрелять в это белое, заматавшееся перед ней лицо...

ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелем в трактире «Северный полюс», рассказал историю:

– Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Не доходя до моста, слышу – стучат кузнецы. Гляжу – табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают, грязные – смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут же помирает, не может вытерпеть чистоты.

Подходит ко мне старая, жирная цыганка: «Дай, погадаю, богатый будешь, – и хвать за руку: – Положи золото на ладонь».

В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. Я – цыганке: «Сейчас позову городского, отдай деньги», Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хотя и в трезвом виде. «Баринок, баринок, – она говорит, – не сердчай, а то вот что тебе станет, – и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки. – А добрый будешь, золотой будешь – всегда будет так», – задирает юбку и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками.

Я заробел, – и денег жалко, и крючков ее боюсь, не

ухожу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба, полная разнообразных приключений, буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю, – время мое придет, не смейтесь.

Приятели Семена Ивановича ржали, крутили головами. Действительно: кого, кого – только не Семена Ивановича ждет слава и богатство. «Хо-хо! Разнообразные приключения! Выпьем. Человек, еще графинчик и полпорции шнельклопса, да побольше хрену».

Семен Иванович, – нужно предварить читателя, – служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так – со второго двора, с Мещанской улицы.

– А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба, – повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали перец в водку. «Хо-хо, необыкновенная судьба! Ну и дурак же ты, Семен Невзоров, – сил нет...»

Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, расстилался туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулеву шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

– Виноват, вы обмишурились, я – Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозвищу Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой – праздничек. Протекло бы годов, сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же, – судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя правду надо сказать, – пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат – туманный, петербургский, раздражающий воображение, – привели Семена Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая парми при-

сутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон...»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини – длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы рыжеватые и в теле. Граф – непременно с орлиными глазами. Князь – помягче, с бородкой. Светлейшие – как бы мало доступные созерцанию.

Так Семен Иванович сиживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши... А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса... Духи, ароматы... Происходил фэйф-о-клок. Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный, – просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно.

Многие события, большие дела произошли с той поры: заехали в пропасть, перевернулись кверху колесами, – война. Но Семена Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. «Северный полюс» закрылся.

Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. Познакомишься с приятным человеком, – хватать-похватать,

он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями.

Попались Семену Ивановичу как-то, при разборке комода, гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул. И опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить?

Одно время Ибикус привязался по ночам сниться: огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А наутро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной нашатырем. Выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье... Но защемило сердце. Нет. Обманула цыганка.

И вдруг стукнула судьба.

Семен Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахара, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг – дзынь! Резко звякнуло оконное стекло и сейчас же – дзынь! – зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семен Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семен Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали. Дворник объяснил:

– Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

– На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

– Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами – про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семена Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у горячей печки.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семен Иванович пошевелится, девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

– На Екатерингофском канале лавошники околодошного жарят заживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактактакло.

Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово – Революция – взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не уговнясь, гулко стучало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

...В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стояла женщина удивительной красоты – темноглазая, бледная, в шелковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

– Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идем...» – «Здесь она». – «Брось, идем, ну ее к черту...» – «Ну, так она на другой лестнице...» – «Брось, идем...» Шаги застучали вниз, голоса затихли.

Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились:

– Я останусь... Не прогоните?

– Помилуйте. Прошу.

Она быстро прошла в комнату, села на кровать.

– Какой ужас! – сказала она и стащила с головы платок. – Не спрашивайте меня ни о чем. Обещайте. Ну?

Семен Иванович растерянно обещал не спрашивать. Она опять уставилась на него, – глаза черные, с припухшими веками, с азиатчинкой:

– На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже, какой мрак!

Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько ободряющих слов. Она выпрямилась, сунула руки между колен:

– Вы кто такой? (Он вкратце объяснил.) Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете – меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка.

– Простите, сударыня, я по обхождению, по одеже вижу, что вы аристократка.

– Вы так думаете? Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. Странно – почему я к вам забежала. Бегу по двору без памяти, – гляжу – окошко светится. Умираю, устала.

Семен Иванович постелил гостью на диване. Предложил было чаю. Она мотнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понес свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула:

– Ни за что! Боюсь. Ложитесь здесь же. С ума сойду, несите назад тюфяк.

Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване – рrrrrr – разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали мурашки по спинному хребту, кровь стала приливать и отливать, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубой.

– Мученье, зажгите свет. Холодно. (Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком.) Небось лежите и черт знает что думаете. – Она проворно повернулась лицом в подушку. – Одна только революция меня сюда и загнала... Не очень-то гордитесь. Потушите свет.

Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег, и опять – мурашки, и кровь то обожжет, то дернет морозом.

– Да не слышите разве, я плачу? Бесчувственный, –

проговорила гостя в подушку, – у другого бы сердце разорвалось в клочки – глядеть на такую трагедию. Зажгите свет.

Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы и из-под черно-бурого меха – голое плечо. Стиснул зубы. Лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку.

– Сударыня, разрешите – чаю вскипячу.

– Ножки, ножки замерзли, – комариным голосом проплакала она, – вовек теперь не успокоюсь. В двадцать два года на улицу выгнали. По чужим людям. Свет потушите-еее.

Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей ноги и, прикрыв, так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. За спиной, в углу, в темноте, – он не видел, но почувствовал это, – возник и стоял голый череп Ибикус.

– Завтра, наверно, буду лежать, раскинув рученьки на снегу, – ужасно жалобно проговорила гостя, – а тут еще царство погибает.

– Я всей душой готов утешить. Если не зябко – разрешите, ручку поцелую.

– Чересчур смело.

Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг рискнул – стал целовать это лицо.

Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения – не-

делю, другую, месяц. В комодке, вместе с картами девицы Ленорман, лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь – дико глядел на пустой диван. Ему представлялось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул – прыгнул в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой с табаком и гильзами на подоконнике.

В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, взбесившиеся мотоциклетки. На перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав, – болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь: «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках.

Семен Иванович с тоненькой усмешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, солдаты, жулики, хорошенькие барышни, генералы, бумажные деньги, короны, – все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в половодье.

«Тут-то и ловить счастье, – раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь, – голыми руками, за бесценок – бери любое. Не плошать, не дремать».

Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный – толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей.

...Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене троими в солдатских шинелях. Они кричали:

– У меня вшей – тысячи под рубашкой, я понимаю – как воевать!

– Кровь мою пьете, гражданин, это вы должны почувствовать, если вы не бессовестный!

– Землица-то, землица – чья она? – кричал третий.

Господин тарашил глаза. Длинный, извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо:

– Видите, граждане, он ни жида по-русски не понимает, а привязались.

Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе (действительно на плохом русском языке) поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром, приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил, прорвало его потоком:

– Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Моховую, вот где найдете мебель, бронзу, кружева... Столовое серебро десятками пудов выносят на фэйф-о-клоках. А посмотрели бы вы на туалеты. Сказка! Бывало, стоишь с чашкой кофею около баронессы, княгини, – дух захватит. Клянусь богом – видать, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. Я не кавалергард – камер-юнкер, но роптать нечего – пользовался у аристократок успехом. Бывало, прямо со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Вот еще недавно одна прибежала ночью, оставила на память – и смех и грех – часть туалета из стариннейших

кружевцев. Цены нет. А теперь – усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться умеючи, – вагонами можно возить обстановки.

Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семена Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку.

Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями. Екатерининские пышные портреты. Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства – карельская береза, согнутые коробом кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками.

Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивановичу лавку, любовно притрагивался к пыльным полированным плоскостям, мудрено вытягивал извилистые губы. Полизав пыльный палец, говорил:

– Это искусство умерло, этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотне лет. Вот – кресло. Можете полировку ошпарить кипятком. Полировано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А эта парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники-столяры. Русский столяр чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло.

Между разговором антиквар предложил Семену Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семен Иванович стал часто заходить в лавку, исполнял кое-какие поручения. Но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни. Все бродило. Мимо, близко, у самого рта, скользили такие соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывало дух: а упущу, а прозеваю, а прогляжу счастье?

Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около – седую, высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримасы губами.

– Ах, вы ждете денег, – сказал он рассеянно и стал шарить рукой сбоку карельского бюро.

Семен Иванович отчетливо видел его пыльные, слабые пальцы, – средним он надавил на незаметную щеколдочку, крышка отскочила, рука антиквара вошла в ящичек и вытащила оттуда пачку кредитных билетов. Семен Иванович только тогда перевел дыхание.

Его мысли в этот день получили иное несколько направление: появилась ясность, ближайшая цель – достать несколько сот тысяч рублей, бросить службу и уехать из Петрограда. Довольно войны, революции! Жить, жить! Он ясно видел себя в сереньком костюме с иголки, на руке – трость с серебряным крючком, он подходит к чистильщику сапог и ставит ногу на ящичек, сверкающий южным солнцем. Гуляют роскошные женщины. Так бы и зарыться в эту толпу. И всюду – окорока, колбасы, белые калачи, бутылки со спиртом.

До поздней ночи Семен Иванович бродил по улицам. В весеннем небе слышались гудки паровозов. Это прибывали истерзанные поезда со скупым хлебом, с обезумевшими людьми в солдатских шинелях, прожженных и простреленных. Паровозы кричали в звездное небо: «Умираааааа-ем». Семен Иванович, насквозь пронизанный этими звуками, ночной свежестью, голодный и легкий, повторял про себя: «Первое – достать деньги, первое – деньги».

Незаметно для себя он очутился близ знакомой антикварной лавки. Стал, усмехнулся, покачал головой: «С бухты-барухты – нельзя. Придется обдумать». Улица была пуста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович взгляделся, подошел к лавке; странно – дверь оказалась приоткрытой, внутри – свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул.

Бюро, диваны, кресла, вазы, – все это было опрокинуто, торчало кверху ножками, валялось в обломках, на полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, заложил ее на щеколду.

Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно, на весь магазин, что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под опрокинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых, знакомых брюках. Антиквар опять затянул «ооооо» под диваном. Семен Иванович схватил ко-

вер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф. Кинулся к бюро. Нажал щеколду. Крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег.

Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор. Страшно бывало по ночам: вдруг – обыск. Боязно и днем, на службе: вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха, – Александровскую колонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать.

Чем дальше он считал – тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей да мелочью тысяч на десять. Семен Иванович встал со стула и, как был, в тиковых подштанниках и носках – принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук.

Весь этот день Семен Иванович провел на Невском – купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар – «боливаро». Купил две перемены шелкового белья, бритву «Жиллет» и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги. Подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стола. Примерил новую шляпу, попробовал

улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто. Поехал на Невский. Здесь он стал ходить жилистыми, мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляпки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек – где живет, здорова ли, не хипесница ли?

А рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора, яснее проступали бумажки на тротуарах, – миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш, – остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке, на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер с судорожно зажатыми в кулаке гвоздиками.

«И это – жизнь, – раздумывал Семен Иванович, – бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях... Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости».

На следующий день Семен Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго, и с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился в международном вагоне, один в бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголки. Семен Иванович испытывал острое наслаждение.

Семен Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но – все та же, непонятная ему,

отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений – газеты, афиши, бюллетени, споры. Он часто заходил в кафе «Бом» на Тверской, где сживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело, – видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками! «Хорошо бы, – думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными, – нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

Жаль – не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отворотятся. Хотя одет он был чисто, но язык – как мороженный, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал – необходимо шагнуть еще на одну ступень.

Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом, нечесаный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит, согнувшись, курит лениво. Веки полужакрыты, бледная, под глазами тени. Ее спросят, – не оборачиваясь, усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженная, темноволосая. Но как с ней познакомиться?

Тогда Семен Иванович решился, наконец, на давно уже им обдуманное. Рядом с кафе «Бом» в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под

мрамор: «Симеон Иоаннович граф Невзоров». В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три, и приказчик сказал: «Ваши карточки готовы, граф», когда он прочел напечатанное, – охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел: «Ваше сясь, я вас ката...» Трудно было смотреть прохожим в глаза, – еще не привык. Граф прошелся по Тверской, завернул в кафе «Бом», сел за свой столик и спросил вазу с пирожными.

На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищурив подведенные ресницы. Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло:

«Вечер-буф молодецкого разгула Футуротворчества. Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей. Хохот. Рычание. Политика. В заключение – всеобщая вакханалия».

Здесь же в кафе граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями, – как это понял Семен Иванович, – но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут – не успеешь моргнуть», – подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер – косматый, с трубкой. Она

глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами, – вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал:

– Эту словесность каждый день даром слышу.

Девушка подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку.

– Позвольте представиться.

Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударило в жаркий пот. Но нет, – смех был не злобный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девушки, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девушка спросила:

– Кто вы такой?

– Я недавно прибыл в Москву, видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу.

– Вы не писатель?

– Нет, видите ли, я просто богатый человек, аристократ.

Девушка опять засмеялась, глядя на графа с большим любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее столик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине.

Граф Невзоров спросил крестовника покрепче – то есть из чистого коньяку – и, держа папиросной лорнеточкой папироску, нагнувшись к девушке, принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девушка тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась.

На эстраде какой-то человек лалял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других, за его спиной, подхватывали припев: «Хо-хо, хо-хо! дзым дзам вирли, хо-хо!» Это жеребячье ржание сбивало графа, он встряхивал волосами и подливал коньяку.

Девицу звали Алла Григорьевна. От коньяку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась, – уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился.

– Едемте ко мне, – неожиданно сказала она. Граф оробел. Но пятиться было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно пододвинулась к столику:

– Это что еще такое? – и ударила кулачком по столу. – Что хочу – то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий!..

У косматого задрожал подбородок, он совсем прикрывлся рукой, коричневой от табаку.

– Ненавижу, – прошептала Алла Григорьевна и ноготками взяла Невзорова за рукав.

Вышли, сели на извозчика. Алла Григорьевна непонятно топорщилась в пролетке, подставляла локти. Вдруг крикнула: «Стой, стой!» – выскочила и забежала в еще открытую аптеку. Он пошел за нею, но она уже сунула что-то в сумочку.

Граф, весьма всему этому изумляясь, заплатил аптекарю сто двадцать рублей. Поехали на Кисловку.

Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату, – граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась:

– Нет, этого совсем не нужно.

Она слегка толкнула Невзорова на плюшевую оттоманку. В комнате был чудовищный беспорядок, – книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике.

Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула в ручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать.

Опять оробел Семен Иванович. Но она захватила на зубочистку порошок и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще – втянула в другую. С облегчением, глубоко вздохнула, откинулась, полузакрыла глаза:

– Нюхайте, граф.

Тогда и он запустил в ноздри две понюшки. Пожевал яблоко. Еще нюхал. Нос стал деревенеть. В голове ясно. Сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку.

– Мы, графы Невзоровы, – начал он металлическим (как ему показалось), удивительной красоты голосом, – мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком родстве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ни-

чего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови, – и переворот готов. Отчетливо вижу: в тронной зале собираются чины и духовенство, меня, конечно, под руки – на трон... Я с трона: «Вот что, генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка, у меня – чтобы никаких революций!.. Бунтовать не допускается, поняли, сукины дети?» И пошел, и пошел. Все навзрыд: «Виноваты, больше не допустим». Из залы я, тем же порядком, направляюсь под руки в свою роскошную гостиную. Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждой – только мигни, сейчас платье долой. Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подают торт, ставят на стол...

Семен Иванович уже давно глядел на столик перед диваном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе, набекрень – корона. Борода, усы... «Чья это голова, такая знакомая?.. Да это же моя голова!»

У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не Ибикус ли, проклятый, прикинулся его головой?.. Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна.

Несколько недель (точно он не запомнил сколько) граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанихивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчетливость Семена Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, а то просто небольшую сумму денег.

В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь. «Бросить это надо, погибну», – бормотал он, не в силах вылезти из постели. А кончался день, – неизменно тянуло его к злодейке.

На одном и том же углу, в продолжение нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и неподвижного гражданина. По виду это был еврей, с ярко-рыжей, жесткой, греческой бородой. Он обычно стоял, запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза – заплаканные, полузакрытые. Рот – резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах. Все лицо напоминало трагическую маску.

– Опять он стоит, тьфу, – бормотал Невзоров и из суеверия стал переходить на другой тротуар. А человек-маска будто все глядел на галок, растрепанными стаями крутившихся над Москвой.

Наступили холода. По обледенелой мостовой мело бумажки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой, уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, сладких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про человека-маску. Неожиданно она ответила:

– Ну, и пусть, все равно недолго осталось жить.

В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных улицах было жутко – пусто, раздавались выстрелы. Алла Григорьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, не с чем было выпить чаю. Понюхали кокаинчику.

В полночь в дверь постучали, голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человекова собрался весь дом, – встревожено шумели, рассказывали, будто в городе образовался Комитет Общественного спасения и еще другой – Революционный комитет, что стреляют по всему городу, но кто и в кого – неизвестно. Из накуренной передней истошный голос проговорил: «Господа, в Петербурге второй день резня!» – «Прошу не волновать дам!» – кричал председатель Человеков, стуча карандашом по стеклянному абажуру. Оратор, попросивший слова, с обиженным красным лицом надрывался: «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщала: «Господа, только что мне звонили: Викжель всецело на нашей стороне». – «Не Викжель, а Викжедор¹, и не за нас, а против, не понимаете, а вносите панику», – басили из-за печки. «Господа, – надрывался Человеков, – прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику».

Наконец постановили: собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару, с тем чтобы он в случае нападения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился.

На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две непрспавшиеся дамы и старичок с двуствольным ружьем сказали:

– Если дорожите жизнью, – советуем не выходить.

¹ Всероссийский исполнительный комитет железных дорог.

Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице, в мерзлом тумане, проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки: ух – ах, – и каждый раз взлетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом.

Папиросы все вышли. Печка в комнате не топлена.

– Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм. Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю, – сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день.

В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали:

– Гасите свет. Нас обстреливает артиллерия с Воробьевых гор.

Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки. Говорили шепотом. Человеков ходил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечки, зевая читала растрепанную книжку.

Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожарища, – врач закрыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров.

Ночь была наполнена звуками. Вдали, между темных очертаний крыш, ярко светилось одинокое окошко. Поширкивали в воздухе снаряды. Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда:

– Слушайте, граф, разве возможна нормальная жизнь в такой стране?

За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло к Алле Григорьевне. Помирились. Следующий день начался таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно, там, на улицах, решили не шутить.

Алла Григорьевна в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали. Газ плохо горел. В окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол, начался переполох. Оказалось: у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясая землю, проносился броневик. Шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.

Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховый платок. Семен Иванович приподнимался спросонок: «Ну, что вам еще не хватает, спите», и мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба, видимо – он всходил еще на одну ступень.

Рано поутру Алла Григорьевна оделась, – не напудрилась, не подмазалась, – положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол:

– Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна!

– Оставьте юбку. Я вас презираю, Семен Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте.

Она ушла. Рассказывали, что сам Человеков не пускал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна сказала: «Иду к сестре за Москву-реку», – и ушла через черный ход.

За дверью хрипловатый веселый голос спросил:

– Аллочка дома?

Вошел рослый человек в грязном полушубке. Снял папаху, – череп его был совсем голый, лицо бритое, обветренное, с большим носом. Он оглянул комнату сверкающими, глубоко сидящими глазами. Невзоров поднялся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа тому назад ушла к тетке, за Москву-реку.

– Черт! Жаль! Девчонку ухлопают по дороге, – сказал веселый человек, расстегивая бараний полушубок, – ну, давайте знакомиться: Ртищев, – он подал большую руку с перстнем, где сверкал карбункул, – а в Москве-то что творится, пятак твою распротак! Я только что с Кавказа. Продирался две недели. Прогорел начисто, это я-то, на Минеральных Водах, да, да. Я – игрок, извольте осведомиться. А жаль – Аллочка улетела. Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с вокзала, бегаю по подворотням, пятак твою распротак! Видите, полушубок прострелен. Решил – к Аллочке под крыло. Ну, ничего не поделаешь, выпьем без хозяйки. Жрать хотите небось?

Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по третьей, Ртищев сказал:

– Граф Невзоров, если не ошибаюсь? (Семен Иванович подтвердил.) Ну, так вы врете, вы не граф.

– Позвольте, что это за разговор!

– Таких графов сроду и не было. Вы – авантюрист. Не подсакивайте. Я ведь тоже не Ртищев. Очень просто, пятак твою распротак. А плохи наши дела, граф.

– Виноват, как вы со мной обращаетесь!

Ртищев только весело подмигнул ему на это:

– Уже когда по Москве начали пушками крыть, это значит – четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться в Одессу, граф. Деньги есть? (Семен Иванович пожал плечами.) Ну, ладно, поговорим вечером.

Ртищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под буханье пушек, дребезжанье стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он – ловец, смельчак, этот возьмет свое».

В сумерки Ртищев заворочался на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в Кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла как накануне Страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках. Пришлось свернуться.

– Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь

работать. А эти буржуи, как индюшки, — только: чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии? — спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие. — Э, бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да?

— Может быть.

— И это занятие. Изю всего можно сделать себе занятие — был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных Водах объявился один, тоже по политике; намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Но глупышка, видите ли, надумал играть в железку с накладкой; это при Пушкине играли с накладкой, — люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!

Невзоров сердито топнул ногой. Ртищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу:

— Давайте в картишки. Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак!

Ртищев и граф Невзоров сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч. Но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше: за картами многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем.

На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борьбой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую.

Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров — подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один

дополнял другого. Они разыскивали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение. Устраивались диспуты об искусстве. Там можно было получать чай с сахаром и пирожными. В тайных задних комнатах резались в железку.

Тревожное время, неизвестность, крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего, голодного города погнали игроков в «Белую хризантему». Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией. Темные личности, торгующие деньгами, иссиня-бритые, с воспаленными, изрытыми лицами. Заходили метнуть награбленное взломщики и бандиты – осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали завсегдатаи скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское.

Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался пьян и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги: он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в игорной комнате появился косматый человек – бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом:

– Убита на улице в октябре месяце.

Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупреждал товарища:

– Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут. В конце концов это дело не по мне. Я не буфетчик.

На это Ртищев кричал ему пьяный:

– Граф, в тебе нет широты. Ты мещанин, ты на Невском сиги продавал!

Опасения оказались резонными. Однажды ночью «Белая хризантема» была оцеплена солдатами, и все гости и Ртищев отведены в район. Невзорову удалось ускользнуть от ареста, – он выскочил через окно в уборной, унося в мешочке полугодовой доход игорного дома. Надо было бежать из Москвы.

Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пассажирами сверх всякой возможности. Весь поезд ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры.

Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвешанное, кровавое уныние несчастной войны.

«Паршивая, нищая страна, – думал Семен Иванович, с отвращением поглядывая сквозь разбитое окошко вагона на плывущие мимо будничные пейзажи, – туда же – бунтовать. Вшей бить не умеете. Что такое русский человек? – свинья и свинья. Тьфу, раз и навсегда. Отрекусь, наплюю, самое происхождение забуду. Например: Симон де Незор – вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка.

Одет он был в гимнастерку, в обмотки, в картузишко с изорванным козырьком – вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте имелось удостоверение, – приобретенное на Сухаревке, – в том, что он, С. И. Невзоров, – артист Государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности.

В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие рассказы. Здесь Семен Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота, вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску, причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе.

Семен Иванович осторожненько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоев. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевезти их через нейтральную полосу к немцам.

Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький, улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыне в спустившихся шелковых чулках. Барыня, господин и няньки с детьми раскрыли складные стульчики и сели под открытым небом, среди огромного количества кожаных чемоданов.

Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко: проснулся. На вагонную площадку вышел молодой чело-

век, в ситцевой рубашке распояской, и веничком стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске, – человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые.

– Подойдите-ка сюда, товарищ, – поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная, радостная улыбка растянула его щеки. – Что это у вас там?

– Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков.

– Как?

– Видите ли, мы – харьковские. Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся.

– Я спрашиваю – это все – это ваш багаж?

– Видите ли, пока мы гостили у тети, – у нас родилось несколько детей.

Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кисетом, свернул, закурил и решительно сплюнул.

– Не пропущу, – сказал он, пуская дым из ноздрей.

Господин улыбался совсем уже по-детски.

– Я только про одно: мы детей простудим под открытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя, – тетя в Москве уплотнена.

– Я не знаю, кто вы такой, я обязан обыскать багаж.

– Кто я такой? Взгляните на меня, – господин стал совсем как ясное солнце, – хотите взглянуть, что я везу? – Он крикнул жене: – Соня, котик, принеси мой чемодан. Я не расстанусь с этими реликвиями моей молодости: портреты

Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе, но – появились дети, опустился, каюсь. Для ответственной работы не гожусь, но, как знать, в Республике каждый человек пригодится, верно я говорю? Кстати, я не собираюсь бежать: устрою детей в Харькове и через недельку вернусь...

Комиссар насупился, глядел в сторону, уши у него начали краснеть:

– А вот я вас арестую, тогда увидим, кто вы такой на самом деле.

Господин восторженно подскочил к нему:

– Именно, нельзя верить на слово, именно такого ответа я и ждал...

Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег в траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса: невдалеке прошли два солдата, и между ними – человек в парусиновом пальто, с узлом за спиной.

Обождая небольшое время, Семен Иванович пополз среди репейников и полыни к оврагу, пролегавшему у подножия меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении.

Когда солнце поднялось высоко, Семен Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним – пустынная красноватая степь с вьющейся пыльной дорогой.

Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семен

Иванович оглянулся, – спрятаться было негде. Тогда он снял гимнастерку, надорвал карманы и подмышки, вывалял ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича: «Помогите, помогите». Передняя телега остановилась. В ней сидел, радостный и беззаботный, кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков.

Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста Государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу, трогай!» – крикнул кругленький.

На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу – к большевикам – стояли две немецкие пушки.

С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Белые булочки, булочки! Глядите, дети, – булочки!» Она обняла мужа, детей. Даже Семен Иванович прослезился.

Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампанское. Харьков опьянил его. По улицам ходили – тяжело, вразвалку – колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в

конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок.

Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам: одна – черноглазая блондинка в берете и в шелковом платье, сшитом из занавеси; другая – сухонькая – в огромной шляпе с перьями. «Аристократки», – решил он и, по-столичному приподняв соломенный картузик, сказал: – Все один да один. Позвольте представиться: конт Симон де Незор. Не откажитесь вместе поужинать.

Аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном де Незором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Де Незор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» – повторяли дамы... Де Незор кричал: «Будь я проклят, сударыни, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией».

Водка шла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы. Затягивали несколько раз гимн. Уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму, непонятно как, за столом появился четвертый собеседник – тощий, подержанный господин с унылым носом и раздвоенной русой бородкой. Он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским.

«Неужели опять – Ибикус, фу, черт его возьми!» – пьяными мозгами подумал де Незор.

– А все-таки, ваше сиятельство, рановато нам умирать, еще попрыгаем, – картавя, говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам, в шляпе, – видимо, хорошо его зная, – попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, мне жарко», – сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем.

– Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?

– Не знаю... Подумаю...

– Сильно пострадали от революции?

– Особняк разграблен вдребезги... Конюшни сожжены. Моему лучшему жеребцу выкололи глаза... Я понимаю – выколи мне... Но при чем мой жеребец?..

– Лошадям выкалывать глаза! Вот вам социалисты! Вот вам проклятые либералы! Это все от Льва Толстого пошло, – говорил Платон Платонович. – Так вы любитель лошадей, граф?

– Странный вопрос.

– Ну, тогда и говорить нечего, вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай, можете приобрести цензовый участок даром, за гроши. Чего далеко идти, – я вам продам имение: «Скрегеловка», чудесные виды, стариннейший дом графов Разумовских... Милейший граф, кончится эта проклятая завирушка – на будущий год мы вас в уездные предводители проведем.

– Меня в предводители? Почему именно меня?

Так граф де Незор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. «Меня в предводители дворянства, – ну, что ж, я готов», – бормотал

он, плыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валились со стола бутылки. Был уже день, когда его, подерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось.

Граф де Незор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал.

– Поздненько, – сказал он, – не опоздать бы на поезд.

Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов, невдалеке от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах; Семен Иванович нет-нет да и поглядывал на них: «Собственные львы, неужто возможно?» В нижнем этаже все окна выбиты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам: «Третьего дня градом выхлестало». Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника (хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось). Не задерживаясь с осмотром служб, провел графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы. Платон Платонович долго смотрел, задрав голову, на пустое грушевое дерево: «Гм, сволочи», – сказал он и повел показывать старинный бельведер. Это была облупленная беседочка, на полу ее, еще издали, виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. «Гм», – повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено, двери сорваны. В окно шарахнулась ворона. Платон Платонович только крякнул с досадой: «Здесь –

зала, там бильярдная, а там летняя столовая. Уберем, вставим стекла, не наглядитесь. Зато наверху у меня – уют». Он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу. Верхние комнаты были действительно меблированы, и висели даже занавеси и картины, но все это представляло странное зрелище: как будто всю обстановку вытащили отсюда, ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как.

– Мужики у нас добродушнейшие, – говорил Платон Платонович, – прошу, граф, в кресло. Представьте: полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут: «Грабить приказано». Я их сам уговаривал: «Берите, берите, мужички». Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные.

Семен Иванович поглядывал в окно на львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней одни только эти каменные морды покойно и безглаголиво глядели в вечность. На что-то ужасно знакомое они походили... «А кто поручится; может быть, я действительно граф де Незор», – подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.

– Дорого мне будет стоять ремонт, выгоды не вижу, – сказал он сухо, – но, хорошо, я покупаю вашу усадьбу.

Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка, в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значительное волнение. «Вот, и это уже все ваше, граф». Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом.

...Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил «Скрегеловку», но купил ее на имя графа де Незора, – паспорт и документы были приобретены им в Харькове у специалиста-гравера.

Честолюбивые перспективы раскрывались все ослепительнее. Он ездил в Киев и был представлен гетману Скоропадскому, который строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове – украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе пополнили убыль в деньгах. Была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи... Ремонт в «Скрегеловке» шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов в уездные предводители? Чушь: Семен Иванович был уверен: пожелай он гетманской короны, – судьба шутя швырнет его и на эту высоту. «Да уж не сон ли все, что со мной?» – думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня, не во сне, и новые ворота сочились смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах невзоровского дома...

И вдруг, среди удач и честолюбивых мечтаний, – судьба перемешала карты, и Семен Иванович очутился снова на пути необыкновенных приключений.

Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство: из 270 десятин скрегеловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф де Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять меры к возвращению

ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно – советовали главным образом обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу де Незору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю исподволь и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, заведя графа, но, когда разговор заходил о земле, – странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно.

Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и свиней, когда над ракетами и грушами, над соломенными кровлями принялся летать козодой, грустно покрикивая: «сплю, сплю», когда степенные мужики, отужинав, вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков, – в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор:

– Вот хотя бы немцы, – есть у них чему поучиться. Весь мир их не может победить. А почему? – порядок, закон. Что мое, то мое, что твое – твое. У них насчет собственности – священо.

– Это верно, – отвечали мужики. – Немцу дано.

Голос из густой травы сказал:

– Немцы аккурат шестого июня разложили нашу деревню и всыпали по ж... Мужикам по тридцати пяти, бабам по двадцати – прутьями. Вот – почесались.

Сидевший рядом с графом старичок проговорил:

– А что ж хорошего: растащили весь барский дом, барину и сесть негде.

Чей-то, с краю бревен, незнакомый Семену Ивановичу, бойкий голос заговорил весело:

– Барин четыре службы в городе имеет, захотел – деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется – вот будет беда. – Он засмеялся. Мужики молчали. – Десять лет будем воевать, вот штука-то? А ты – немцы.

Разговор этот не понравился графу де Незору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе, – солдатский картуз – на ухо, руки в карманах, идет мимо барского дома – посмеивается в усы.

Однажды, рано утром, граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку: толпа мужиков с вилами, топорами, ружьями обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец, из живших в усадьбе, лежал около кухни в луже крови. Семен Иванович, захватив одежду, бумажник, кинулся в сад и залез в глушь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул: из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе, – старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию.

Пешком, проселочными дорогами пришлось доби-

раться до станции. Ночью видны были зарева за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги, – свист, гиканье, крики... После этого видения он лежал некоторое время в полуобморочном состоянии.

В другом месте он увидел толпу немецких солдат, – они мрачно шагали с винтовками за плечами, у многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было сойти: что случилось? В одну ночь взбунтовался весь край, запылали зарева.

Добравшись, наконец, до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину: император Вильгельм был свергнут с престола, немцы уходили из Украины, на Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменил маршрут и бросился на юг.

Черт знает, с какими затруднениями пришлось ему ехать – преимущественно на крышах вагонов. У теплушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непрерывающаяся стрельба. Начальники станций прятались по ямам и погребам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках:

– Которые жида – выходите.

Произвели личный осмотр. Отобрали с десятков животрепетных душ, повели их в поле, к стогу сена. Когда поезд

тронулся – раздались выстрелы, дикие крики.

Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало, – одни говорили, что разбежалось, другие – что вырезано. Но все же на базар у заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу. То увидит ощеренную, околевшую собаку и подолгу глядит, куда не плюнет. То остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымы, в сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная скука.

Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запираť ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда в этой пустыне могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон, и увидел самого хозяина: положив руки на поясницу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду.

– Опять, пожалуйста, гости дорогие, – сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась пыль. – Непременно это он. Никому другому не быть. (Семен Иванович спросил: «Да кто же?») – Как кто? Атаман Ангел. Зайди, дружок, в избу, кабы чего не вышло.

В окошко Семен Иванович увидал, как из пыльного

облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги – тачанки; троек более пятидесяти. На передней (рыжие, лысые, донские жеребцы), на развешиваемом с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман Ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов, атаманца – держали винтовки наизготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка. За ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота, гиканья, звона бенцов.

– Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаман-разбойнички, – сказал вполголоса самогонщик, – деревнями к ним мужики уходят, отбою нет, да, слышь, не всех берут в разбойники-то. Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков – и с большевиками бьются.

В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел отворять. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли, – только блестели глаза у них и зубы.

– Шесть ведер самогону, посуда наша, – сказал один, другой кинул на стол деньги. – А ты что за человек? – спросил он Невзорова.

– Я бухгалтер.

– Это как так – бухгалтер?

Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бе-

жал от большевиков, а к деникинцам идти не хочет – против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке.

– Эге, – сказал первый, – давно атаман горюет, что нет у нас счетовода-казначей. Иди за мной.

Семена Ивановича повели на улицу, куда самогонщик выносил посудыны с самогоном, поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семену Ивановичу, впился в него запавшими, тусклыми глазами:

– Ты что умеешь? Считать умеешь? (Семен Иванович только слабо крикнул в ответ, закивал.) Ладно. Заводи счетную книгу, казна великая. Проворуешься али тягу дашь, – в два счета голову шашкой прочь – понял, чертов сын?

Понять это было нетрудно: Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку, рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золотом, и опять – атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек – залились в степь.

Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся его сила – и пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью, – даже на тачанках, на каждой, сзади дегтем написано было: «Хрен догонишь». Часто, заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи, на месте оставался лишь Семен Иванович с казной да охрана.

Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры. У телег зажигали костры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу. Цедили самогон из бочонков.

Дико, непривычно было Семену Ивановичу глядеть, как атаманцы, рослые, широкие, прочерневшие от непогоды и спирта, – в тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому под вой флейт, – шли на фронт, на убой, – те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами. Режутся в карты, в девятку, кидают толстыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную, с подголосками... Певали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тмутараканским князем. А вон – бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы: «Бей».

Но, как из-под земли, вырастал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин – и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию.

– Ты по городам болтался, – чепуху, наверно, про нас пишут? – спрашивал его атаман. (Семен Иванович сейчас же соглашался, что читал про него и именно чепуху.) – То-то. Где им понять? Истребить эти самые города, вот что надо. Дай срок – я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать, есть такая книжка: «Анархизм». Читал?

– Читал, Ангел Иванович, как-то забылось.

– Дурак ты, Семен... Кабы не твоя бухгалтерия... Ну, не дрожи, не трону... А вот возьму Елизаветград, – ты мне эту книжку достань.

Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрест опоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» – крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал Ангелу.

– За-а-а-пря-гать! – спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеги покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей – без шума. Подвязали колокольцы. Круг развернулся. И тройки с места рванулись вскачь.

Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди, с боков, сзади – летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах. У Семена Ивановича стучали зубы.

Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. Та-та-та-та-та, – казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя, с телег. А тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел, – из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вождей, сдуло с телеги. Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадники, – махая шашками, они налетели со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась, – и Семен Иванович,

закрыв лицо, полетел в мерзлый бурьян. Ударился и потерял сознание.

Семен Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звезды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман. Кое-где из него торчала лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя, – цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти – бессознательно – Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевками, пересчитал: семь штук, – рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы.

Когда солнце, поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью полотно железной дороги.

Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями. Но Семен Иванович до того уж наловчился, вид его был до того ободранный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Что за чудо – Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту, – он тут же попросит у вас займы или предложит зайти в ресторан. Вы встрети-

тес с давно убитым знакомцем, — он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь — и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя, — важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу, — он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном». — «Да что вы говорите?» — «Да уж будьте покойны — сведения самые достоверные».

И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, и они на последние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина и, окруженные родственниками, едят и пьют, и чокаются за Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу. И уж кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулочок в прачечное заведение и торопит: «Выстирайте мне белье поскорее».

На Дерибасовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами вырастают в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове, — снова, хотя бы

только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства.

Про дам на Дерибасовской и говорить нечего: на все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты. Петербурженки – худые, рослые, англазированные, с них никакими революциями не собьешь высокомерия. Одесситки – русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стриженные артистки различных кабаре! Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировалась и пешком и на крышах вагонов, и уж горькие морщинки легли в углах губ, и в глазах – пустынька.

Встретите также на Дерибасовской рослых английских моряков с розовыми щеками, – идут, держась за руки, будто в фойе театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом проталкиваются сквозь толпу французские матросы, в синих фуфайках, в шапочках с помпонами, – ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской, а знаменитый писатель остановился даже, окаменел, почернел: вот они римляне, победители, – хохочут, толкаются, поплевывают... А мы-то, мы?..

Если вас одолело сомнение: да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская? Действительно ли это Измайловский марш вырывается из раскрытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последнем клочке берега? Если душа ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорей на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье... Какой великолепный и успокаивающий вид! Бронзовый герцог, в римской тоге, приветливым и важным

жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали – подозрительные пески Пересыпи, направо – длинная стрела мола. А за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим», как бы говорит герцог Ришелье, которому в свое время, лет сто двадцать пять тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа, от призрака гильотины на площади Революции.

Тридцать тысяч зуавов, в красных штанах и фесках, и греков – в защитных юбочках и колпаках с кистями, – выгружено в одесском порту. В ста верстах от города, на фронте, против босых, голодных, вшивых красных частей, – утверждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы. Нет, нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены. Возвращайтесь смело на Дерибасовскую. А если усилится ветер с моря – сверните в кафе Фанкони.

Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров, уселся за столиком у Фанкони и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их впопыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам.

В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпуская деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у дельцов было одно и то же выражение – смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явлению, – будь то французский броненосец или накладная на вагон волоцких орехов, – и, вместе, живая готовность купить и быстро продать таковое явление, получив разницу.

Над столиками, среди котелков и котиковых шапок, взлетали руки с растопыренными пальцами, метались потные лица, надрывающие голоса перекрикивали шум:

...»Сто бидонов масла...» – «Не крутите мне голову с аспирином». – «Продам доллары, куплю доллары». – «Послушайте, что вы мне лезете в карман?» – «Интересуетесь персидской мерлушкой или вы не интересуетесь?» – «Продам колокольчики». – «Слушайте, колоссальная новость: большевики взорвали Кремль».

Семен Иванович только усмехнулся презрительно: за несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет, ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Дерибасовской, а с четырех у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами: и весь магазин в кармане, и торговых расходов – только чашка кофе с пирожным.

По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков «на всякий пожарный случай». Через несколько дней его начали осаждать предложениями – продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались, – вот человек, который прячет товар и подмигивает. Франк взлетел на сто процентов. Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десятков дельцов пришли в ничтожество за неимением работы.

Одетый прилично, с кошельком, набитым разбойни-

чьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного, Семилапида Навзараки, – Семен Иванович безусловно верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами, не швырял без счета денег на удовольствия.

Россия – место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки, недаром же, в самом деле, на рейде дымят на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок. Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высококачественным товаром, и тогда, ни на что больше не льстясь, бежать навсегда в Европу. Там с хорошими деньгами, – он это знал по кинематографу, – жизнь – сплошное наслаждение.

Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович привстал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел, через столик от себя, худощавое лицо в очках, – оно заставило его неприятно съежиться.

Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему; то на улице, оглянешься, – оно за спиной; то при выходе из магазина оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе; то в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма.

Несомненно – лицо следило за ним. Он вспомнил: оно появилось именно после покупки французской валюты, когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому

лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми голубыми стеклами, с наголо обритым, шишковатым черепом, – что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича?

Около Невзорова появился продавец мерлушек. Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегают до угла, жестикулирует сам с собой и снова бежит в кофейню:

– Мерлушкой интересуетесь?

– Почему? – небрежно спросил Невзоров.

– Сто карбованцев шкурка.

– Товар или только накладная?

– Какая вам разница?

– Тогда идите к черту, – сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках; усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову: видимо, человек этот подъехал на стуле.

– Скажите, – спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью, – скажите, а *сапожным кремом* вы не интересуетесь?

Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Иванович проглотил слюну, – почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.

И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно, – можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные

и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.

«Сколько раз, бывало, вот так – привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этакий Ибикус, и – пошло все кувырком». Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. «Кто бы это мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и – в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров...»

Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.

Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка – сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...

У Невзоровахватило дух. «Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но, чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств».

Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.

Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торопился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавших на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.

Приказ был таков.

«Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и *даже тараканов...* Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин».

«Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно», – подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна Швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя ушел под лестницу.

Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь, ты, рысак», – подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.

Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и

то, как обругал его рысак. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.

Словом, сшибив таракана, Семен Иванович потел положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены.

Он подумал: кража! – и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом – желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.

Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... «Обыск несомненно... Но в чем дело?» Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.

На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками: «Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг», – кричал он отчаянно. «Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков». У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась над набухшими почками акации. Дальше – кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: «Пшел, здесь не разрешено торговать». Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами.

В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окне литературной кофейни «Восточные сладости» виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся, – ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов – Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.

– Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой, – закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу, – садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, «Осваг», мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уж помещение нашел для клуба в

мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются – какую мы развернем игру. Господа, – он схватил направо и налево от себя журналистов, – да посмотрите вы на графа – конфетка, а не человек. Что пережили вместе – волосы дыбом. Первое знакомство – под октябрьскими пушками, – дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?

– Нет, – сказал Невзоров суховато, – с клубом я связываться не хочу, – уволь.

– Вот тебе – лук, чеснок. Ты что же – разбогател?

– Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.

– Не веришь? Так, так, так, – сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.

– Так, так, так, – повторил Ртищев, – а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? – Он размахнул руками, журналисты подались в стороны. – Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек, – французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь... Какое же ты имеешь право, сукин сын, – тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами, – сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты – большевик!..

Журналисты, все восемь человек «Освага», впились

глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.

– Ничего я не большевик, – ответил Невзоров, – если уж на то пошло, я – анархист, в смысле идейном... Я – за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе, – пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...

Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках.

Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:

– Все это шутки, *граф*. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо *серьезном*?

Через несколько минут, на углу Дерибасовской, вчерашний продавец каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт, посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных пакгаузов разыскивали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть пакгауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскивали три, обитые цинком, ящика со шкурками.

– Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар? – спросил Невзоров. – По всей видимости, этот каракуль – казенный.

У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал:

– Что значит – товар казенный? На нем написано, что он – казенный? Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец, – чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев, – тогда уже сам бог не скажет, что каракуль казенный.

– Сто карбованцев шкурка?

– Ой, что вы говорите! Я сам плачу сто десять карбованцев, – чтобы мне так жить!

Наконец сторговались за полтора ста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и – бежать.

Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что, не в пример прошлым временам, действовать нужно смело, честно и отчетливо: идти прямо в канцелярию управляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии, генералу фон-дер-Брудеру, просто и молча положить ему на стол, под промокашку, двадцать пять английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фон-дер-Брудер на прощанье руки не подаст, тогда завтра опять нужно положить двадцать пять фунтов под промокашку.

Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предавался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с сапожным кремом, – но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой: чушь, мнительность, воображение... Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и

легкомысленный и, как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности.

И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы.

Тою же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали вполголоса:

– Ты что же – прямо сейчас в Испанию?

– Наш центр в Мадриде. Там – проверка мандата.

– Не понимаю тебя, Саша... Все это – ужасно глупо, романтика какая-то.

– Э, просто тебе завидно. Через две недели, подумай: Средиземное море, Архипелаг, роскошные страны, наслаждение.

Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонек осветил бритое бабье лицо с трубкой и другое лицо – смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили. Пошли дальше. Человек с трубкой сказал:

– Нет, мне не завидно. Здесь – грязь, голод, кровь. Борьба, страшная работа, может быть, завтра – виселица. А вот – поди же ты – не завидно. Есть вещи и дороже и выше наслаждения.

– Не для наслаждения еду, – сам знаешь.

– Знаю, и все-таки это – голая романтика... Хотя ты и собираешься...

– Тише...

Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то, – тяжело протопали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой сказал:

– Значит, ты совсем покончил с нами? Жалко.

– Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот – я еще понимаю: драка у Никитских ворот, – тра-та-та. А потом – пайки, коллективы, вши, война. Будни. Не хочу, не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас – личность, красота борьбы, взрыв.

– Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм – как красный перец во щах. Эх, Саша, Саша!..

– Нас много, брат, – больше, чем думают... Да, кстати... Хотя мы и враги теперь, окажи последнюю услугу: за мной слежка, до моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с *сапожным кремом*...

Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек.

Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

– Что за люди?

– Покажь документы.

Человек с трубкой шепнул: «Спокойно, это – варта²». Но спутник его отскочил, рванул из кармана револьвер. Рослые бросились к нему, сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели.

Во время этой возни человек с трубкой скрылся.

Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города.

Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был

² Варта - гетманская милиция

схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах.

Семен Иванович вылупил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потасили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам.

Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека, — он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками.

Семена Ивановича втолкнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к клеенчатому дивану и сел. Напротив у стены, у стола, сидел человек в изжеванной шинели. Над ним, под облупленным сводом, горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое, широкоскулое лицо, с острым носиком торчком, и закрученные усики.

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять, — спросил у него Невзоров.

— А вот в зубы дам — поймешь.

— Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали.

Человек в изжеванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься.

Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики.

Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях

впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван.

– Сволочи, – сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса, – где-то он видел этого человека, удивительно знакомое лицо... Рот, как у девушки... Не в кафе ли у «Бома», на Тверской? Ну, конечно – вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу...

– Простите, вы не граф Шамборен, художник?

Юноша, точно рысь, повернул голову:

– А! Невзоров!

– Виноват, – поспешно заявил Семен Иванович, – настоящая моя фамилия Семилапид Навзараки. Невзоров – это псевдоним. Представьте: схватили на улице, сижу здесь, ничего не понимаю.

– Поймешь, – сказал человек у стола, – у нас втолкуют.

На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Вошел ротмистр, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем пробор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек:

– Кто здесь – именующий себя Семилапидом Навзараки?

Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые.

Матерый полковник, – видимо, из бывших жандармских, – задумчиво курил, свет хрустального абажурчика

поблескивал на крепких ногтях его. Невзорова втокнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился. Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полужакрыв глаза. Только неясно под столом зазвенела шпора.

Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал:

– В первый раз едете в Испанию? Никогда не изволили там бывать, граф?

У Семена Ивановича задрожала челюсть, ужас пошел по коже. Он оглянулся, – с кем это разговаривает полковник? Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное седеющими подусниками, и, устремив чистый, холодный взгляд поверх головы Семена Ивановича, сказал раздельно:

– Имя, отчество, фамилия?

– Навзараки, Семилапид, – с трудом ответил Невзоров.

– Зачем, ну, зачем, граф, так унижать свое достоинство? Мы же знаем, что вы не Семилапид Навзараки. – И вдруг глаза полковника – яростные, выпрыгивающие – воткнулись в глаза Невзорову, просверлили мозг до затылка... Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал:

«Навзараки. Года? 37. Место рождения? Херсон. Занятие? Торговля. Превосходно».

Он осторожно поднес к губам папиросу:

– Какого именно рода товар изволите продавать?

– Каракуль.

– Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к

столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом?

– Какой там сапожный крем! – завизжал Невзоров. – Ничего я не знаю про сапожный крем...

Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым, длинным почерком. Семен Иванович, почти бессознательно, пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо:

– Мерси. – Положил перо и закурил новую пушку. – Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов.

Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал: «Будьте совершенно покойны». Затем осторожно развернул паспорт:

– Гм, прекраснейшая работа, – это фальшивомонетчики с Пересыпи. Дорого заплатили? Ну-с, – это все ваши документы?

– За последнее время неоднократно бывал ограблен, жестоко пострадал, ваше превосходительство.

– Странно. Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?

– О чем вы?... На какую работу?..

– Я спрашиваю, – тут брови полковника слегка сдвинулись, – где мандат? Соккрытие лишь ухудшит ваше положение.

Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал:

– Ваше превосходительство, богом клянусь – вы принимаете меня за кого-то другого.

– Э, не будем играть в прятки. Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте – по-английски, по чести, начистоту.

– Я же не граф, я бухгалтер... Ваше превосходительство, я – Невзоров...

И тут Семен Иванович, захлебываясь словами, принялся описывать свои приключения, начиная со встречи с цыганкой на Петербургской стороне. Полковник по мере его рассказа все сильнее хмурился, полированные ногти его забарабанили гимн. Шея наливалась кровью. Внезапно ужасным голосом он проговорил:

– Где четыре жестянки с сапожным кремом?

Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик, в ледяные глаза. Принялся креститься: «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом, ничего не знаю...»

Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ротмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал:

– Штучка оказалась хитрая.

– Прикажете отвести его в *операционную*, господин полковник?

Изо всего непонятного фразы эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам, под землю и втолкнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и таращил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью.

Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное, овальное пятно. Скосившись направо, он разли-

чил второе пятно. Так и есть – темные глазницы и черты страшного оскала. «Вот он, проклятый, символ смерти, говорящий череп Ибикус...» Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило, и сердце перестало биться.

Он чувствовал, как его осторожно трогали, ощупывали лицо. Когда он снова стал различать звуки, – Ибикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали:

– И сегодня он ничего не добьется.

– Ты терпи, слышишь...

– А если он по делу Шамборена опять станет пытаться, – говорить?

Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложённое кирпичом окошко под потолком и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры; они повернули к нему измученные лица, – нет, нет: это были люди, не Ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

– Меня допрашивали насчет сапожного крема...

– Анархист? – спросил левый из сидевших у стены.

– Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто – мелкий спекулянт.

– Цыпленок пареный, – сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

– Растолкуйте мне, хоть намек дайте, – что это за крем такой, за что они меня мучают?..

– Пытать будут, – сказал другой, бородатый.

– Ой! Не виноват! Нельзя меня пытаться. За что пытаться? Я ничего не знаю.

Семен Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый, уже мягким голосом, указал ему:

– Французская контрразведка получила сведения: через Одессу должен проехать в Европу крупный анархист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания, или, черт их знает, что они там вздумали взорвать. Огромные суммы у него, брильянты, спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они и сбесились, ищут его по всему городу. Поняли?

– Имя? имя его? как его зовут? – уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров.

Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок. Соображение его бешено работало. Он сопоставлял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. Ибикус-хранитель и на этот раз, видимо, спасет его.

Мутный свет ясенел между кирпичами в окошке. Бородатый и безбородый в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот за дощатой перегородкой, в том же подвале, слышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая, в перегородке, дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках.

С минуту они приглядывались к темноте. Затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался. Бородатый крикнул ему:

– Молчи!

Семену Ивановичу достаточно было только повернуть

голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидал.

На кухонном столе сидел полковник, помахивая нага-ном. Левая рука его, в перчатке, упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на под-оконник заложеного кирпичами окна, от теней, бросае-мых подусниками, – львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку.

Безбородого потащили к нему, поставили. Это был костлявый, большой парень в рваном пальто. Полковник что-то тихо сказал ему, – согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По взъерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы.

Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила го-лову к столу.

– Скажешь, скажешь, – повторил полковник и рукоят-кой нагана ударил безбородого в поясницу, твердо, с от-тяжкой стал бить его в почки. Парень замычал и осел. Полковник ногой отпихнул его:

– Следующего!

Из-за перегородки вывели бородатого. Он шел, насту-пая на полы солдатской шинели, – голова закинута, рыжая борода – задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся, – что сейчас будет?

– Ну-с, господин коммунист, – полковник поманил его пальцем, – поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать – терапевтически или хирургически?

На эти слова ротмистр гулко хохотнул: «Хо-хохо!»

Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ, – у того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить...

– Молчать! – закричал полковник, вздернул подусники. Но бородатый только втянул голову и глухо, как из бочки, матерно заругался. К нему сзади подошел ротмистр. Бородатый вдруг замолчал. Ахнул. Упал на бок. Ротмистр, нагнувшись, что-то делал над ним.

– Следующего! – крикнул полковник.

Семен Иванович не помнил, как очутился перед его побелевшими глазами, – взглянул в зрачки.

– Я все вспомнил, – пролепетал он, – не губите невинного... Я могу указать, кого вы ищете... Знаю в лицо: брюнет, смуглый, двадцати пяти – двадцати семи лет... Это граф Шамборен... Нас арестовали одновременно... Сидели на клеенчатом диване... Я же блондин, ваше превосходительство... У вас должны быть приметы...

Внезапно зрачки у полковника дрогнули, ожили и расплылись во весь глаз... Рука его полезла в карман френча, вытащила вчетверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола:

– Кто там еще в комендантской? Привести! Что думает контрразведка? Хватает блондинов, когда сказано: брать брюнетов...

Семен Иванович был переведен из операционной наверх, в одиночную камеру, и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго. Из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратитель-

ными сновидениями... Лезли какие-то рожи, хари, кривлялись, мучили... И он бегал от них на ваточных ногах по дощатым коридорам и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке...

Все же удалось закричать. Он проснулся. Стер холодный пот с лица. Сел на койке. Сквозь пыльное, затянутое паутиной окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках, – щипал бороду: то самое лицо, преследователь.

– С одной стороны, вы рискуете быть повешенным, – сказал он вежливо, – с другой стороны, вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой.

– Согласен, – прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку. – Что я должен сделать для этого?

– Превосходно. Моя фамилия – Ливеровский. В нашей работе бывают ошибки, надеюсь, вы на меня не в претензии. Кстати, – каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу.

– Вы хотите сказать, что Шамборен...

– Вы угадали, – удрал из комендантской. Мы нашли на диване дурака сыщика, полузадушенного, во рту – тряпка. Шамборен скрылся. К счастью, он потерял вот это, – Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету, – теперь мы уверены, что это был Шамборен. Вы единственный человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте, едем в Лондонскую гостиницу обедать.

Так судьба снова вознесла Семена Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт, как приз за поимку Шамборена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Ливеровским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семена Ивановича, Ливеровский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил:

– Бросьте мешчанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный деятель или – артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России, – здесь семнадцатый век. Политический розыск, контрразведка – мелочи. Проследить бандита? Ну, вон возьмите, идут двое знаменитостей: Алешка Пан и Федька Арап. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, барыне проломал голову? – они, Алешка и Федька... (Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе.) Этих выслеживать, ловить – только портить себе чутье. На Пересыпи у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины к атаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта – высшая школа. Наша организация разработана гениально, мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы – государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но

сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеются досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. Пятьдесят процентов из них – дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно необыкновенно. Знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре «О взломе стальных касс» утверждает: «Человек рождается преступником. Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не успевают подвергнуться ему, проходят мимо Школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину: в центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей-преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции. Но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бессильна, и тогда – штурм на цитадель Права...» Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович. Нужно чувствовать эпоху: ударно-современный человек – это сыщик. Вы должны быть *посвящены*. Я это вам устрою. Мы, так сказать, все *кровные* братья. А кроме того, предупреждаю: полковник – человек жуткий, – если попытаетесь от нас теперь отвязаться – не поставлю на вас и десяти карбованцев. (Ливеровский вытянул тонкую шею, всматриваясь в голубоватую мглу над тихой, как масло, водой. Между зелеными и красным огоньками поплавок, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользнула лодка.) Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете. Но, подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?..

Семен Иванович различил на корме лодки бритого, в

широкополой шляпе человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову. «Он!» – вскрикнул Невзоров. Лодка прошла за фонарем поплавка и растаяла во мгле, напитанной желтоватыми огоньками набережной.

Ливеровский и Семен Иванович изо всех сил побежали по молу к берегу. Но поиски и расспросы были напрасны в этот вечер.

«А что ж, – раздумывал Семен Иванович, – может быть, Ливеровский и прав и я сильно поотстал от Европы. За что ни схватись в этой проклятой России, – в руке кусок гнилья: старый мир – труп и призрак. Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж – гм! Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда – гм! А люди – мошенники, он прав, – бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое *испытание* болтает Ливеровский? А между прочим, плевать, – не удивишь».

Так рассуждал сам с собою Семен Иванович» перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридионал», поджидая Ливеровского.

Здесь пировал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах, клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти.

В сизых слоях дыма вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире, – в четком звоне шпор и шелесте шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полуобморочный профиль красавицы, то брильянтиновый пробор и шикарные усики

офицера. Кончили, сели. «Браво, бис!» – закричали ото всех столов. «За Францию!» – и зазвенели разбитые бокалы.

Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с эспаньолкой, выхватил кинжал: «Лезгинку в честь Франции», – и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алла верды!» – закричали женские голоса.

Красно-коричневый, в порочных морщинах, румын-дирижер заставил петь «Алла верды» весь ресторан и сам ревел коровьим, осипшим голосом, лоснясь от пота.

Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку надвое: он заметил, как одна шатеночка, растрепанная, очень милая, в коричневом платье, смущенно улыбаясь оттого, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу: посмотрит в лицо внимательно и спрашивает: «О чем вы думаете?» И, не получив ответа, слабо махает ручкой.

Так она подошла к Невзорову и детскими, немного косящими глазами долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь:

– О чем вы думаете, скажите?

Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила:

– Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все? Гляжу и не понимаю. А вам разве не страшно? (Она тихонько засмеялась.) Голова кружится... какие бессовестные – напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете, – а я здесь одна. Папа пропал без вести, мама осталась в

Петербурге, не хотела расставаться с квартирой. А я уехала с нашей студией. (За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков.) Мы эвакуировались, эвакуировались – так и растеряли друг друга.

– А скажите, – спросил Ливеровский, – вы не знаете, случаем, где сейчас такой актер – Шамборен?

– Он здесь, – лицо молодой женщины стало нежным от улыбки, – но он же не актер – художник. Ну, он такой чудный.

– Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо... Так вот как бы...

Улыбка сошла, и две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова, приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая: «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой рукой, осыпанной, как просом, родимыми пятнышками.

– И опять все не то, – сказала она, – вы все убийцы. Скучно с вами.

Ливеровский весело засмеялся:

– Вот тебе на. Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!

– Нет, я не чудачка, вы не смеете меня оскорблять, – она поднялась, – все только и думают про убийство. У всех глаза, как у мертвых... До чего тяжело, неприятно... так грустно... Прощайте...

И она пошла, пошатываясь, между танцующими – к вешалке. Ливеровский подхватил ее под локоть и опять заговорил о письме, о Шамборене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтецо.

Ее пропустили вперед, подождали, когда она завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденький лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась: должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Ливеровский и Невзоров стали за углом, высматривая.

Она вышла на середину переуллка, напротив старенького домика, и долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар и села на тумбу.

Когда Семен Иванович, один, осторожно прошел мимо нее, — она горько плакала. Он пожал плечами, поскреб бородку:

— Позвольте, я провожу вас домой, сударыня.

— Убирайтесь!

Он вернулся за угол к Ливеровскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулке, сморкалась.

— Она к Шамборену в окошки смотрела, они в связи, — сказал Ливеровский, — я это понял в ресторане. Но — птичка улетела, она адреса его не знает. Идите и проследите ее до дому. А я поставлю моих агентов наблюдать за этим переулком.

Предположения Ливеровского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад действительно из верхней квартиры выбыл молодой человек, курчавый, смуглый, — ушел с чемоданом и паспорта, который отдавал прописывать (на имя какого-то Левина), с собой не взял.

За молодой женщиной установили тщательный надзор. (Личность ее была выяснена: артистка кабаре, Надя Медведева, 21 год.) Но она, видимо, так же как и они, искала Шамборена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его: оказался – московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамборен скрывается где-нибудь в «малинах» – портовых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзал и трамвайные пути на Малом и Большом Фонтанах. Была опасность, как бы Шамборен не пошел сухим путем через Румынию. И неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в 4 часа дня на Дерибасовской.

Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздвигая ноздри, слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то.

Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти. Она вцепилась ногтями ему в плечо, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамборен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского и, точно его и не было на углу, – исчез. Только кое-где, по направлению к набережной, заволновалась толпа.

Погоня из милицейских и сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по «малинам». В час ночи была допрошена Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерибасовской. Она отвечала Ливеровскому дерзко:

– Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамборена я люблю и всем это скажу. Зачем он сюда приехал – не знаю, и опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга-приятеля.

– У кого именно?

– Ах, ну у этого – журналиста.

– Бритый, ходит с трубкой?

– Ну да, терпеть его не могу.

– Не можете ли объяснить, – спросил он еще, – почему Шамборен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?

Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане. Опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились.

В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков напал за Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих.

Когда выломали дверь, Топорков пытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапожным кремом.

Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку: не приняв мер предосторожности, прямо на улице, под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики до того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков.

Семен Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимания на то, что из соседних ворот, осторожно и бесшумно, появились трое в каскетах. Один из них перебежал улицу. Это был Шамборен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из револьверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переулка. Туда же побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия, – так было громко и страшно.

В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топорков и побежал по улице в противоположном выстрелам направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахло пороховой вонью. Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется прихрамывая.

Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штиблеты и блаженно заснул, успев только подумать: «А хорошо, если бы и Ливеровского тоже ухлопали».

Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру: всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодушия.

Эх, благодушие! Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнатке, на пятом этаже, на Мещанской улице, сиживал у окна, попивая кофеек, мечтая об аристократическом

адюльтере. Тихая была жизнь, – на соседнем дворе, бывало, заиграет шарманка, опять же о невозвратном: развздыхаешься у окошка. Даже Кнопка, любовница, о которой и память выело, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия!

Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. «Уеду, – подумал он, – уйду на край света, открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку, поглядывать, как мимо проходят тихие люди».

– Дома! Ну, так и есть – кофе пьет! – над самым ухом у Семена Ивановича крикнул, точно выстрелил, Ливеровский. Закрыв окно и сел на кровать. Голова забинтована, нос морщится от хорошего настроения. – Четыре сбоку, ваших нет, можете поздравить: полковник сейчас третью кожу дерет с Шамборена.

– Поймали?

– Живучий, как сколопендра. Ранили его, по башке оглушили, едва взяли. Сообщники, к сожалению, – один убит, другой скрылся. А наших, вы знаете, четверо – в ящик, четверо сильно поцарапаны. А дело было – красота. Кстати, читали сегодняшние газеты? Сверхъестественно... (Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны «Одесские новости».) «Оперативная сводка. Все атаки большевиков на... (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери». Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. «Разъяснение штаба командующего. События на фронте не

должны волновать население, так как чем более *уплотняется* гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудиям можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на почтительном расстоянии от подступов к городу...» Теперь поняли цензурный пропуск? Это – длина боя судовых орудий – восемнадцать верст. Большевики на расстоянии выстрела от города...

У Семена Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан.

– «Наступают решительные дни борьбы, – продолжал читать Ливеровский. – Французское верховное командование не только *во что бы то ни стало* решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва Учредительного собрания. Союзная зона сужена. Силы собраны в мощный кулак: около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов, направленные на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победоносной лавиной докатиться до Москвы».

– Так, – Ливеровский швырнул газету под диван, – решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбореном провокация, – я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся разведка была брошена – ловить Шамборена. А большевики в это время работали. И не кто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва Советов. Греки кричат из окопов: «Рюсский, рюсский – давай мириться». А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами скрипят.

Этот болван полковник расстрелял на кладбище десять местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскивали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободку смотреть на расстрелянных. А вам известно, что вчера кабинет Клемансо пал...

— А нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться? — спросил Невзоров.

— Успеем. Я вас не брошу, вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше *посвящение*.

Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу, — там гуляли нарядные дамы как ни в чем не бывало и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одесситок.

Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов. Франк стоял всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать маловерному или паникеру и увидеть эти дымки над мглистым морем. По набережной погромыхивали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк. Шел, тяжело навьюченный амуницией, батальон зуавов: ну, разве же эти приемыши Рима не ударят тараном по григорьевским бандам. Усатые, широкогрудые, запыленные, не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов?..

Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда Лондонской гостиницы вышел рослый, в черном мундире, мрачный человек. Невидящие глаза его были устремлены на рейд. Осунувшееся, с жест-

кой бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был начальник обороны генерал Шварц. Он упал на сафьяновые подушки автомобиля и приказал сквозь зубы: «Французский штаб». Семену Ивановичу стало жутко, хотя он и не знал в ту минуту, что генерал Шварц ехал к генералу д'Ансельму для последнего отчаянного и безнадёжного разговора.

Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал», – дверь была заперта, около ресторанной стойки, при свете свечи, воткнутой в бутылку, ресторатор и лакеи связывали какие-то узлы.

Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но с ужасом увидел: поверх приказа наклеен небольшой листочек: «Всем, всем, всем... Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев должно пасть...»

Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался... Так и есть: прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не отворяет. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь, в мозг.

Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты:
– Я не пойду!

За дверью насмешливый голос Ливеровского проговорил медленно, каждую букву:

– Отворите же, нас ждут.

Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дожд-

ливый туман затянул весь порт, остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху, в городе, было еще сонно. Вдалеке, в стороне Фонтанов, похлопывали выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу.

На мокрых скамейках в лодке сидели – Семен Иванович, рядом с ним востроносый, с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив – апоплексического вида огромный француз в темно-синем военном плаще.

Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости висячие жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабанил ногтями по винтовочному прикладу, перебежал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович мелко дрожал в своем пальтишке, – у него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти было невозможно: пошевелишься, и сейчас же глаза подростка начинают бегать по лицу Семена Ивановича.

Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски: «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке... О, дермо и дермо!..» Пробежала коричневая портовая собачонка, остановилась и внимательно и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее: «Я тебя, сволочь!» Собачонка отскочила, ошетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось пятеро: ротмистр, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе (оба они держали наготове револьверы), между ними – Шамборен в разодранной клочьями блузе (правой рукой он придержи-

вал левую), рядом с ним – рябой, рослый матрос в одном тельнике; руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Ливеровский. Он протянул апоплексическому французу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ.

– Эти двое, карашо, – сказал он.

Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел за руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями.

Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу:

– Этот француз – палач. Союзнички нам не доверили Шамборена, сами хотят ликвидировать. А этот матрос – знаменитый Филька – григорьевец, страшной силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу. Чтобы – шито-крыто.

Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Ливеровский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамборена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога-тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу, – видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал, точно на веселой морской прогулке.

Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голосом:

– Торопится, спешит. Машина, а торопится. А сколько в ней будет сил?

Рулевой сдвинул брови, поседевшие от дождевой пыли:

– Двенадцать.

Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал, мельком взглянул на француза.

– А студено, – сказал он, – тельник промочило, недолго и застудиться. – Он открыл великолепные, белые зубы, но усмешка так и осталась на губах, – застыла.

В тумане возник темный предмет. Шамборен вытянулся, вглядываясь. Это был конический буюк с разбитым фонарем, – лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены, обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыби, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо о мол, скрытый за дождевой завесой.

Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров вцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт – двух крестов. Шамборен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец.

Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу.

– Будете работать наверху, мосье? – спросил он по-французски.

– Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дермо и дермо, – ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинул ноги, щелкнул затвором. – Матрос идет первый, – сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров

увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:

– Матрос, наверх!

Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.

– Часы серебряные отошлите жене, – сказал он Ливеровскому, – не забудьте, пожалуйста. – И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу.

– Живее, сволочь! – крикнул ему ротмистр. Уже наверху Филька вдруг дико закричал:

– Не я, не я, это не я, ошибка! – и начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос француза:

– Граф Шамборен!

Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена, – «иди, иди!...». Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.

– Стыдно, граф, – баском сверху прикрикнул ротмистр, – давайте кончать. – Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой, – француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.

Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный цветной

плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий Победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.

Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы француз, потом подрисовал такие же усы англичанину.

– Ах, боже мой, боже мой! – громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.

В это время издалека стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.

Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробегавшим мальчишкой газету и прочел:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.

Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.

3 апр. 1919 г. Ген. д'Ансельм

– Эвакуация! Эвакуация!.. – донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Выдумали же люди такое отвратительное слово – «эвакуация». Скажи – отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства, – никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит – «спасайся, кто может». Но если вы – я говорю для примера – остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! – вас же и побьют в худшем случае.

А вот – не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, *ибикусово* слово: «эвакуация», – ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

– Что такое? Бежать? Опять?

– Отстаньте. Ничего не знаю.

– Куда же теперь. В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эва-ку-ация – в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира...

...Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка – вот только что держали его за руку – внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу...

...Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста – на страх –

начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся с узелочком у паровой трубы и рад, что хоть куда-то везут...

...Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями, – ой, все полетело к чертям! – и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки, – вдруг хватил дельцову мадам ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки...

Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуации. Человек вывертывается наизнанку как карман в штанах, – едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тряпками карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят – русские тяжелы на подъем. Не правда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь – сидит на крыше вагона, на носу – треснувшее пенсне, за сутулыми плечами – мешок, едет заведомо в Северную Африку, и – ничего себе, только борода развеивается по ветру.

Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из

центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной привычке собрались было на углу Дерибасовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В городской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.

Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших, – узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуации, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место и сидит там, покуда не надоест... Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизируются и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства...

От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде, – увооооозим за гранииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов, – груженные людьми и чемоданами, – уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.

– Граждане, – кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа, – дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, балуй, – хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях, – оставайтесь, дорогие, всем хорошо будет... Эх, горе, чужая сторона! – И он так и залился смехом.

– Господин офицер, – шумели у сходней, – да пропустите же меня, у меня ноги больные... Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью... У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов грузите...

– Осади, не ваша очередь!.. Куда на штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте...

Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.

Со вчерашнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки.

Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блесками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.

Он бежал за границу с твердым намерением найти там спокойное и солидное место под солнцем. Выбор нового отечества не интересовал его: плевать, деньги сами укажут, где нужно сесть. А развлекаться что с туркиней, что с задунайской какой-либо девкой, или с немкой, француженкой – совершенно одно и то же. Главное, вот во что он верил, – в стране должен быть беспощадный порядок.

В желании утвердить себя как благонамеренную во всех отношениях личность Семен Иванович дошел даже до того, что еще здесь, в одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы, принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам, говорил негромко, но чрезвычайно явственно и хотя, в силу необходимости, по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выражалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал?

Одна только искра жгла его душу, лишала покоя: это – ненависть к революционерам. Ливеровский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению политической картины среди пароходного населения, – таковые данные весьмагодились бы впоследствии. Семен Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил

отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетаскивали с парома последние сундуки и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол – чернобородый, огромный мужчина в синей куртке с галунами, француз-капитан. «Кавказ» хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд.

Простояв томительные сутки на внешнем рейде, «Кавказ» отошел восьмого апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мглистых сумерках невысокие берега Новороссии. Несколько человек вздохнули, стоя у борта. Прощай, Россия!

Пробили склянки. И скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями.

При свете палубного фонаря, на корме, Ливеровский показал Семену Ивановичу план парохода.

– Вы возьмете на себя носовую часть, – говорил он, посмеиваясь, – я – кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних – всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе, в коридорах и в кают-компании – дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин (одесский губернатор), с ним двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть

еще и третья, самая верхняя палуба, там всего два помещения – курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна, – вы сами увидите почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала работать монархическая контрразведка. Держите ухо востро. Все собранные вами данные записывайте в особенную ведомость. По прибытии в Константинополь мы покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены, союзники умеют ценить подобного рода сведения.

Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и вместо сна раздумался в этот час тишины.

Неуютно представилось ему жить на свете, довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки... Заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком, и ни одна рожа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!

Оглянул Семен Иванович истекшие года, и закрутились, полезли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоляной борт каботажной баржи и надутое лицо палача.

«Нет, не иначе – это он, Ибикус проклятый, носится за мной, не отстаёт, прикидывается разными мордами, – думал Невзоров, и хребет у него холодел от суеверного ужаса, – доконает он меня когда-нибудь. Ведь что ни дальше – то гаже: вот я уже и при казни свидетельствую, я – сыщик, а

еще немного – и самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком...»

Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом, точно так же, сидел сутулый человек в форменном картузе – военный доктор.

– Не спится? – повернул он к Невзорову рябоватое, с клочком бородки, испитое лицо. – Спички у вас есть? Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем? А? Какая глупость.

Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, подседал папироску.

– Сижу и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой, заметьте, Екатерину Великую, говорят, копьём ткнули снизу из нужника, убили. Павлу табакеркой проломили голову. Николай счел нужным отравиться. Александра Освободителя разнесли в клочки. Полковника и обоих наследников расстреляли. Очень хорошо. Ай да славяне! Бога бойтесь – царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва, – свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует царевубийц... Сазоновы, Каляевы, – доктор хрустнул зубами, – Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов – президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она – свободушка подвалила. Так я вам вот что скажу: везу с собой один доку-

мент. Приеду в Париж – где пуп земли, ясно? – и на главном бульваре поставлю витрину, на ней так и будет написано: «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гении свободы и прочее тому подобное. А в центре гвоздем приколочу вот эту штуку...

Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно:

– Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной думы и Учредительного собрания. Так то-с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет, к сожалению, – нет. Реестрики – сколько у кого взято займы. Так! Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения триппера. Все-с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге.

Доктор вдруг закатился мелким смешком:

– Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам – приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на него Прилуков, Бабич и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро – вот что я вам скажу – недобро. А человек этот, знаете, кто? Ну, самый что ни на есть кровавый и страшный революционер. Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев и лань. Я и смеюсь, – спать не могу, – ох, не страшно бы какой беды

на нашем корабле. В том-то и беда, что мы уже не в России, где эти штуки сходят.

– Какие штуки сходят? – осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял спичек, закурил трубочку махорки.

– От кого я в восторге, так это от большевиков, – сказал он и сплюнул, – решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем – глядишь – через полгодика и расчистят нам дорожку, – пожалуйста.

– А кому это – вам? – спросил Семен Иванович.

– Нам, четвертому Интернационалу. Да, да, у большевиков есть чему поучиться.

– Ну однако – вы слишком смело.

– Говорю – у них школу проходим, дядя. – И доктор, суя мизинец в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него. Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ в сущности не любит свободу.

С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочались палубные обитатели: потягивались, почесывались, спросонок пялились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в грязном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на палубе. Около кранов уже стояло несколько военных, босиком, в широченных галифе, в рва-

ных подтяжках, и, фыркая, мыли шеи соленой водой. Из трюмов стали вылезать взъерошенные, непроспавшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над паровым бортом, стала длинная очередь: дамы, зябко кутающиеся в мех, общественные деятели без воротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.

— Двадцать минут уж сидит, — говорилось в этой очереди.

— Больной какой-нибудь.

— Ничего не больной, рядом с ним спали на нарах, просто глубоко неразвитый человек, грубиян.

— Действительно, безобразие. Да постучите вы ему.

— Господин штабс-капитан, — постучали в дверку, — надо о других подумать, вы не у себя дома...

Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брезента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недовольный член Высшего монархического совета Щеглов, саратовский помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, знаменитую опереточную актрису, вытащил корзинку с провизией и плетеную бутыл с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать.

В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской солониной. Около кухни говорилось по этому поводу:

— Опять бобы. Это же возмутительно.

— Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то.

— А вам известно, ваше превосходительство, что это за

солонина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник, я знаю.

– Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношение союзников.

– А в первом классе, извольте видеть, отличный обед в четыре блюда.

– Для спекулянтов. Одни жида в первом классе. Устроили революцию, а мы жри обезьян.

Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, теребя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов.

– Нужно верить – все совершается к благу. Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так, – быстро и проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная Дэво, теософка. – Наш физический мир – лишь материальное отражение великой, страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире надфизическом. Но борьба там предрешена: это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему пусть солонина будет мясом человекоподобной обезьяны, пусть: Мудрая Рука приведет новых адептов к Истинной Пище. Индусы называют Пищей только плоды и овощи, все остальное трупоедство.

Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дэво прижала его к борту, фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича.

– Гигантскими шагами, – за час – столетие, – мы при-

ближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция – акт массового посвящения, да. Что такое большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим святым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики-демоны – исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня допрашивал комиссар – наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды. И этот комиссар стал то так облокачиваться, то так облокачиваться, зевал, и, наконец, через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него Ангелу Земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мяса, друг мой, не курите и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем в царство Духа.

В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дэво обернулась к поваряткам. Они черпали огромными уполовниками бобовую похлебку и разливали ее по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам, – во все, что подставляли проголодавшиеся эмигранты.

На эту давку сверху, со средней палубы, глядели уже откушавшие в столовой первого класса финансисты, сахарные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при

посадке. Они держали себя с достоинством и скромно.

Еще выше, с третьей палубы, глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку.

После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование вверенной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм (под предлогом поисков своего багажа) и был оглушен треском пишущих машинок.

Здесь, в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные, каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко взбегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах.

Войск, в обычном смысле слова, у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы действовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга.

В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс. Здесь в три яруса были нагромождены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий – почти все с женами и детьми.

– Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма, – говорил один, свесив с нар длинное бородатое лицо в двойном пенсне, – страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге, – мы тем самым

гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа, не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах.

– Полгода, благодарю вас, – проговорили из темноты, из-под нар, – вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им, негодяям, и полмесеца нельзя дать поцарствовать.

– Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать!

– А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам забегутся бандиты, – так же, что ли, станете благодушествовать? Это, батенька, все скрытый большевизм. В морду, чтобы из морды – бифштекс, – вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир: спасайте, грабят и режут!.. Хотите компенсации? – пожалуйста. Японцам – Сахалин за помощь, англичанам – Кавказ, полякам – Смоленск, французам – Крым. Проживем и без этих окраин да еще сильнее станем.

– Ну, уж извините – вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи, и Антанта даст эту помощь. На Западе – не торгаши, не циники, не подлецы.

– Эге!

– Ничего не – эге. А двухтысячелетняя христианская цивилизация, это тоже – эге? А французская революция – это эге? А Паскаль, Ренан – эге? Да что мне с вами говорить. Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры.

– Значит, одесская эвакуация тоже не «эге» по-вашему?

– Одесса – трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно...

– Батюшки!

Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте, в темноте, говорили:

– Сесть в чистом ресторане, с хорошей услугой, спросить кружку холодного пива – во сне даже вижу.

– А помните Яр, московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке...

– Ах, боже мой, боже мой!..

– Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольском картоне с золотым обрезом. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским, – помните его по Москве? Приезжаем – что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду – командующий войсками Плеве при всех орденах, военные, цвет адвокатуры, Лев Плевако, именитое купечество, – все во фраках... Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи... Восемь дьяконов ревут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его – мужичонка подслеповатый, и – речушку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, говорит, как дома. Все, говорит, это, – и развел руками под куполом, – не мое, все это ваше на ваши денежки построено...» И закатил обед с шампанским, да какой! – на четыреста персон.

– Неужели бесплатно?

– А как же иначе?

– Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже

мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну...

– Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.

– Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе. Большевики – это скверный эпизод, недолгий кошмар.

Еще где-то между нар шуршали женские голоса:

– До того воняет здесь, я просто не понимаю – чем.

– А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.

– Что же – дальше повезут?

– Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.

– Собаки-то при чем же?

– Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!

– А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться.

Надоело в грязи жить.

– А что теперь в Париже носят?

– Короткое и открытое.

Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платяцах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около

кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:

– Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.

– Это тебя-то? – спросил Щеглов.

– И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например – в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя, – нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.

– Жалко, тебя раньше не слушали.

– Вернусь – теперь послушают.

– Сегодня что-то ты расхрабрился.

– Я всю ночь думал, представь себе, – сказал драгун, поправляя фуражку, – так, знаешь, расстроился... Я сегодня на заседании говорить буду... Высший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо повально целые губернии – вот программа. А войдем в Москву – в первую голову – повесить разных там... Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского... Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза...

Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет себя стеком по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:

– Ну, а с Прилуковым ты говорил?

Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забежали, краска отлила от лица, он опустил голову.

Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркнутым, особенным. «Так, так, – подумал он, – про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так, так», – повторил он, щурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства.

Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, мало привычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги паровой машины.

Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.

– Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры – и я давал, приходили эсдеки – и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие турусы на коле-

сах писали в этих газетах, – у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел – контрреволюционер.

– Кто мог думать, кто мог думать, – горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке, – мы верили в революцию, мы были идеалисты, мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе, – прямо походя. Нет, Россия – это скотный двор.

– Хуже. Бешеные скоты.

– Разбойники с большой дороги.

– Хуже.

Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.

Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по расплавленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.

Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими – в ракурсе – телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда, – едут жить из милости.

Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная – скажем – вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди, – дешевка! А ведь суеются, топорщатся... Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги не-

мытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя, – даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце...

«Извиняюсь, уважаемые иностранцы, – мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк, – войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастье произродиться; денег, гостеприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды...»

Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова, – будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку...»

Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.

Вон сидит великолепная женщина, – сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам, – платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова...

А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка, – с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями... «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пу-

стышка, попробуй, схвати рукой, – разожмешь одни чумазые пустые пальчики...»

А вон брюнеточка-живчик... Или эта хохотушка, офицерская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы... Или та – гордячка с плоскими ступнями, сонными веками... Или та, фарфоровая аристократка, смотрит, – даже осунулась вся, – как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом... Вон оно – богатство, золотые россыпи!..

Семен Иванович выпрямился, – хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице, – помню, помню, – мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал, – вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических фэйф-о-клоках... Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали... Вообразить не смел, однако, встретились... Но припадать уж не могу, – далеко вниз бегать... И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки, – Семен Иванович задохнулся волнением, – подождите, недолго – все будет; и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон...»

Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а куда нужно было продолжать наблюдения.

На палубу в это время поднялись двое – Щеглов и астраханский драгун – и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.

Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне, за круглым столом, засыпанным окурками, сидело шесть членов Высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно, – на заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать.

Направо от Щеглова сидел молодой человек, в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет.

«Это и есть Прилуков, – почему-то подумал Семен Иванович, – но до чего же он страшный».

Щеглов кончил. Собеседники устали и уложили головы на стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо:

– Что же долго думать, – позвать этого дурака Невзорова, он как раз сейчас торчит у двери.

Семен Иванович, неслышно поднимая коленки, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул: спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе, – зеленовато, по-волчьи, блеснули его глаза...

Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. «Все им известно, ах, елки-палки, ну и влопался, видимо, в историю», – думал он, отдышавшись, и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно.

Суэта затихала на пароходе. Трюмы закрывались брезентами. Бродили унылые фигуры, присматривая местечко

для сна. Одинокiй дьякон, сидя под мачтой, с душу раздирающей безнадежностью напевал вполголоса покаянный тропарь.

Семен Иванович, осмелев, вылез из-за чемоданов. Любопытство его привлекли голоса в носовой каюте, где помещался одесский губернатор Хаврин. Там сипло кричали:

— Убирайтесь к черту, я вам говорю. Нет у меня никаких денег.

После некоторого молчания другой, тихий голос говорил:

— Ваше превосходительство, в перспективе — голодная смерть: жена и двое детей, а час тому назад еще третий родился.

— Уберетесь вы, я спрашиваю?

— Хотя бы ничтожнейшую сумму... В некоторое оправдание, ваше превосходительство, — кровь проливал в многочисленных сражениях за родину.

— Это ваше частное дело... Я гражданская власть. Тут у каждого какие-то жены оказываются и прочее... Обращайтесь к казначею вашей части... Вы мне надоели... К чертям!..

После некоторого молчания дверь каюты медленно отворилась, и вышел низенький человек, похожий на плюшевого медведя. Споткнулся и стал, бессмысленно глядя перед собой. Казалось при свете звезд, что седые вихры его торчат дыбом. Куртка со штабс-капитанскими погонями, видимо, сшитая из байкового одеяла, была покрыта тигровыми полосами. Несмотря на такую воинственную наружность, он беспомощно развел коротенькие руки.

– Вот, убирайся к черту, а куда? – обратился он к Семену Ивановичу. – За борт? Так ведь не один, четверо висят на шее. Ох! – простонал он из глубины медвежьего нутра и побрел к трапу.

Дверь в каюту осталась полуотворенной. Семен Иванович завел туда нос и увидел около стола, где горела свечка, стоявшего губернатора – огромного мужчину в черном и длинном сюртуке. Ладонями он тер себе изо всей силы багровое лицо.

– Пяти минут не дадут заснуть, – проговорил он сипло в сторону кого-то, кто, невидимый Невзоровым, сидел у стены за свечкой, – разнюхали, мерзавцы, нищая сволочь, про казенные деньги!.. Коротко и ясно: во вверенных мне суммах отдам отчет одному законному царю.

– И Высшему монархическому совету, – проговорил спокойный голос за свечкой. (Губернатор сразу бросил тереть щеки.) – Никакого возражения у вас быть не может, надеюсь? (Губернатор отмахнул полы сюртука и сунул руки в карманы, забренчав ключами.) Нас нисколько не интересуют расходы, произведенные вами до эвакуации. (Губернатор стал раскачиваться на каблуках.) Питая к вам искреннее расположение, ваше превосходительство, хочу поставить вас в известность, что Высший монархический совет на последних заседаниях решил расширить методы борьбы и действовать тем же оружием, что и наши противники...

– Террором? – прохрипел губернатор, и щеки у него стали цвета бургундского вина.

– Да, – коротко, как удар по стеклу, ответили за свечкой.

Разговор этот до того заинтересовал Семена Ивановича, что он неосторожно просунул нос дальше, чем следовало, в дверную щель. Сейчас же губернатор обернулся и с проклятием схватил его за воротник. Невзоров пискнул. Собеседник губернатора быстро поднялся, свет от свечи упал ему на лицо, — это был тот самый красивый молодой человек с синими глазами, нагнавший на Невзорова страх.

— Очень хорошо, — сказал он, — мы должны с вами поговорить.

И он под руку повел Семена Ивановича на нос парохода, туда, где лежали якорные цепи, мокрые от росы, и черное бревно бушприта неизменно стремилось на запад.

— Моя фамилия Прилуков, — сказал молодой человек. — Если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым, по паспорту Симоном Навзараки. (Невзоров, не возражая, проглотил слюну.) Вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Кроме того, вы подписали протокол казни графа Шамборена. На вас обратили внимание как на человека способного и надежного.

— Виноват, господин Прилуков, я, собственно, больше по коммерческой части...

— Придет время, почтеннейший Семен Иванович, когда вы получите возможность заняться личными делами. Сейчас ваша жизнь принадлежит богу, царю и отечеству. Э, батенька, не спорьте, бесполезно... Одним словом — обеспечена ваша готовность подчиниться моим директивам и ваше гробовое молчание... Вы поняли: молчание. — Прилуков приблизил к Семену Ивановичу ледяные, ужасные

глаза. – Вы, дорогой мой, служили до тысяча девятьсот семнадцатого года в транспортной конторе. Вы убили и ограбили антиквара, английского подданного... Молчать, я вам говорю!.. Много раз вы меняли фамилию... Вы служили казначеем в бандитской шайке атамана Ангела... Всего этого достаточно, чтобы повесить вас в первом же порту, где есть английский комендант... Кроме того, вы состоите в списках контрразведки и непосредственно мне подчинены... С вас этого всего достаточно?..

– Достаточно, – проговорил несчастный Семен Иванович. Он видел только в вершке от своего носа беспощадные глаза. «Неужели – Ибикус?» – подумалось ему, и ослабли ноги, безвольно задрезжалось в голове. Он слушал медленный, отчетливый голос:

– Вы видели пассажира верхней палубы? Вы его хорошо рассмотрели? Это Бурштейн, опасный революционер. Вы слезете на берег вместе с ним. Вы будете следить за ним. Когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Оружие вы получите на берегу. Даю вам срок две недели. Если вы влопаетесь на этом деле, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти. Если вздумаете болтать лишнее, вас безусловно повесят. Все ясно? Никаких более вопросов...

Прилуков внезапно обернулся и, нагнувшись, скользнул без шума за якорную лебедку. К Семену Ивановичу подходила Дэво, теософка, кутаясь в одеяло.

– Еще один брат по духу не спит, – заговорила она сонным голосом, – я вас почувствовала издали... Нельзя без волнения созерцать звездное небо. Ведь это наши будущие родины. Миллион веков мы кочуем со звезды на звезду.

Брат, я чувствую к вам доверие. Я хочу приподнять край завесы над тайной. Смотрите сюда, на Северный Венец...

Теософка выпрямилась, одеяло соскользнуло с нее, она подняла руку. Семен Иванович, из-за ужасной растерянности и робости, стал глядеть на звезды и долго слушал таинственный рассказ Дэво о метампсихозе и о том, как первоначально люди, – то есть и она в том числе и Семен Иванович, – жили на солнце в виде растений – головой вниз, ногами кверху. У Невзорова действительно начало мутиться в голове от количества впечатлений этой ночи.

На верхней палубе, неподвижно и угрюмо, стояла сутулая фигура революционера, со светящимися глазами. Черт его знает, что он наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходящихся от пароводного носа, или ночные разговоры на палубе.

Рано поутру из трюмов вылезли все обитатели. Машины не работали. Пароход стоял на якоре. Брезенты, палуба, чемоданы, перила – все было мокро от тумана. Мачты до половины тонули в нем.

Но вот направо, далеко и, казалось, высоко, стали проступать оранжевые плоскости, прямоугольники, будто большие экраны. В них загорались пучки стеклянного света. Плоскости громоздились одни над другими. Это были многоэтажные дома Пера.

Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула – минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:

– Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.

– Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.

– Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.

– А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да – крест... Эх, проворонили...

– Ничего. Подождем. От нас не уйдет.

– А говорят – турки все-таки страшная сволочь.

– Совершенно наоборот – благороднейшая нация.

– И напьемся же мы, господа, сегодня...

Так, в ожидании высадки, эмигранты простояли у бортов до завтрака. И опять – негритята мешали бобы, повар чистил картошку. Настроение стало портиться. В виду Константинополя принудительно есть свиное месиво, торчать на вонючей палубе, что это – издевательство?

Начался ропот. Послали делегацию к капитану. Тот ответил туманно. Никто ничего не понимал. Возмущались ужасно. «Как они смеют полдня держать нас на борту? – довольно нас мучили на проклятом пароходе. Кто мы, собственно говоря, пленные? или дикари какие-нибудь?»

К «Кавказу» несколько раз подходил военный катер. Элегантный офицер, в фуражке, с золотыми дубовыми листьями, кричал что-то в рупор капитану, и катер опять уходил, стуча и поблескивая медью.

Подъезжали лакированные лодочки, внутри устланные коврами. Какие-то европейские изящные люди, в чистых воротничках, в шелковых носках, в блестящих туфлях, покачиваясь на быстром течении, глядели, покуривая папироски, о чем-то весело, независимо перекликались, указывали тростями на голодные, грязные, взлохмаченные лица русских эмигрантов, наглядевшись – уплывали.

Город был залит теперь апрельским солнцем. Через длинный мост Золотого Рога двигались потоки экипажей и пешеходов, сверкающие стеклами трамваи. Люди ехали и шли, куда хотели, ни у кого ни о чем не спрашивая разрешения. И никому, видимо, в этом городе не было дела до трех тысяч русских, спасшихся от революции.

А раньше – придет пароход Добровольного флота, – облепят проклятые турки: «Рус, рус, купи феску, купи туфли!..» И туфли-то дрянь, фески гнилые. А идешь до Пера – хватают за полы, тащат сапоги чистить, из шашлычных высовываются: «Сюда, рус, рус, шашлык хорош!..» А теперь носы воротите... Подождите, свергнем большевиков, пропишем вам «рус» туфлей по носу...

В третьем часу дня произошла короткая паника. Команда военных моряков с винтовками, угрожающе щелкая затворами, вскочила на возвышение на корме. Взяли на изготовку. Другая команда заняла носовую часть.

В трюмах слышались повышенные голоса. Бледные, растерянные офицеры, щурясь от солнца, вылезали из трюмов. Их выгоняли оттуда прикладами. К пароходу подходила шаланда. Тогда все объяснилось: добровольческие части перегружались на транспорт и возвращались обратно в Новороссийск, в действующую армию Деникина.

Часть военных перегрузили. На палубе успокоились, и снова эмигранты повисли у бортов. Многомиллионный город шумел – рукой подать... Дымили трубы, проходили паруса у древних стен и выходящих из воды квадратных башен. День был теплый, лучезарный.

С пяти часов негр опять начал чистить картошку, негритята – откупоривать жестянки с мясом человекопо-

добной обезьяны. Тогда население парохода стало сбиваться в кучки, поднялся ропот, нашлись демагоги, и было решено коллективно отказаться от принятия пищи. Капитан ответил делегатам, что на сегодня бобы уже сварены, а завтра он прикажет выдать рис, если же подобное брожение умов повторится, то прикажет отвести пароход на шесть миль назад к Черному морю.

В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сыпняк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход прямо в Африку, в горючие пески. Напряжение всех последних дней сменилось острым отчаянием. Почти никто не спал в эту ночь.

Город всю ночь переливался брильянтовыми огнями. Доносились слабые звонки трамваев и даже как будто звуки музыки из ресторанов. Не то играли танго, не то старинные вальсы...

Наутро с грохотом подняли якорные цепи. Пароход заревел и медленно двинулся вдоль панорамы Константинополя, к Мраморному морю.

Близ выхода в море опять стали на якорь. Приунывшие пассажиры глядели на пустынный берег, на глинистые овраги, на какие-то подозрительные облупленные постройки на косогоре за колючей решеткой. Никто теперь ни на что хорошее не надеялся.

Семен Иванович, как и все, растерялся и упал духом за эти сутки. Бессмысленно толкался, толкался до изнеможения по палубе. Жевал бобы. Курил, курил. Спыхватываясь, лез наверх и проходил мимо опасного революционера. Он даже заглянул ему в тяжелые глаза, но не ощутил ни волнения, ни страха при этом.

Сейчас он обалдело глядел на унылую равнину, где близ построек лениво полоскался на мачте карантинный флаг, желтый, как зараза. Сюда сгоняли всех чумных, холерных, прокаженных, сыпнотифозных. Сейчас, видимо, загонят за эту проволоку и русских, – сиди, проветривайся. Вот тебе и Европа!

Скверно было на душе у Семена Ивановича: так на этот раз зажали его плотно, что не вывернешься. Удрать, а куда? Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу – схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят по доносу проклятого Прилукова. Без языка, без знания местности, все равно что темною ночью.

Припомнил Семен Иванович все, что слыхивал про турок гололобых, как ходят они, с усами, в фесках, в канаусовых шароварах, режут армян кривыми саблями, православных на кол сажают; нет, от своих отбиваться нельзя, к пароходу надо жаться – надежнее...

...»Ну, как я этого черта убивать стану, – думал Семен Иванович, оглядываясь с тоскливым вздохом на революционера в шляпе, – стоит, расставил ноги, дьявол чугунный. Разве его убьешь? Сам всякого угробит в два счета. А кроме того, кому это нужно? Так уж – от самодурства, от злости, от бобов с салом – распучило животы монархистам, вот и придумали, на ком сорвать досаду...»

Пока Невзоров предавался невеселым размышлениям, к пароходу подошла шаланда. Было приказано высаживаться всем с мелким ручным багажом. Тогда неожиданно среди пассажиров, в особенности в крайних – носовом и кормовом – трюмах, произошел сложный излом психологии: высаживаться на берег решительно отказались.

Начались переговоры с капитаном, водовороты на палубе. Выскочили демагоги и закричали о единодушии, требовали объявить голодовку, грозились первого, кто спустится в шаланду, вышвырнуть за борт.

Все несчастья эвакуации, спанье в трюмах, бобы и обезьянье мясо, распученные животы, очереди у отхожих мест, грязь и последнее унижение вчерашнего дня, когда все только облизнулись в виду Константинополя; еще глубже – вся бездольная, кочевая жизнь за два года революции, разбитые вокзалы, вшивые гостиницы, налеты, перевороты, разбойники, бегство на крышах вагонов в мороз, в дождь, вымирающие в тифу города, бегство все дальше на юг – все это взорвалось, наконец, чудовищной истерикой в истерзанных душах. Начался такой крик, что капитан счел за лучшее уйти с мостика в каюту.

А затем, незаметно и совсем просто, матросы перекинули трап с «Кавказа» на шаланду. Несколько человек, в том числе Щеглов с женой и драгуном, спокойно перешли туда и закурили папироски. К трапу кинулась толпа. Началась давка. Через голову в шаланду полетели узлы и чемоданы. Капитан опять появился на мостике и крикнул по-французски, что прикажет стрелять, если сейчас же не установится порядок. Его никто не понял, но порядок установился. Шаланда три раза ходила от парохода к берегу, и к середине дня все пассажиры были выгружены. «Кавказ» загрохотал цепями и отошел с большим багажом в неизвестном направлении.

Семен Иванович стоял обеими ногами на берегу, на нерусской земле, но это его не радовало. Он чувствовал, что готовится какая-то новая каверза со стороны союзников.

Действительно, среди эмигрантов, толпившихся близ воды, появились турецкие чиновники в фесках и длинных, пыльного цвета сюртуках с зелеными – жгутом – погонами. Кривых сабель при них не было. Они что-то лопотали, указывая на унылые постройки за колючей проволокой. По кучкам эмигрантов пошел ветерок возмущения, но душевные силы были уже истощены. Многие только шептались: «Ведь это же издевательство... Так не обращаются даже с папуасами. Боже, какое унижение!..» Иные женщины садились на весеннюю травку и плакали.

Оказалось, что турецкие чиновники велят всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах – вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высовывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа, – думал он, несколько стыдясь своих ног, – ну, не знали... Ай, ай, ай!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

- Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?
- Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться, – систематически доведут до конца... Это вам – Европа...
- Я решительно протестую... Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый...
- Фу ты, какой здесь сквозняк эти турки напустили!
- Господа, всех без исключения, оказывается, крутым кипятком ошпаривают...
- Этого еще не хватало!..

Семен Иванович только вздохнул болезненно и стал в очередь к банному отделению. Перед ним двигался коротконогий, приземистый человек с широкой спиной, покрытой волосами. От него изрядно пахло. «Этого вымыть – много надо мыла», – подумал Семен Иванович. Дверь распахнулась. Обдало теплой сыростью. Шумела вода. Волосатый, приземистый и Невзоров вошли по мокрому асфальту в длинное помещение, где под сотней душей прыгали, отфыркивались, отряхивались голые эмигранты.

– Вот свободный душ, вы первый или я? – спросил волосатый, оборачиваясь к Семену Ивановичу. Это был опасный революционер. Семен Иванович даже поскользнулся на пятках. Революционер стал под душ и начал скрестить живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо поворачивался. Сквозь его повисшие волосы был виден разинутый рот, отплевывающий воду. «Великолепно, – проговорил он насколько мог весело, – давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты – моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? – даже как-то неудобно».

В это время мимо прошел белый, как девушка, Прилуков и с усмешкой твердо посмотрел Невзорову в глаза.

Турки приготовили еще одну неприятность. Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому его одежду, горячую, прямо из печи. Голые люди начинали одеваться, но не могли влезть ни в штаны, ни в рукава, — одежда ссела, сморщилась, башмаки испеклись, — хоть плачь. Так, ковыляя, вымытые, с выбитыми микробами, эмигранты потянулись к сходням, где их погрузили в мелкие суда и повезли по вечереющему, как оранжевое зеркало, Мраморному морю на последний этап — остров Халки.

Семен Иванович оказался на одном катере с Ливеровским. Тот все шутил, называл Невзорова Оглы Невзарак, обещался подарить ему феску. А Семен Иванович вздыхал и помаргивал. Приближался уединенный островок Халки, весь уже погруженный в тень. За его скалистым очертанием разливался закат. А у самой воды на островке уже горели огоньки поселка. Теперь можно было различить сильно накренившиеся мачты и трубу «Кавказа», разгружавшегося у пристани.

«Неужели на этом острове найду себе могилу?» — подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий. Уютно отражались огоньки в воде. И у Семена Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка: вывернешься, братец, раскроешь еще крылья, главное — тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа — бочком пробирайся к счастью.

Катер подошел к длинным мосткам. На них лежали горы багажа, сустились люди в фесках, оживленно разго-

варивали повеселевшие эмигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной.

– Господа! – взволнованно крикнул какой-то длинный человек, шагая через чемоданы, – а какая у них здесь водка, какие шашлыки! Багаж завтра разберем – айда закусывать!

Семен Иванович сошел на берег, потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках. Неожиданно, совсем бы и не к месту, охватила его сумасшедшая радость, – и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Шумно и беспокойно стало в Мраморном море, на скалистом острове Халки.

Вслед за «Кавказом» выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты. Пять тысяч русских, привыкших к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря, в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды.

Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длинейших коридорах к дверям записки: «Штаб армии», «Отдел снабжения», «Служба связи», «Конная дивизия» и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон, прожженных девяностащестиградусным спиртом белых офицеров.

Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов,

бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре.

Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями, среди неизъяснимого количества клопов.

Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские – вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел – ночь ли, день, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель, – клоп дождем кидался на него с потолка, лез из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, выдавшими в этих местах и аргонавтов и Одиссея.

А наутро – за что ни схватись: вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица, – в платке клопы, гладкие, веселые. Или в кабаке положит руки на стол, – из рукавов лезут клопы.

На узенькой, жаркой улице, – единственном месте встреч и гулянья, – с утра толкались русские. Делать было решительно нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились напоказ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеен любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белены. На перекрестках, перед горячими медными ящиками, чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются:

– Графиня, как спали?

– Ужасно, Семен Иванович, съели заживо.

– Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня.

И Семен Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросал его на дорогу. Графиня, в изжеванном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала, – нет ли новостей?

– Окромя пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.

– А когда в Константинополь?

– Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши, – зайдемте в кофейню.

– Благодарю вас, в другой раз.

Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой, – остатка от греческого погрома четырнадцатого года, – играла шарманка.

Пестрая, в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же: «Вите, виге, Венизелос» – утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.

Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венизелоса, снова нырнул в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.

– Лидия Ивановна, как спали?

– Ну, оставьте, пожалуйста, мы еще не ложились.

– Все кутите?

– Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору – смотреть вид. Потом – купаться. Нет, право, здесь чудно.

– Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди – клопчик.

– Спасибо.

Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.

Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»

Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.

План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри – золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами – ибикусами, – он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Ива-

нович считал себя новым человеком в этой жизни, полной унылых дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном.

– Дозволено все, господа, откройте форточки, – говорил он в кофейной за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил, – и не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.

– Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа, – толковал он тому же офицерству. – Революция, пролетариат, власть Советов – одна пошлость. Я при своем таланте могу нажать капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет, или с детства над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было больше, – на меня одного кинуться вдесятером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо – с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.

– Верно, правильно, браво, главное – умно, – шумело офицерство, дымя папиросами.

– Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Толстого, это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут

горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разворуют, потом ищи с них – дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам – у себя в имение – из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощадили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают – Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал», – оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.

У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.

Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить – опять страшили последствия.

Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.

...Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов, — они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.

А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные пароходики — шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовный! проклятие вам, большевики!

Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем острове, в прошлом – развалины жизни, дни, которых не хочется вспоминать, сегодня – стирка в ручной чашке истлевшего белья, на ужин – остатки кроличьей кошки, в минуту тишины – взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее – как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле идущего на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.

Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами.

– Верх цивилизации – роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное – предрасудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.

Радостный слух облетел остров: завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь.

Семен Иванович узнал об этом, лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Каракаргопуло, во втором этаже, в комнатешке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников: красная ситцевая занавеска на окошке, красный пыльный полог над перинами, набитыми клопами, вместо стула – прочное бидэ с расписной крышкой, ход через трактир. Помещение это Семен Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова, – здесь он был в безопасности.

Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнией пронеслись противоречия. Завтра, разумеется, он постарается улизнуть с острова, но Прилуков это лучше его знает и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить, на что решиться? Запрятаться ли на берегу, между камнями, на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?..

Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, поглядывая на себя в стенное зеркало, — из мутновато-ртутной глубины его глядело на Невзорова лицо... Странное глядело лицо... Перекошенное, с мертвенным глазом... Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргопуло. Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту... Вдруг холодок пошел по спине Невзорова, он отступил вбок от зеркала, будто оттуда глянуло что-то ужасно знакомое, надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято.

— Аллах верды, бахчи, бачка, — сказал он толстому, мягкому, женоглазому Каракаргопуло, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру.

Народу на улочке было мало в этот час, — эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. «Идеал» щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семену Ивановичу и голову и бороду с усами, затем чисто выбрил его.

Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица», – подумал он с едкой к себе симпатией.

Он надел феску, – сам черт не узнал бы теперь Семена Ивановича, – и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно следили за его превращением синие глаза.

Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопуло, также не узнав его, долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопуло разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили Невзорова, так кричали и торговались, что он уступил мерлушки за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство.

Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до утра решало судьбу Семена Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, точь-в-точь как задремавший турок.

Но воображение его не дремало. Он представлял себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ошипывал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы Добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в

сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток, кокоточек.

Мечтательность, – остаток варварства, – опасное качество для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам, отбивает чутье. Семену Ивановичу надо было чутко и недремно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он же распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо, и ледяной голос проговорил:

– Ну, а теперь пожалуйста со мной, поговорим.

Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал:

– На полдороге к монастырю свернете по шоссе, голубая дача – вторая направо, там ждите.

На голубой даче, в опрятном зальце, куда вошел Невзоров, на стене висел портрет Николая Второго, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в навощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. «Сразу видно – аристократы живут, – подумал Семен Иванович, – быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали».

В это время из боковой двери вошел астраханский драгун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него вдребезги болела голова с похмелья.

– Здравия желаю, – достойно и не без поспешности сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хрипловатым шепотом:

– Здравствуй, сволочь.

И уставился тухлыми глазами на Невзорова.

Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал:

– Морду разобью.

– За что-с?

– Разобью морду – тогда узнаешь за что.

– Я всегда готов всемерно пострадать на пользу отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения.

– У, сукин сын, дерьмо, – говорил драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову.

Положение Семена Ивановича становилось настолько щекотливым, что он подался к выходной двери, но драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо.

– Обрился, мерзавец, скрываешься, феску надел...

– В первый раз вижу такое обращение. – Семен Иванович прищурился для выразительности и загородился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и отдельно, как на морозе, проговорил:

– Теплов, потрудись без рукоприкладства. (Драгун неохотно отвернулся от Невзорова и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью.) Ну-с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в

Константинополь, так как, не в пример прочим, через своих сионских мудрецов получило разрешение и даже визы.

– Господин Прилуков, да как же, да где же? Ведь известное нам лицо сидит целый день в номере, на прогулку выходит – гделюдно. Я бы с радостью с ним покончил...

– Одним словом, Невзоров, вы помните наш разговор? Даю честное слово, завтра пойду к французскому коменданту и выдам вас на предмет повешенья...

– Ну, для чего же, господин Прилуков...

– Потрудитесь молчать. Вот револьвер. – Прилуков вынул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семеном Ивановичем на стол. – Он принадлежит известному вам лицу, украден у него сегодня ночью. Меня совершенно не касается – где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство.

Семен Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом:

– Миша, позволь – ему в морду въеду, смотри, он раздумывает.

Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь:

– После этого буду свободен?

– После этого можете убираться ко всем чертям.

Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и

ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни, – а вдруг проклятый жидюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать?.. Что делать тогда, – в окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. «Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым, – непременно бы умер, а вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена...»

Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Пронесли облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело, лицо было воспалено после бритья, по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре. Обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм, – сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море.

Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это – день его гибели... Именно такой, пыльный, окаженный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске... Он заметался на скамейке, не уберегся, и облако известковой пыли кинулось ему в глаза, запорошило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза.

Когда он смог их открыть, – низконогая, коренастая спина Бурштейна не спеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке.

Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овладел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Ка-

рабкаясь по хвойному склону, по осыпающимся бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он, вместе с камнями и пылью, съехал на зад и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк.

Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь сотрясся от волнения, – корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому.

Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, так он вдруг стал легок: на цыпочках, неслышно (суровый шум леса заглушал шаги) он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер...

Бурштейн, присев слегка, живо дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза...

– Вы что это – обрились? – мрачно сказал Бурштейн. – Я сразу и не узнал, странно, странно...

– Пыль, знаете, жара, взял, знаете, и побрился, – пробормотал Семен Иванович и в ту же секунду пропал, погиб, – со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы... Съежилась душа, стала просто душонкой, обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане... Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть, не надо было бормотать про парикмахера!!!

Бурштейн спросил:

– Гуляете?

– Знаете, погулять вышел.

– Странно, странно. Я вас только что видел, – вы против гостиницы сидели, терли глаза.

– Не может быть... Никогда глаза не тру, вы обмишурились...

Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул:

– Выньте руку из кармана! – И, когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, нагнулся низко. – Так и есть, это мой браунинг.

– Господин Бурштейн, я сам бывший революционер... Товарищ, подождите обвинять... Я сам, быть может, у вас защиты хочу просить... Я в коробку попал, господин министр! Войдите в мое положение...

И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все плачевные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, «совершенно мне не нужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист».

По мере рассказа Бурштейн хмурился, поднимал плечи, вращал в землю. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепо сопеть. Он выпросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, пошел домой.

Семен Иванович, в полном расстройстве чувств, проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую хвою.

...Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова, – оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты.

Закатилось солнце в Мраморное море, быстро настала эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенной величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу.

Семен Иванович сел тогда, обхватив колени, и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой, заброшенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день, – третий случай слабости. Нет, – в герои для повести Семен Иванович никуда не годился.

Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы аттического бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение, в это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах:

– Вот он!

Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился наутек. Напрасно. Драгун, налетев, въехал ему в ухо, – Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками и топтунками били его по чему ни попало. Мало того. Драгун сказал: «Все равно жаловаться не будет, снимай ему штаны». Он сел Семену Ивановичу на голову, другой – на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, вопиющие к чужим равнодушным звездам.

От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал, – это проворную руку, из-под низу рванувшую у него, из кармана пиджака, бумажник с пятью тысячами франков и семьюстами пятьюдесятью турецкими фунтами.

Очнулся Семен Иванович, – все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания – залиться горячими слезами. И он неумело заплакал.

На Перу блестят сотни витрин, развеваются над посольствами иноземные флаги, двенадцатязычная толпа шумит, суетится, шатается из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсинные корки, чистят себе башмаки, забываясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин.

На Перу, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеком себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки.

На Перу кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках, с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин.

Русские интеллигенты, в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне

перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит меж запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтая о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе.

На Перу, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни, трещат, сводят прохожих с ума звонки, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая звонят трамваи, хрипят, взывают автомобили, щелкают бичи парных извозчиков, из ресторанных дверей вырываются, вслед за пьяными, растленные звуки оркестриков. Вся эта суeta – высоко над морем, на Перу.

У подножия Перу – этой международной части города между мостом через Золотой Рог и пароходными пристанями – начинается Галата – узкие, грязные портовые кварталы. Это – подол Перу, куда стекает вся грязь его, куда стремительно сбегает всякий, кому там, наверху, не повезло.

Здесь, близ моста, у меняльных лавок, прислонившись плечом к фонарному столбу, стоял Семен Иванович в феске. На осунувшемся, плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев.

Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и переехать туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Галаты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда, в лесу, не догадались залезть ему в брюки, где в

мешочке хранился остаток разбойничьего золота – пятнадцать золотых десятирублевиков.

На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в гостинице «Сладость Востока», в гнилом трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров, пьяных матросов и совершенно неопределенных черномазых личностей.

Из пятнадцати золотых – двенадцать Семен Иванович привязал себе на шею в мешочке, хранил их жадно: они были последней ставкой на жизнь. Питался он чем попадется и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал левантинский жаргон, учился щелкать языком, вскидывать глаза.

Наверх, в Перу, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же – зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключения в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами.

Присматриваясь к лотковой торговле, к менялам и биржевым жучкам, он отстранил от себя эту деятельность, как мало надежную. Служба в ресторане, поденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, малоодоходными. Оставалась деятельность комиссионная, наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям.

Семен Иванович начал с малого: он предложил привести кавалера своей соседке по «Сладости Востока», сбившейся с пути девке, Ишак Мамэ, которую накануне в пья-

ном виде раздели в порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-левантински к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету:

– Русский, хочешь девочку из султанского гарема? – вай! (Щелканье языком, и глаза летят кверху.) Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий, – ай, ай... Иди за мной.

Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал: «Что ты мне врешь, турецкая морда?» – и пошел за Семеном Ивановичем в «Сладость Востока». За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель.

Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию, – один скутариец пригрозил ему даже выпустить кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством.

Кроме Ишак Мамэ, он познакомился с двумя сестрами-мулатками, Хаэ и Замба, необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним изголодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день.

Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть предсказания цыганки и прикапливал в мешочек на груди скудные доходы, веря,

что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лахудрами, Ишак Мамэ, Хаэ и Замбой, завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. «Сераль принцесс московит, или салон аристократки», – вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе.

Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас, – стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Перу в Стамбул через мост и из Стамбула в Перу, толпящийся у меняльных лавок и лотков, у остановок трамвая. Солнце жгло, ветер нес мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло.

«Паразиты, – думал Семен Иванович, – жулье, ни одной порядочной личности... Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом, а еще – цивилизация...»

Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан-моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски:

– Хау ду юду, кароший ханум, ичк чик, – вуле ву?

Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой, исковерканной белым шрамом. Семен Иванович сказал ему:

– Айда, русский, одалиска есть, симпатичный, ароматичный...

Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел. Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, тре-

щал, выкатывал налитые красным вином глаза, но Семен Иванович растерялся, и клиент был упущен. Греки, армяне, итальянцы, левантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплевываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе.

Семен Иванович собрался уже переменить место, – в это время на него налетел огромный бритый человек в грязном парусиновом пальто, – возбужденный и потный. Остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Это был Ртищев...

– Граф! – крикнул он, – это ты! – обрился, ну и сукин же сын, пятак твою распротак! Что ты тут делаешь?

– Торгую женщинами, – солидно ответил Семен Иванович.

– Брось, прогоришь. У меня есть великолепный план. Идем, я расскажу.

Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре Галаты и была узка, без тротуаров, мощенная древними плитами. Место насиженное.

Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время, под руку с товарищами, горланя и спотыкаясь, не шатался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице, топотали копытами ослики, кричали продавцы сладостей, женские руки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжали проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей.

Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот – слепые

окошечки с выставленными кальянами, — здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом, то есть один из них, негр, заложил себе в волосы бритву и с разбегу ударил головой. Вот размалеванная розами дверь, — здесь пляшут танец живота. Вот картежный притон, недавно закрытый оккупационными властями.

Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром, по обе стороны улицы, большие окна с переплетами, — это были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на кретоновых кушеточках жирные девки в зеленых, алых, канареечных шароварах, с голыми животами, с мелко заплетенными крашеными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами, — накрашенные и напудренные. Они лежали напоказ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо, только цыкали, закатывали глаза, с ума сходили от этих сладостей.

Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские матросы, — они ходили стенкой, дружно, крушили чугунными кулаками турецкие, французские, итальянские скулы, и даже англичане, хорошие драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами.

Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница «Сладость Востока». Семен Иванович завел Ртищева к себе, и здесь произошел разговор:

— Невзоров, пятак твою распротак, деньги есть?

— Нет.

— Меня на Принкипо (остров рядом с Халки) обчистили

русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек; знаешь, думаю, аристократов полон остров, надо – благородно. Никогда со мной такой глупости не случилось. Дело пошло. У стола в «железку» – цвет Петербурга. Меха, брильянты. Как они эти штуки через большевиков провезли – до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали каратов по сто. Подаю беленькое винцо, крюшончик. Мило, томно. Представь – двадцать пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина?

– Обокраден, избит, видишь – синяки.

– Жаль, – сказал Ртищев раздумчиво, – у меня план – снять лавчонку на этой улице, открыть «железку».

– Запрещено, я уже думал.

– Что ты говорить? Ну, а в «тридцать – сорок»?

– Запрещено.

– Рулетка?.. Я, брат, с таким крупье познакомился – по желанию, когда угодно, повернет, и – «зеро». Он говорит, рулетка – золотое дно.

– Запрещена.

Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятия оккупационным властям, Антанте, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомойнику и облил голый череп из графина.

– Ну, хорошо, – все еще кричал он, – хорошо, мне запрещают жить, запрещают дышать. Хорошо! Я открываю тайный притон. Для воров. Для пьяных матросов. Для самой распропоследней сволочи. Согласен работать пополам? Будешь приводить клиентов. Идем искать помещение.

Ураганная деятельность Ртищева преодолела все препятствия. Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у больного грека Синопли запущенная кофейня, где мухи давно засидели окна, пыль покрыла медную посуду и самого грека, целые дни дремавшего за прилавком.

Ртищев, вместе с Семеном Ивановичем, выколотил просиженные до дыр ковры на жестких диванах, вычистил кирпичом кофейники и медные части очага, вымел из углов густую паутину, гвоздями сколотил расшатанные столы, — больной грек Синопли только слабо икал и ахал, удивляясь.

Затем маляр, дошлый мальчишка-итальянец, выкрасил входную дверь в ярко-зеленый цвет и на одной половинке изобразил Семена Ивановича в феске, с трубкой, на другой — Ртищева в виде персидского шаха с табакерки, в чалме с султаном, в руках — колода карт. Ртищев был в восторге:

— Знаменитые художники меня писали. Репин, Серов и Кустодиев, большие деньги брали, мазилы несчастные, — самой сущности, пятак их распротак, не могли понять. А вот это — портрет!

Вывеска старого грека оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат: «ЗАЙДИ И ПРИЯТНО УДИВИШЬСЯ».

Ишак Мамэ и сестры-мулатки, Хаэ и Замба, были приглашены сидеть в кофейне. Получали они за это по стакану «дузику» и — халвы, рахат-лукума, шербету, засахаренных орехов сколько влезет: Ртищев был широкий человек. «Я не эксплуататор, — кричал он Невзорову, — девка должна быть сытая, счастливая; лизни ее в щеку — сахаром должна отдавать...»

Карточный стол поместили в глубине кофейной, за ковровой занавеской.

– Здесь – святая святых, – сказал Ртищев, – после двух часов ночи, когда останется солидная публика, я появлюсь из-за занавески и щелкну колодой.

Кроме того, были наняты два музыканта, инвалиды-турки с вытекшими на войне глазами.

– Если бы деньги, если бы деньги, – повторял Ртищев, – весь бы Константинополь кверху ногами перевернул. Граф, для открытия нужна программа. Девки умеют юбками вертеть, этого мало. Ты должен выступить в куплетах.

– Не могу, сроду не пел, стану я срамиться!

– В таком случае я приказываю. Я тебя из дела вышвырну. Я сам припомню, – спою какую-нибудь шансонетку на французском языке. Ты, невежа, можешь петь по-русски.

Семен Иванович пожал плечами: «Ладно, буду петь». Он работал и суетился, но в глубине оробевшей души не верил в успех. Чувствовал, – не хватает какого-то гвоздя в их предприятии, но чего именно не хватало – не мог понять.

Настал вечер открытия. Ртищев был в визитке и в белой чалме со стеклянным пером. Он поминутно выбегал за дверь на улицу и становился рядом со своим портретом, пронзительно поглядывая на прохожих и подмигивая. Честолюбия этот человек был непомерного.

Семен Иванович почистился и побрился, повязал на гуттаперчевый воротник пестрый галстук. Хаэ и Замба густо напудрились, надели множество амулетов и страусовых, бывших под дождем перьев. Ишак Мамэ явилась

пьяная, в разодранном платишке, но завитая и нарумяненная, как кукла. Все было в порядке. В кофейной зажгли керосиновую лампу. Инвалиды, подкрепившись кофеем, заиграли: один на струнах, другой на рожке – что-то жалобное и тягучее, как тоска по вытекшим глазам.

Наконец появились и посетители. Бочком проскользнули в дверь двое черномазых, с птичьими лицами, с наморщенными лобиками, – сутенеры. Они спросили по рюмке «дузику» и, бегая глазами, перешептывались. Вошел высокий, страшно бледный человек в матросских штанах, в одном тельнике. Голова выбрита, кроме спутанного чуба на макушке, ухо разбито в кровь. Он положил кулаки на стол и шептал что-то в ярости про себя, скрипя зубами. Вошел шикарный молодой человек, ростом и годами не старше пятнадцати лет, – счастливый биржевой игрок, будущий финансовый гений: носик пипочкой, одутловатый рот, котелок, брильянтовая булавка, тросточка, как у Чарли Чаплина. Мальчишка развлекался в грязных притонах на Галате. Ишак Мамэ и мулатки сейчас же сели к нему за столик. Вошел горячечно пьяный, но твердо державшийся деникинский офицер, спросил кофе с лимоном и бенедиктину и, глядя безумными глазами перед собой, бормотал со странной улыбкой:

– Магометане, янычары, клопоеды, всех вырежем.

Понемногу кофейня наполнялась. Напитки спрашивались скуповато, гости, видимо, ожидали, – чем будут здесь удивлять. Слепые турки все тянули, тянули тоскливую волюнку. Настроение падало. Тогда Ртищев, заманчиво сверкнув золотыми зубами, объявил по-французски:

– Шансон националь а ля рюс, национальная русская

песня, исполнит любимец Петрограда, Семен Невзоров...

У Семена Ивановича сразу одеревенели руки и ноги, голос ушел в живот, в глазах поплыли лица посетителей. Но девушки начали хлопать в ладоши и визжать. Он вышел на середину, поклонился, феска съехала на лоб, так и осталась. Он отвел руку с окоченевшими пальцами и, как из бочки, проговорил:

– Национальная русская песня.

Откашлялся. Слова, которым его с утра учил Ртищев, заматались в мозгу. Диким голосом он запел:

*Я пошла к дантисту
И к специалисту,
Чтобы он мне вставил зуб.
Трам па, трам па, трам па...
Дантист был очень смелай,
Он вставил зуб мне целай,
И взял за это руп...
Трам па, трам па...*

Семен Иванович мельком увидел, как Ртищев поднял руки к тюрбану, словно хватаясь за голову. Все же он закончил куплет. Сел. Пьяный офицер проговорил спокойно:

– Расстрелять.

Семен Иванович и сам понимал, что провалился с куплетами. Надо было спасти положение. Ртищев, взглянув на улицу, сообщил с тревогой, что на той стороне, против кафе, «стоит фараон». Как стал проклятый турецкий городской, так хоть бы пошевелился. Приходилось рисковать.

Неожиданно Ртищев отогнул занавеску, скрывавшую карточный стол, и появился перед почтеннейшей публикой с колодой карт в поднятой руке, – точь-в-точь как портрет его на двери.

– Фет во же, месьедам. Начинаем! Заметано!

Поднялись сутенеры, пьяный офицер, финансовый гений вместе с девчонками. Человек десять сели за стол. Занавеску опустили. Слепые турки продолжали надирать душу. Семен Иванович, не предчувствуя добра, прибирал грязные рюмки. Слышались короткие восклицания игроков, щелканье карт и кабалистические приговаривания Ртищева:

– Делайте вашу игру. Заметано, ребяташки! Четыре сбоку – ваших нет! Есть такое дело!

В это время в кофейню спокойно вошел турецкий полицейский, отогнул занавеску и сказал сразу отпрянувшим от стола игрокам что-то гортанное. Первым мимо него ужом проскочил на улицу финансовый гений. В минуту кофейня опустела. Ртищев был накрыт с поличным.

Переговоры с полицейским оказались коротки и несложны. Он свирепо выкатил глаза, пальцем чиркнул себя по шее и высунул язык, – Ртищев и Семен Иванович оробели. Тогда полицейский ухмыльнулся, показав желтые зубы, прищурил глаз и тем же пальцем показал себе на ладонь. Семену Ивановичу пришлось снять с груди заветный мешочек и отдать проклятому турку все сбережения.

Затем Семен Иванович и Ртищев сели к столу под лампой, подперлись и мрачно замолчали. Больной грек Синопли слабо икал за прилавком. Дело сорвано было в самом зародыше.

Ртищев предложил пойти утопиться в заливе Золотой Рог. Семен Иванович, глядя ему на стеклянное перо тюрбана, промолчал: отчего бы действительно и не утопиться. Мыслей в голове у Невзорова не было никаких. Не осталось даже робкой надежды, питавшей его все эти дни.

И вот, в эту минуту, – уничтоженный, брошенный судьбою на дно, – он ощутил странное состояние: показалось, что все это он уже видел однажды, – и стол, и смятую скатерть, и тень от своей головы на ней. Это безусловно было. Но где, когда?

В эту самую минуту через стол бежал таракан. Словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак», – и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаясь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

– Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

– Нашел. Это будет – гвоздь. Завтра к нам повалит вся Галата.

– Ты с ума сошел?

– Тараканьи бега. – Семен Иванович схватил стакан и

накрыл им обоих тараканов. – Этого оккупационные власти не предвидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засопел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

– Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного, – плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами – были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой – его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения беговой дорожки, то есть особой доски, вроде настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ

Народное русское развлечение

Весть об этом к вечеру облетела всю Галату. К дверям Синопли нельзя было протолкаться. Вход в кофейную стоил десять пиастров. Посмотреть на тараканьи бега явились даже ленивые красотки из окошек. Компания английских моряков занимала место у беговой дорожки. Ртищев, дерзка щипцы в одной руке и банку с тараканами в другой, прочел вступительное краткое слово о необычайном уме этих полезных насекомых и о том, как на масленнице ни одна русская изба не обходится без древнего русского развлечения – тараканьих бегов.

Все кафе аплодировало его речи. Ртищев шикарно взмахнул щипцами и выпустил первый заезд. Моряки покрыли его десятью фунтами. Ртищев не ошибся: тощий таракан, на которого вследствие его заморенного вида никто не ставил, пришел первым к старту – трехцветному русскому флагу. Невзоров, державший тотализатор, выдал пустяки. Англичане разгорячились и второй заезд покрыли двадцатью фунтами, кроме того фунтов пять покрыли сутенеры и хозяева публичных домов. Грек Синопли перестал икать.

В разгаре игры появился знакомый уже полицейский, но, увидев тараканов, растерялся. Ртищев коротким жестом предложил ему место у стола и стакан водки.

– Еще один заезд, – восклицал Ртищев, – самцы, двухлетки, не кормлены с прошлой недели, злы, как черти. Фаворит – номер третий, Абдулка.

С этого вечера кривая счастья Семена Ивановича круто повернула вверх.

...Слух о тараканьих бегах поднялся из трущоб Галаты и облетел блестящую Перу, и сонный Стамбул, и азиатские переулки Скутари. Работать приходилось почти круглые сутки. В гостинице «Сладость Востока» были выловлены все тараканы. Появились подражатели. Ртищев вывесил на дверях предупреждение, что «только здесь единственные, *патентованные* бега с уравнильным весом насекомых, или *гандикап*».

Семен Иванович относил ежедневно изрядные суммы в банк. И вот настал день, когда растревоженное воображение его устремилось к шумным холмам Перу. Им снова овладела мечта об аристократическом салоне, о графинях и княгинях, сладострастно перебирающих ножками на скамеечках, о самом себе — малокровно-бледном, томном, играющем золотой цепочкой от часов на шелковом жилете фрака. Это видение будило его по ночам, сушило глаза, рвало сердце.

Он давно уже забросил феску и теперь приходил в кофейню в смокинге, галстучке-фокстрот, лимонных перчатках и фетровой шляпе с машинкой внутри, придерживающей складку. Напудренный и молчаливый, он стоял, облокотясь о прилавок, и пустыми глазами смотрел на гостей, шумно и хамски теснившихся у тараканьей площадки. Однажды, перед отходом ко сну, рассматривая свои ноги в трикотажных шелковых кальсонах апельсинового цвета, он сказал Ртищеву:

— Дело в том, что моя мать была в незаконной связи с графом Гендриковым, аккурат за год до моего рождения. Отец меня всегда ненавидел — не знаю почему. Игра судьбы.

Он вздохнул, лег в несоответствующую его вкусам постель и больше не прибавил ни слова. Наутро, в смокинге, с тросточкой, он пошел в Перу, прогулялся мимо шикарных магазинов, купил две гаванских сигары, посидел под балдахином в большом кресле у чистильщика сапог, который только обмахнул его лакированные туфли, кое-кому поклонился, приложив палец к шапочке, и зашел позавтракать в самый шикарный ресторан, к Токатлиану.

– Салат, устрицы, бутылку шабли и сыр, – сквозь зубы сказал он метрдотелю.

Он вынул патентованный предмет – одновременно мундштук, зажигалка, зубочистка, карандашик, пилочка и прочее, – и стал чистить ногти. Он улыбался своим мыслям.

Давно ли это было: в Москве, в кафе у Бома, он показывал девочкам визитную карточку с графской короной? Или харьковские и киевские похождения под видом конта де Незор? Сколько глупостей наделано, сколько зря растрачено денег. Через эти ошибки и падения, мечту и бред – странная судьба, предсказанная цыганкой, вела его к действительной, единственной, подлинной жизни. Десять кож он переменил, объездился, обтерпелся, насобачился. И теперь, продолжая чистить ногти, хотя перед ним уже поставили и устрицы и вино, он чувствовал себя уверенно, как прирожденный европеец, представитель старой, прочной культуры.

«Предположим, я вышел из Мещанской улицы. Предположим, отец мой даже и не Гендриков, а просто Невзоров, державший некогда на Мещанской же улице мелочную лавку. Предположим, что в лесу со мной неприлично обошлись господа офицеры. А кто одет по последней моде?

Кто проглотил сейчас эту вот устрицу? Кто вскарабкался наверх по горе трупов? Кто бесполезное и пошлое насекомое, таракана, превратил в валюту? Я, один я. Позвольте представиться: Семен Невзоров, яркая личность, король жизни».

Семен Иванович проглотил, наконец, с легкой спазмой устрицу. В этот час у Токатлиана он испытывал прилив сатанинского тщеславия. Он был вознагражден за все труды и унижения. Жилистыми шагами он устремлялся вдоль чудесной перспективы, вперед к славе.

Он ясно видел последовательные этапы этого пути. Первое: он открывает в Перу шикарный интимный ресторан с тараканьими бегами и отдельными кабинетами. Для особо избранных будет аристократический салон, – вход только во фраках. В салоне – изысканное кабаре из нестерпимо пикантных номеров. Второе: женитьба на миллионерше, скорее всего – вдове. Вилла на берегу моря, автомобиль, яхта. Третье: он везде и всюду. Он законодатель мод, он рычаг политики. Он председатель банковского объединения, он – злой гений биржи... Четвертое: он встает во главе священного движения. Первым делом он выгоняет из Европы всех русских, без разбору, – вон, крапивное семя! Искореняет революционеров безо всякого стеснения. Напускает террор на низшие классы. Вводит обязательное постановление: нравственные принципы жизни, – немного, правил десять. Но – сурово. Кто скажет слово «революция» – на телеграфный столб. Наконец Семен Иванович объявляет себя *императором*.

– Фу ты, черт! – даже пот выступил у Семена Ивановича на черепе. – Неужели и *это* возможно?.. А почему мне

и не сделаться императором в конце концов?.. Наполеон тоже, говорят, был из мещан. – В голове у него звенело, в глазах прыгали золотые иглы. И будто внутри него проговорил оглушительный голос: *император Ибикус Пер-вый!*

С гаванской сигарой в углу рта Семен Иванович вышел на Перу, все еще самодовольно усмехаясь своим мыслям. В конце улицы он свернул на двор бывшего русского посольства, где теперь помещался какой-то не вручивший грамот присяжный поверенный.

На дворе перед посольством, вот уже третий месяц, сидели на ступеньках, лежали в пыльной траве на высохших клумбах русские, в большинстве – женщины, те, кто уже проел последнее колечко, последнюю юбочку. Здесь они дожидались субсидий или виз. Но субсидии не выдавались, по поводу виз шла сложная переписка. У невручившего грамот не было сумм, чтобы кормить всю эту ораву – душ двести пятьдесят, и души на дворе посольства худели, обнашивались, таяли, иные так и оставались ночевать на сухих клумбах у мраморного подъезда.

Семен Иванович прошелся по двору, чуть-чуть даже прихрамывая и опираясь на тросточку. Нужно было, конечно, много вкуса и воображения, чтобы среди этих унылых женских фигур найти жемчужины его будущего «аристократического салона». Он с трудом узнал несколько знакомых по пароходу, – так эти женщины изменились. Вот девушка, та, которую он тогда прозвал: «котик, чудная мордашка», сидит, опершись локтями о худые колени, личико – детское, очаровательное, но даже какие-то пыльные тени на лице. А ножка, – если ее вымыть да обуть как следует, – *бижутери ...*

Семен Иванович трепетнул ноздрями. «Эта будет первая, назовем ее княжна Тараканова». Он присел рядом с девушкой на ступеньку и разговор начал издалека, отечески добродушно...

Много ли улетело времени с тех пор, когда Семен Иванович Невзоров сидел за кофейником у окна своей комнаты на Мещанской улице? Дзынь – пулька пробила стекло, и засвистал непогодливый ветер: «Надую, надую тебе пустоту, выдую тебя из жилища». Семен Иванович, гонимый тем ветром, закрутился, как сухой лист. И вот он уже перелетел за море, он – в Европе. Богат и знаменит. Перед ним разворачивается роскошная перспектива. Предсказания старой цыганки с Петербургской стороны сбылись. Повесть как будто окончена...

Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович – бессмертный. Автор и так и этак старался, – нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов повести. Он сам – Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и – садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он – король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я несколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон – со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами – он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек

тротуара заманчивая надпись: «Салон-ресторан с аттракционами – *Ибикус*». Семен Иванович нажил большие деньги и женился...

Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись, – поживем, увидим. Поставь точку...»

РЕКИ ОГНЕННЫЕ

1

Ванька-Граммфон да Мишка-Крокодил такие-то ли дружки – палкой не разгонишь. С памятного семнадцатого годочка из крейсера вывалились. Всю гражданскую войну на море ни глазом: по сухой пути плавали, шатались по свету белу, удаль мыкали, за длинными рублями гонялись. Ребята – угар!

Раскаленную пышущим майским солнцем теплушку колотила лихорадка. Мишка с Ванькой, ровно грешники перед адом, тряслись последний перегон, жадно к люку тянулась.

– Хоть глянуть.

– Далеко, глазом не докинешь...

На дружках от всей военморской роботы одни клеши остались, обхлестанные клеши, шириною в поповские рукава. Да это и не беда! Ваньку с Мишкой хоть в рясы одень, а по размашистым ухваткам да увесистой сочной ругани сразу флотских признаешь. Отличительные ребятки: нахрапистые, сноровистые, до всякого дела цепкие да дружные. Нащёт эксов, шамовки али какой ни на есть спекуляции Мишка с Ванькой первые хвататы, с руками оторвут, а свое выдерут. Накатит веселая минутка – и чужое для смеха прихватят. Черт с ними не связывайся – распотрошат и шкуру на базар. Даешь-берешь, денежки в клеш и каргала!

...За косогором море широко взмахнуло сверкающим солнечным крылом. Ванька до пупка высунулся из люка и радостно заржал:

– Го-го-го-го-го-о-о... Сучья ноздря... Даешь море...

Мишка покосился на друга.

– И глотка ж у тебя, чудило. Гырмафон и гырмафон, истинный господь, заржешь, будто громом фыркнешь, я, чай, в деревнях кругом на сто верст мужики крестятся...

В груди теплым плеском заиграла радость... Пять годов в морюшке не полоскались, стосковались люто. Ветровыми немерянными дорогами умчалась шальная молодость и пьяные спотыкающиеся радости... Ванька влип в отдушину люка – в двое рук не оторвешь – глаза по морю запуски, думка дымком в бывье... Мрачные, как дьяволы, мешочники валялись по нарам. За долгую дорогу наслушались всячины. Завидовали житишку моряцкому:

– От ты и знай... Хто живет, а хто поживает.

– Фарт не блоха, в гашнике не пымашь... Кому счастье, а кому счастьеце...

Теплушка замоталась на стрелках. Дружки торопливо усаживали на загорбки мешки свои, обрадованно гудели дружки:

– Чуешь сгольго версд ужег одсдугали...

– Машина чедыре голеса. Пригрохали.

С вокзала неторопливо шли по знакомым улицам. Разглядывали дома и редкие уцелевшие заборы. Попридерживали шаг у зеркальных окон обжорных магазинов, –

слюна вожжой, – в полный голос мечтательно ругались:

– Не оно...

– Какой разговор, все поборол капитал.

– Наша старая свобода была куда лучше ихой новой политики.

– Была свобода, осталась одна горькая неволя.

– Маменька, сердце болит...

Взгрустнулось о семнадцатом-восемнадцатом годочке, очень подходящем для таких делов: грабнул раза и отыгрался, месяц живи, в карман не заглядывай.

– Давить их всех подряд...

– Брось, Ванька... Говорено-говорено да и брошено. Бить их надо было, когда оружие в руках держали, а теперь – грызи локоть...

– Мало мы их били...

– Мало...

Мотнулись в порт.

– Чур не хлопать... Ногой на суденышко, кока за свисток, лапой в котел!

– Ну-ну...

– Охолостим бачка два, шток пузяко трещало.

– Слюной истекешь ждамши-то.

Бухту заметал гул.

Сопя и фыркая, ползали буксиры. Сновали юркие ялики. На пристанях и вокруг лавчонок вилося людье, ровно рябь над отмелью. Корпуса морских казарм, похожие на черепах, грелись под солнышком на горе. Полу-денную знойную тишину расстреливали судовые гудки.

Ванька харкнул на кружевной зонтик дамы, плывущей впереди, коротко проржал, будто пролаял, и повернулся облулпелнорожий к корешку.

– Монета е?

– Ма, – и карманы Мишка выворотил, разбрыливая махорку. Да откуда и взяться деньгам, ежли еще вчера...

– Хха.

– Ххы.

– Вот дело, сучий потрох, умрешь – гроб не на што купить.

– Заслужили мы с тобой алтын да копу, да...

– В три спаса, в кровину, в утробу мать!

Призадержались у лавчонки. Што один, то и другой. Одного направления ребятки.

– Дернем?

– Дернем.

– Майна брашпиль?

– Майна.

– Ха.

– Хо.

Мырнули под крыло двери. Сидели за мраморным столиком, жадно уминали окаменелую колбасу, прихлебывали ледяное пивцо и гадали, какая сольется.

– Ходили-ходили, добра не выходили. Опять не миновать какому-нибудь товарищу в зубы заглядывать.

– Ножик вострый.

– Нашинску братву пораскидали всю.

– Край.

– Во все-то щели кобылка понабилаась, а кобылка – народ невзыскательный – што в зубы, за то и спасибо!

– Вань, щека лопнет.

– Г-гы... – намял Ванька полон рот колбасы и глаза выкатил.

Грохнул Ванька комлястым кулаком по столу и промычал:

– Омманем... Не кручинься, елова голова, омманем...

– Главный козырь – на суденышко грохнутьяся.

– Первое дело.

– А в случай чего и блатных поискать можно.

– По хазам мазать?

– Почему не так? И по хазам можно, и несгорушку где сковырнем.

– Чепуха, – говорит Ванька, – нестоящее дело... Мы с тобой и в стопщиках пойдем первыми номерами.

– Не хитро, а прибыльно.

– Не пыльно, и мухи не кусают.

В гавани – динь-длянь: четыре склянки.

Братки заторопились. За шапки, за мешки, хозяин сче-тами трях-щелк.

– Колбасы пять фунтов...

Мишка засмеялся, Ванька засмеялся.

– Не подщитывай, старик, все равно не заплатим...

Рассовывая по карманам куски недоеденного сыра – от колбасы и шкурок не осталось – Ванька примиряюще до-сказал:

– За нами не пропадет, заявляю официально...

У хозяина уши обвисли.

— Товарищи матросы, я, я...

Покатались, задребезжали счеты по полу... Мишка подшагнул к хозяину и надвинул ему плисовый картуз на нос.

— Старик, ты нам денег займы не дашь?.. А?

Черный рот хозяина захлебывался в хлипе, в бормоте...

Ванька вмиг сообразил всю выгодность дела. Ухватился за ввернутое в пол кольцо, понапружился, распахнул тяжелую западню подпола.

— Живо!

— Бей!

— Хри-хри-христос...

Старика пинком в брюхо в подпол. Западня захлопнулась.

— Есть налево!

— Фасонно.

Деловито обшарили полки, прилавков. Выгребли из конторки пачки деньжат. Сновали по лавке проворнее, чем по палубе в аврал.

— Стремь, Ванчо.

— Шмоняй.

Мишка кинулся в комнату, провонявшую лампадным маслом и дельфиньей поганью.

Ванька из лавки вон. У двери присел на тумбу и, равнодушно поглядывая по сторонам, задымил трубкой.

К лавке подошла покупательница, хохлатая старушка. Ванька поперек.

— Торговли нет, приходи завтра,

— Сыночек, батюшка...

- Торговли нет, учет товаров!
- Мне керосинцу бутылочку...
- Уйди!.. – рассердился матрос и угарно матюкнулся.

Старуха подобрала юбки и, крестясь, отплевываясь, отвалила.

Мишка из лавки, на Мишке от уха до уха улыбка заревом, банка конфет под полкой у Мишки.

- Не стремно?
- Ничуть.
- Пошли?
- Пошли, не ночевать тут.
- Клево дело!

Неподалеку на углу, подперев горбом забор, позевывал мордастый «пес»: в усах, в картузе казенном, и пушка до коленки.

Подкатились к нему. Из озорства заплели вежливый разговор:

– Землячок, скажи, будь добер, в каком квартале проживает крейсер нашинский? До зарезу надо...

– Ищем-ищем, с ног сбились...

Щурился «пес» на солнышко... Судорожным собачьим воем вздвоил позевку и прикрыл пасть рукавом.

– Не знаю, братки...

Угостили дядю конфетами, пощупали у него бляху на груди.

- Капусту разводишь?
- Да не здешний ли ты?

Польщенный таким вниманием, милицейский откачнулся от забора,, чихнул, высморкался в клетчатый платок

и окончательно проснулся... Даже усы начал подхорашивать.

– Мы дальни, ярославски... А зовут меня Фомой... Фома Денисыч Лукоянов... Моряков я страх уважаю... У меня родной дядя Кирсан, может, слышали, на «Варяге» плавал.

Ванька дружески хлопнул его по широкой лошадиной спине.

– И куфарка у тебя е?

– Есть небольшая, – виновато ухмыльнулся Фома, но сейчас же подтянул засаленный кобур и строго кашлянул.

А матросы бесом-бесом.

– Дурило, зачем же небольшая? Ты большую заведи, белую да мяхкую, со сдобом.

– На свадьбу гулять придем.

– Прощай.

– Прощевайте, братишки.

По берегу полный ход.

– По дурочке слилось.

– Ха-ха.

– Хо-хо.

Конфеты в карманы, банку об тумбу.

3

С утра бушевал штормяга. К вечеру штормяга погас.

Из дымной дали, играя мускулами гребней, лениво катили запоздалые волны и усталыми крыльями бились в мол. Зачарованный ветровыми просторами, на горе дремал город, в заплатках черепиц и садов похожий на бродягу Пройди-Свет...

В Ваньке сердце стукнуло. В Мишке сердце стукнуло,
враз стукнули сердца.

– Вот он!.. Родной!

– Вира брашпиль!

Обрадовались, будто находке, кораблю своему.

Кованый, стройный, затянутый в оснастку – сила, не
корабль – игрушка, хоть в ухо вдень.

Топали по зыбким деревянным мосткам.. Топали, уго-
варивались.

– Бухай, да не рюхай.

– Не бойсь, моря не сожжем.

– Расспросы-допросы.. Как да што? Партейные ли вы
коммунисты? Лей в одно: так и так, мол, оно хошь и не
гармонисты, а все-таки парни с добром. Нефть и уголь и
золотые горы завоевали, сочувствуем хозяйственной раз-
рухе и так далее.

– Не подморозим, сверетением.

– Бултыхай: «служим за робу».

– Для них не жалко последнее из штанов вытряхнуть...

Замусоренная бухта круто дышала перегаром угля,
ржавым железом и сливками нефти.

Синий вечер. Кровью затекало закатное око. Качели-
лось море в темно-малиновых парусах.

У трапа волчок.

Шапка матросская, под шапкой хрящ, ряшка безусая,
лох, прыщ, стручок зеленый.

– Вам куда, товарищи?

– Как куда? – упер Мишка руки в боки. – Имеешь ли
данные нас допрашивать?

– То есть, я хотел...

– Козонок.

– – и Ванька, шутя, попытался вырвать у парня винтовку.

Тот зашипел, как гусь перед собаками, вскинул винтовку наизготовку и чуть испуганно:

– Чего надо?

Братки в рев:

– Ах ты, лярва!

– Мосол!..

– Моряк, смолено брюхо!.. Давно ли из лаптей вывалился?

– На! Коли! Бей!

И давай-давай гамить. От их ругани гляди-гляди мачты повалятся, трубы полопаются

Завопил волчок:

– Ваааахтенный!.. Товарищ вааа...

Подлетел вахтенный начальник:

– Есть!

Вахнач такой же сморчок: из-под шапки чуть зная, клеш ему хоть под горлом застегивай, на шее свистулька, цепочка медная, кортик по пяткам бьет.

– Кто тут авралит? Ваши документы.

– Почему такое, бога мать...

– Штык в горло, имеет ли данные?

* * *

В это же время в боцманской каюте старик Федотыч мирно беседовал с выучениками машинной школы Закроевым и Игнатьевым.

Завернули они к нему на деловую минутку да и застряли: любили старика, ласковее кутенка было сердце в нем.

Бойкими гляделами по стенам, по цветным картинкам.
– Товарищ боцман, а это што за музыка?

Гонял Федотыч иголку, бельишко латал, – зуд в руках, без дела минутки не посидит, – гонял боцман иголку и укачивался в зыбке воспоминаний:

– Это, хлопцы, англейский город Кулькута, в расчудесной Индии помещается... Город ничего, великолепный, только жалко, сляпан на деревенскую колодку: домов больших мало.

Оба-два:

– И чего торчим тут? Сорваться бы поскорее в дальнее...

– Расскажите нам, Лука Федотыч, что-нибудь из своих впечатлений.

Обметан быльем, глаз старика легок:

– Впечатлениями заниматься нам было не время... Неделю две треплет-треплет тебя, бывало, в море: могои-и-и-ила...

Бьет и качает тебя море, как ветер птицу... Ну ж, доврешься до сухой пути – пляши нога, маши рука, г-гу-ляй!..

Мокни, сердечушко, мокни в веселом весельице... Раздрайка-раздрайка, бабы-бабы...

Оба парня в думе, ровно в горячей пыли:

– Эх-ба...

– А волны там большие бывают?

Отложил боцман работу, плечо развернул, кремнистым глазом чиркнул по молодым лицам, перемазанным олеонафтом и жирной копотью.

– Дурни...

Помолчал, пожевал губами, строго и торжественно поднял руку.

– Окиян...

Обмяк старый боцман:

– Местечки там есть глыбиной на сотню верст... Можя, и больше, убедительно сказать не могу, сам не мерил, знающие люди сказывали... Одно слово: окиян...

Молодые языки россыпью смеха, молодые языки бойки:

– Ого.

– Эге.

– Страны, народы... Интересно, комсомольцы у них теперь есть?

– Понятно, – подсказал Закроев. – Тянет ветер от нас, ну и там волну разводит...

Старик разохотился, свое высказывает:

– Этого не знаю и врать не хочу... А бабы вот у них е-е-есть... Прямо, надо сказать, проблинатические бабы: за милу душу уважат, так уважат – чуть уползешь.

В наших некультурных краях ноги на нет стопчешь, а таких баб не сыщешь...

И год пройдет, и два пройдет, и пять годов пройдет, а она тебе, стерва, все медовым пряником рыгается...

От хорошей зависти зачесался Закроев, ровно его блохи закусали: сосунок, волос густой, огневой отлив – метелка проса спелого, по дубленому лицу сизый налет, в синеющих глазах полынь сизоперая. Пахло от Закроева загаром, полынью и казенными щами. Наслушался парень, защемило в груди, разгорился:

– Хренова наша службишка... Сиди тут, как на цепи прикованный...

– Хуже каторги...

Старик на растопыренных клешнях разглядывал латки, выворотил подсиненные голодовкой губы:

– Не вешай, моряк, голову...

– Да мы ничего...

– Разве ж не понимаем, разруха. Ничего не вопишешь, разруха во всероссийском масштабе.

– Про берег думать забудь... О марухе, о свате, о брате, о матери родной – забудь... К кораблю льни, его, батюшку, холь...

Так-то, ребяташки, доживете и вы, все переглядите, перешупаете... А пока вникай и терпи. Служба, молодцы, ремесло сурьезное. Где и так ли, не так ли – молчок... И навернется горька солдатская слеза – в кулак ее да об штанину, только всего и разговору. Дисциплинка у вас форменная, это верно, да и то сказать, для вашей же пользы она: жир лишний выжмет, силой нальет.

Игнатьев сказал, ровно гвоздь в стенку вбил:

– Дисциплина нам нет ништо, с малых лет к ней приучены.

– Советские начальники ваше деликатное обращение уважают. Чуть што, счас с вами за ручку, в приятные разговоры пустятся, выкают... С матросом и вдруг за ручку, это дорогого стоит... Эх, коммуна вы, коммуна, ежели бы знали, сколько мы, старики, бою вынесли...

– И мы, Лука Федотыч, не из робких... И мы мяты, терты, на всех фронтах полыскались.

– Ну мы-ста, да мы-ста, лежачей корове на хвост

наступили, герои, подумаешь! Говорено – слушайте, жевано – глотайте.

– Вари-говори.

– Послушать интересно.

– Д-да, так вот еще на памяти, дай бог не забыть, в ту Кулькуту, в индейскую землю, довелось мне плавать с капитаном Кречетовым.

Ох и лют же был, пес, не тем будь помянут, беда... В те поры я еще марсовым летал. В работах лихой был матрос, а вот, поди ж ты, приключилось со мной раз событие: не успел с одного подчерку марса-фал отдать... Подозвал меня Кречетов и одним ударом, подлец, четыре зуба вышиб...

Строгий был капитан, царство небесное... А то еще помню...

В дверь стучок. В дверь вахнач.

– Лука Федотыч, на палубе безобразие.

– Лепортуй.

Вахнач доложил.

– Ежли пьяны, гнать их поганым помелом! – приказал боцман.

– Никак не уходят, вас требуют.

– Меня?

– Так точно.

– Кто бы такие?.. Пойти взглянуть...

На палубе свадьба галочья вроде. Мишка в обиде, Ванька в обиде:

– Штык в горло...

– Собачья отравка... Чырнадцать раз ранен.

И прочее такое.

Боцман баки огненные взбил и неторопливо грудью вперед:

– В каком смысле кричите?

Ванька зардовался, Мишка зардовался:

– Федочч!..

– Родной!..

И старик узнал их. Заулыбался, ровно сынам своим.

По русскому обычаю поцеловались и раз, и другой, и третий.

– Баа... Ваньтай... Бурилин...

– Жив, Федочч?.. А мы думали, сдох давно...

– Каким ветром вынесло?.. Ждал-ждал, все жданки поел.

Волчок с недовольным видом отшагнул, пропуская на корабль горластых гостей.

4

В каюте обрадованный Федотыч с гостями. Помолодели ноги, и язык помолодел, игрив язык, как ветруга морской. Легкой танцующей походкой старого моряка боцман бегал по каюте вприпрыжку и метал на кон все, что нашлось в запасе. Не пожалел и японского коньяку бутылочку заветную, которая с давна хранилась в походной кованной шкатулке.

– Раздевайтесь, гостечки желанные, раздевайтесь, милости просим...

Дружки стаскивали рванину.

– Скрипишь, говоришь?

– Ставь на радостях пьянки ведро

Старик забутыливал и тралил закусками стол.

– Скриплю помалу... Раньше царю, теперь коммуне служить довелось. Чего ты станешь-будешь делать?.. Живешь, землю топчешь, ну, знач, и служи... Давненько не залетывали, соколики, давненько...

– Не вдруг.

– Сквозь продрались.

– Подсаживайся, братухи, клюйте... Корабли по сухой пути не плавают.

Ваньку с Мишкой ровно ветром качнуло:

– Нюхнем, нюхнем, почему не так, взбрызнем свиданьице.

– Пять годков, можно сказать...

Искрились стаканчики граненые, вываливались пересохшие языки: ну, давай...

– Ху-ху, – заржал Ванька и закрутил башкой, – завсегда у тебя Лука Федочч, была жадность к вину, так она и осталась. И нет ничего в бутылке, а все трясешь, выжимаешь, еще капля не грохнет ли...

– И капле пропадать незачем... Ну, годки, держите... Бывайте здоровеньки... Дай вам бог лебединого веку, еще, может, вместе послужить придется...

Чокнулись, уркнули, крякнули.

– Мало... Тут на радостях ковшом хлестать в самый раз!

– Пока ладно. Счас кофею сварю. Где были, соколы?

– Ты спроси, где мы не были?

– Пирь пировали, дуван дуванили...

Кофей в кружки, старик в шепоток:

– На троицу подъявлялся тут Колька Галчонок, из-под

Кронштадту чуть вырвался... По пьянке ухал, что вы с Махно ударяли?

– Боже упаси.

– Огонь в кулак, вонь по ветру.

Наверху языкнули две склянки. Невдалеке суденышко бодро отэхнулось: динь-нь-бом... динь-нь-бом...

И еще бойким градом в лоток бухты зернисто посыпались дини-бомы. По палубе топоток-стукоток – команду выводили на справку, а по-солдатски сказать, на поверку.

– Бессонов?

– Есть!

– Лимасов?

– Есть!

– Кудряшов?

– Есть!

– Закроев?

– Есть!

– Яблочкин?

– Есть!

– Есть!

– Есть!

– Есть!

В деревянном мыке мусолился Интернационал, неизбежный, как смерть, изо дня в день и утром и вечером: в счет молитвы. Гремела команда:

– Шапки на-деть! По своим местам бе-гом!

По палубе хлынул бег, в парусиновую подвесную койку укладывался корабль спать. В Мишке сердце стукнуло, в Ваньке сердце стукнуло, враз стукнули мерзлые, отошальные сердца.

– Кораблюха...

– Распиши, старик, как живете, чем дышите?

Подмоченный коньяком боцман морщился и вываливал новости:

– Живем весело, скучать недосуг. Работа одна отрада, одна утеха, а так ни на что не глядел бы... Назола, не жизнь...

Моряков старых всего ничего осталось, как вихорем пораскидало.. Но оторрвут... Все загребают в свои лапы эти камсалисты, крупа...

Взгалдели:

– Ботай, чудило... Как же без нас-то?

– Мы в гвозде шляпка.

– То-то и оно, шляпки ноне не в почете.

Охнули, ххакнули, задермушились:

– Тузы, шестерки, винёвы козыри...

– Старый моряк... Мы – девятый вал!

Мах рукой просмоленной, обугленной в солнечке.

– Девятый?.. А то идет десятый вал... Полундра! Все накроет, все захлестнет, партийная сила зубаста.

– Эдакого нагородишь...

– Силы – вагон, еще повоюем.

– Крышка, соколы, о прежнем времячке думать забудь.

Нонче куда ни повернись, в ячейку угодишь али в кружок... И мне, старому дураку, кольцо в губу да в тарарам студию. Чуть отыгрался. Ты, говорят, товарищ боцман, будешь вроде купца. Тьфу, мне ли в такие дела на старости лет...

– Ха-ха-ха, зашел Федочч!

– Дела-делишки...

– Бывалошно-то времячко любому сопляку припаял бы

я неочередной наряд в галюн с рассеиваньем, а теперь – шалишь. Как, да што, да на каком основании... Вызовет вахтенный какого-нибудь салагу, тот и начнет бубнить: «почему меня, а не другого? Это не так, да это не эдак...» Башку оторвать мало за такие разговорчики!

– Растурись, старик, огоньку бутылочку-другую, сосет... Денежки у нас е, денежек подмолотили.

– Погазуем!

– Во вкус вошли?.. К фельнеру разя сунуться?

– Крой.

– Пистоны есть, на, держи!

Мишка выбросил на стол пучагу засаленных кредиток. Горели, чадили сердца: бутылкой не зальешь, в море не утопишь... Куды тут... Широки сердца моряцкие, как баржи.

Убежал старик.

– Хха.

– Ххы.

– Во, как наши-то вырываются...

– Эдак.

Федотыч с бутылками. В стаканы разливал по-русски, всклень, через края расплескивал. Рассказывал боцман такое:

– Осталось у нас после белых лодка с дыркой да челнок без дна... И наш корабушка по уши в воде торчал. Котлы были порваны, арматура снята, ржавчины на вершок, травой все проросло. Стук – приказ: «Товарищи, восстановь!»

«Есть!» Какой разговор?.. Есть и отдирай. Взялись. Давай-давай! С чего взяться? Струменту нет, матерьялу

нет, денег нет, хлеба мамалыжного по полфунту в день... В трюмах вода, в рулевом вода, в кочегарке вода, клапаны порваны, отсеки разведены, ну, разруха на тыщу процентов... Качать воду надо. А как ее будешь качать, ежели турбины застонали? Удалые долго не думают, давай вручную мотать... паром. Гнали-гнали, гнали-гнали – глаза на лоб лезут. Стой, конвой! Приходим ватагой до начальника комиссара. «Вам паек?» спрашивает он. «Пак...» – «Нет пайка, товарищи. Разруха, голод, красный ремонт, надо быть сознательными и так далее. Вот, говорит, вам махры по две осьмушки на рыло, а больше ничего сделать не могу. Скоро пришлют, говорит, из центра камсалистов на подмогу, а больше ничего сделать не могу». Закурили мы той самой махры, утерлись да и пошли.

Мишка с Ванькой слушали тяжело, тяжело рыгали, уперев глаза в пол. Федотыч бегал по каюте, вязал слова в узлы:

– Разве ж когда вырывалось из моряцких рук хоть одно дело? Никогда сроду. По щепке склеили, по винту снесли, а сгрохали кораблюшку. Завод же опять помог, шибко помог. Камса поддержала. Ребятишки, а старатели, цепки до дела, прокляты...

– Ты, что же, за лычком тянешься? – спросил Ванька.

– Лычко мне ни к чему, издыхать пора... И совсем тут не в лычке звук.

Подмокли, рассолодели, в руготне полоскались яро.

– Утятя?

– Крупа, говоришь?

– Прямо сказать, пистоны. Никакого к тебе уваженья. Хозяевами себя чувствуют, хозяевами всего корабля, а

может, и всей Расеи. Мы, гыт, принципиально и категорически. Не подойди... Заглянул счас на полубак, там их полно. Кричат, ровно на пожаре.

День в работе на ногах, ночью, глядишь, где бы отдохнуть, а они, сукины сыны, собрание за собранием шпарют, ровно перебесились...

Старик помолчал, поморщился и добавил:

– Политика... И сколько она этого глупого народу перепортила, беды! Пей, ребятишки...

Мишка воткнул в старика тяжелый взгляд:

– Ах, Федочч, рыжа голова...

И Ванька посмотрел на старика быковато:

– Из старой команды остался кто?

– Есть, есть... Ефимка подлец, сигнальщик Лаврушка, шкипер Лексей Фонасич, коком исчо Алешка Костылев, да теперь, слышно, на берег его списывают за хорошие дела.

– Чем они дышат?

– Ефимка в ячейку подался, а эти вола валяют, дела не делают и от дела не бегают.

Боцман, по старой привычке, поймал горсть мух, выжал в стакан, долил горючим и уркнул одним духом.

На стрежне заиграли сердца блестяко.

– Не пофартит, так всей коллегией гайда в Уманьщину гулять!

– Натуральная воля и простор широких горизонтов.

Старик в скул:

– Нет, годки, я свое отгулял. Убежало мое времячко, на конях не заворотишь... Судьба, верно, мне сдохнуть тут.

– Завей слезу веревочкой... Ноги запляшут...

Мишка, захлебываясь пьяной икотой, оживлял в памяти

переплутые радости:

– Жизнь дороже дорогова... Пьянку мы пили, как лошади. Денег – бугры! Залетишь в хутор – разливное море: стрельба, крик, буй, кровь, драка... Хаты в огне! Хутор в огне! Сердце в огне! Цапай хохлушку любую на выбор и всю ночь ею восхищайся!

– И сахар, и калач?

– Уу, не накажи бог.

– Церковь увидишь, и счас снарядом по башке щелк.

– Да, церкви мы били, как бутылки.

– Впереди жизни бежали, так бежали – чоботы с ног сваливались.

*Ой, яблочко
Да с листочками,
Идет Махно
Да с сыночками...*

Дробно чечетку рванул Ванька. Замахал старик руками, зашипел:

– Тишша... На грех старпом услышит, загрызет.

– Качали мы его. Какой-нибудь интеллигент из деревенской жизни.

Федотыч заспорил:

– Ну, нет. Он хотя и не горловой, а в службе строгость обожает. Дисциплинка у них на ять. Камсалисты, понятно, крупа крупной и в работах еще не совсем сручны, но и счас уж кой-кому из стариков пить дадут. Хванц... Ругаться им по декрету не полагается, это зря. Без ругани какой моряк? Слякоть одна, телята...

– А мы в замазке остаемся?

— Зашло наше за ваше...

Сидели Мишка с Ванькой на столе, и все в них и на них играло, плясало. Плясали, метались глаза. Дергались вертляво головы. Прыгали плечи. Скакали пальцы в бешеном галопе.

Трепыхались руки, как вывихнутые. Убегали и скользили копыта. В судороге смеялись, радовались, едко сердились горячие губы, торопливо ползали юркие уши. Зудкая ловкость, узловатая хваткость, разбитые в нет ботинки, вихрастые лохмы, язык в жарком выюхре...

Все в них и на них орало: Скорей, скорей, даешь!

Старик свое дугой выгибал:

— Как-то с весны ходили мы в море котлы пробовать. Ночь накрыла, буря ударила. Закачало, затрепало нас. Авралила молодежь. Ребятчи руки, а было чему подивиться. Клещи! Бегали по команде, ровно гайки по нарезу... Годи-другой, и морячки из них выйдут за первый сорт.

Беспокойно зашебутились дружки:

— Заткнись, за лычком тянешься.

— Крутись не крутись, в комиссары не выпрыгнешь.

Закостерился боцман:

— Растуды вашу, сюды вашу, чего хорохоритесь?

— А мы тебе жлобье, што ль?

— Нашел чудаков!

Ванька плеснул старику на лысину опивками кофейной гущи. Мишка заржал — и в сон, как в теплое тухлое озеро.

Из койки боцман вывалился рано и отправился в обычный утренний обход. Легким шагом топтал кубрик,

жилую палубу. На все кидал зоркий хозяйский глаз. Проверил вахту, зевнул в утро, мелким крестом захомотал волосатый рот и пошел к портному Ефимке за утюгом. Умывался Федотыч с душистым мылом, старательно утюжил суконные шкеры: к капитану, а по-советски сказать, к командиру собирался.

Ванька валялся на полу, поднял Ванька хриплую голову.

– Брось, Федочч, до дыр протрешь... Кха-кха!.. Достал бы ты лучше похмельки.

И Мишка из-под стола голос подал:

– Растурился бы капуста кислой аль рассолу... Истинный господь, кирпич в горло не лезет...

В двенадцать, с ударом последней склянки, втроем в капитанскую каюту: боцман – деревянный и строгий, Мишка с Ванькой – виноватые, опухшие, мятые, ровно какое чудище жевало-жевало да и выплюнуло их. Капитан с кистью. Перед капитаном лоскут размалеванного полотна: море, скалы, облака... Наклонит капитан голову набок, поглядит, мазнет слегка. На другой бок голову перевалит, глаз прищурит, еще мазнет... Шея у него, как труба дымогарная, ноги – тумбы, лапы – лопасти якорные, пальцы – узлы, спина кряж; хороший капитан, старинной выварки. На боцмана по привычке утробно рыкнул:

– Ну?

Федотыч шагнул.

– Мы, Вихтор Дмитрич...

– Подожди. Видишь, я занят.

Мишка с Ванькой глазом подкинули капитана и ни

полслова не сказали, а подумали одно: ежели топить, большой камень нужно... Вспомнился восемнадцатый годочек, когда в Севастополе офицеров топили...

В каюте по стенам вожди, модель корабля, гитара на шелковой черной ленте. К стене прилип затылком трюмный механик Черемисов: жидкие ножки подпрыгивали, сосал сигару, пожалованную самим, рыбий глаз на картину косил.

– Недурственно, знаете... Ей-богу, недурственно... Перелив тонов и гармонии красок, знаете, эдак удачно схвачены.

Капитан упятился на середину каюты, откинул могучий корпус и прищурился.

– Дорогой мой, а не кажется ли вам, что эти камни кричат?

Бесстрашный боцман попятился, а Черемисов закашлялся.

– Камни?... Да, как будто, действительно, того...

– Чаек нет, – сказал Ванька, – а без чайки и море не в море... На озере и то утки, например...

Капитан грозно нахмурился, просветлел, раскатисто расхо-хо-хотался и хлопнул Ваньку по тощему брюху.

– Верно! Люблю здоровую критику! Очень верное замечание... Ты кто такой?

Федотыч:

– Мы, Вихтор Дмитрич...

Утакали, удакали, съэтажили дела по-хорошему. Из каюты капитановой вывалились в богатых чинах: Ванька – баталер, Мишка – кок.

По палубе комиссар. Дружки колесом на него.

– Даешь робу, товарищ комиссар!

– Рваны-драны, товарищ комиссар!

Ванька вывернул ногу в разбитом ботинке. Мишка под носом комиссара перетряхнул изодранную в клочья фу-файку.

– Полюбуйтесь, товарищ комиссар...

– А которы в тылу, сучий их рот...

Комиссар бочком-бочком да мимо.

– Доложите рапортом личному секретарю, он мне доложит.

– Какие такие рапорты, перевод бумаги...

– Дело чистое, товарищ комиссар, дыра на робе всю робу угробит, не залатаешь дыру, в дыру выпадешь...

Братухи дорогу загородили, комиссару ни взад ни вперед Поморщился комиссар, шаря по карманам пенсне. Ни крику, ни моря он не любил, был прислан во флот по разверстке Тонконогий комиссар, и шея гусиная, а грива густая – драки на две хватит.

– Извините, товарищи, аттестаты у вас имеются?

– Вот аттестаты, – засучил Мишка штанину, показывая зарубцевавшуюся рану, – белогвардейская работа...

А Ванька выхватил из глубоких карманов пучагу разноцветных мандатов, удостоверений, справок... Изъясняться на штатском языке, по понятию дружков, было верхом глупости, и, стараясь попасть в тон вежливого комиссара, Ванька заговорил языком какого-нибудь совслужа:

– Пожалуйста, читайте, товарищ комиссар, будьте конкретны... Ради бога, в конце концов, сделайте такое

любезное одолжение... Извините, будьте добры.

Робу выцарапали.

* * *

Клеши с четверга в работу взяли. Уж их и отпаривали, и вытягивали, и утюжили, и подклеивали, и прессовали — чего-чего с ними не делали... Но к воскресенью клеши были безусловно готовы. Разоделись дружки на ять. Причесочки приспустили а-ля-шаля. Усики заманчивые подкрутили. Заложили по маленькой.

— Давай развлеченья искать.

— Давай.

Гуляли по бульварчику по кудрявому, к девкам яро заедались:

— Эй, Машка, пятки-то сзади...

— Тетенька, ты не с баржи? А то на-ка вот, меня за якорь поддержи.

Конфузились девки.

— Тьфу, кобели!

— Черти сопаты!

— Псы, пра, псы...

Ванька волчком под пеструю бабу — сзади вздернул юбку, плюнул.

Баба в крик:

— Имеешь ли право?

И так матюкнулась, Ваньку аж покачнуло. Мишка с Ванькой на скамейке от смеху ломились:

— Ха-ха-ха...

— Га-га-га-га-га-га-га-га-а...

Весело на бульварчике, тоже на кудрявом.

В ветре электрические лампы раскачивались... На эстраде песенки пели... Музыка пылила...

Девочки стадами... Пенился бульварчик кружевом да смехом. Вечер насунул. Шлялись дружки туда и сюда, папироски жгли, на знакомую луну поглядывали...

— Агашенька...

— Цыпочка...

Не слышит Агашка-Гола-Голяшка, мимо топает... Шляпка на ней фасонная, юбочка клеш, пояском лаковым перетянута. Бежит, каблучками стучит, тузом вертит... Ох ты, стерва...

Догнали Агашку, под ручки взяли, в личико пухлое заглянули.

— Зазнаваться стала?

— Или денег много накопила, рыло в сторону воротишь?

— Ничего подобного, одна ваша фантазия...

Купили ей цветов: красных и синих, всяких. Цена им сто тыщ. Ванька швырнул в рыло торговцу десять лимонов и сдачи не требовал: пользуйся, собака, грызи орехи каленные.

Агашка гладила букет, ровно котенка.

— И зачем эти глупости, Иван Степаныч? Лучше б печеньев купили.

— Дура, нюхай, цвет лица лучше будет.

И Мишка поддюкнул:

— Цветы с дерева любви.

Агашка сияла красотой, но печальная была. Пудренный носик в цветки и плечом дернула:

— И чего музыка играть перестала?

Гуляли-гуляли, надоело... Как волки овцу, тащили Агашку под кусты, уговаривали:

– Брось ломаться, не расколешься, не из глины сляпана .

– И опять же мы тебя любим...

– Ах, Миша, зачем вы говорите небрежные слова?

– Пра, любим. А ты-то нас любишь ли?

– Любить люблю, а боюсь: двое вас.

Тащили.

– Двое не десятеро... Ты, Агашка, волокиту не разводи...

– Люблю-люблю, а никакого толку нет от твоей любви...

И Мишка подсказал:

– Это не любовь, а одна мотивировка...

* * *

На корабль возвращались поздно. Пьяная ночь вязко плелась нога за ногу. Окаянную луну тащила на загорбке в мешке облачном. Дружков шатало, мотало, подмывало. Ноги, как вывихнутые, вихлить-вихлить, раз на тротуар, да раз мимо. Травили собак. Рвали звонки у дверей. Повалили дощатый забор. Попробовали трамвай с рельс ссунуть: сила не взяла. Ввалились в аптеку.

– Будьте любезны, ради бога, мази от вшей.

Таращила аптека заспанные глаза.

– Вам на сколько?

– Мишка, на сколько нам?

– Штук на двести...

– Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а!..

С ревом выкатились на улицу.

Мишка-Ванька, Ванька-Мишка разговорец плели.
Ванька в Мишку, Мишка в Ваньку огрызками слов:

– Женюсь на Агашке... Только больно тощая, стерва, мослы одни.

– Валяй, нам не до горячего, только бы ноги корячила.

– Она торговать, я деньги считать.

– В случай чего и стукнуть ее можно, разы-раз и голову под крыло.

– Куды куски, куды милостинки...

– Службу побоку, шляпу на ухо, тросточку в зубы и джаджа-дживала... На башку духов пузырек, под горло собачью радость, лихача за бороду..

– Гуляй, малый...

Собачья радость – галстук. Агашка, у Агашки лавка галантерейная в порту.

6

В железном цвету, в сером gryмыхе кораблюшко. В сытом лоске бока. Шеренгами железные груди кают. Углем дышали жадные рты люков. И так, и так заклепками устегано наглухо. Со света дочерна по палубе беготня, крикотня. С ночи до ночи гулковался кораблюха. В широком ветре железные жилы вантов, гиковых – гуууу-юуууу... Рангоут под железо. Взахлеб-бормотливой болтовне турбин буль-уль-уль-пулькульх: жидкого железа прибой. Дубовым отваром, смолкой хваченная оснастка задором вихревым стремительно вверх, в стороны водопадом, по крыльям мачт хлесть, хлесть. Теплое вымя утра. Кубрик в

жарком храпе. Молочный сонный рот хлябло: пця-пця... В стыке губ парная слюна, по разгасившейся щеке слюна: сладок и мертвецки пьян молодой сон. В каждой груди румяное сердце ворковало голубем. А железное кораблево сердце металось в железном бое.

Сигналист выделявал:

Зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-ууу...

Зу-зу-зу-зу-зу-зу-ууу...

Побудка.

По кубрику бежал Федотыч, за ним вахтенный начальник, старшины. Бежали со свистками, с дудками, с криком, ревом, с крепкой моряцкой молитовкой, ровно с крестным ходом:

– Вставать, койки вязать!

– Э-ей, молодчики, поднима-а-айсь!

– Вставать, койки вязать!

Слаще молодого поцелуя утренний сон, не оторвешься. Из-под казенных шинельных одеял лил, бил крепкий дух теплых молодых тел. Недовольные глаза сердито в начальство.

– Счас, сча...

– Разинули хлебалы...

– Рано, чего бузывать безо время...

В позевотину, в одеяло, в храп. Это те самые разговорчики, которых так не любил старый боцман. И вторым ходом шел Федотыч с шумом, руганью и свирепыми причитаньями. Шутка ли сказать, двенадцать годков боцманил

старик, к лаю приохотился, ровно поп к акафистам. От самого последнего салажонка до боцмана на практике всю службу до тонкости произошел. Каждому моряку с одного погляду цену знал. Крик из него волной, а до чего прост да мягок был старик и сказать нельзя. Вторым ходом шел, стегал руганью большее плети:

– Вставать!

Время в обрез. Всакивали молодые моряки, почесывались... Койки шнуровали, бросали койки в бортовые гнезда. Пятки градом. В умывальне фырк, харк. Краснобаи рассказывали никогда не виденные сны.

– Кипяток готов?

– Есть!

Котелки, бачки, кружки, сухари ржаные, сахару горсть па целую артель. Только губу в кружку – сигнал на справку. Чавкать некогда, все бросай, пулей лети наверх. Прав Федотыч: раньше вставать надо. Пятки дробью. Через полминуты на верхней палубе в нитку выстраивались шеренги. Переключка гремела устоявшимися за ночь молодыми голосами. Капитан с полуюта отзывал Федотыча от строя и морщился: ругань слышал капитан.

– Воздерживайся, старик, приказ, строго...

– Есть – кратко отвечал боцман в счет дисциплины, а самого мутило. Он долго пыхтел, сопел загогулистой трубкой в смысле несогласия.

– Ну? – опрокидывался на него капитан.

Горячую трубку в карман, руки по форме, в просмолку словам договаривал:

– Декрет декретом, Вихтор Дмитрич, а при нашем положении без крепкого слова никак невозможно... И то

сказать, слово не линек, им не зашибешь. Так только, глотку пощекотать...

Капитан в свое время тоже ругаться любил. Сумрачный отвертывался, ломались брови, ломались в злой усмешке сжатые губы. Говорил с откусом капитан, форменная качка в душе, не иначе. Федотыч знал своего хозяина до тонкости, до последнего градуса... Вздрайки ждал...

– Службу забыл, а еще старый боцман!.. Вышибалой тебе быть, а не боцманом военного корабля! Команду распустил! Безобразие! За своих людей ты мне ответишь!

– Есть! – Федотыч мелким мигом смаргивал.

Капитан-то, Виктор Дмитрич, тяжеленько вздохнул, ровно море переплыл, да и давай-давай чесать:

– В строю стоять не умеют. Подтянуть! Первую шеренгу левого борта на два дня оставить без берега! На полубаке вечером песню пели «Нелюдимо наше море» – запретить! Самовольная отлучка с корабля рулевых Маркова и Репина. Неделью без берега и по пяти нарядов! Почему проглядел вахтенный начальник? Расследовать и привлечь! Подробности доложить через полчаса лично... Вчера, после вечерней окатки палубы, плохо протерты колпаки вентиляторов, блеска должного нет. Недо-пусти-мо!.. Виновного наказать по своему усмотрению!

– Есть! – повернулся боцман да ходу: приказ дополнять. Сам вернул его:

– Постой... Погоди.

Тяжелый, как падающая волна, капитан хлопнул боцмана по плечу, жадно взгляделся в его грубое, простой дубки лицо.

– Относительно ругани ты, боцман, безусловно, прав. У

меня у самого язык саднит, а все ж воздерживайся... Да-а.

Капитан вздохнул, вздохнул Федотыч.

— Ничего не попишешь, Вихтор Дмитрич, ба-а-альшущий шторм идет, надо держаться.

— Да, дуют новые ветра. Ничего не попишешь, старик, надо держаться.

Широкой волной, буй-порывами хлестали, ветрили новые веселые ветра.

* * *

Через весь корабль гремела, катилась команда:

— Третьи и седьмые номера, стройся на левых шканцах!

— Шевелись!

— Треть, седьмые номера, на лев шканцы!..

— Подбирай пятки!..

— Треть, седьмые номера...

Бежали боцманы и старшины, начиналась разводка по работам. Солнце на ногах, команда на ногах, команда верхом на корабле. Вперегонышки: швабры, метелки, голики. Плескался песок, опилки. Веселое море опрокидывалось на палубу, заливало кубрик. Глотки котлов отхаркивались корками накипи. Топки фыркали перегаром, зернистой угольной золой. Всхлипывали турбины. Ходили лебедки, опрокидывая кадки шлаку в бортовые горловины.

Крик дождем, руг градом, работа ливнем.

Солнце горячими крыльями билось в мокрую палубу, щекотало грязные пятки, смехом кувыркалось солнце в надраенной до жару медной арматуре и поручнях.

Руки ребячьи, а хваткие, артельные. Глаза — паруса, налитые ветрами.

Глотка у Федотыча о-го-го:

– Давай-давай, живо, ребятишки!.. Бегай!.. Брыкин, бего-о-ом!

Глядеть тошно, когда в самую горячку какой-нибудь раззява шагом идет и брюхо распушит, ровно на прогулке. Башку оторвать сукиному сыну, службы не любит.

– Бега-а-ай!..

Такое у Федотыча занятие, никому из команды ни минуты покоя не дать, всем дело найти. Гонять и гонять с утра до ночи, чтоб из людского киселя настоящих моряков сделать, на то он и старший боцман. В проворных руках сигналистов плескались разноцветные флажки. В утробе кораблиной молодые моряки под присмотром инструкторов моторы перебирали, знакомились с деталями машин. По капитанскому мостику бегал старший помощник: маленький, визгливый, цепкий. Брось в тысячную толпу, сразу узнаешь – военный. Выправка, посадка головы, корпус – орел. Привычка кричать с детства осталась, да и положение обязывало: какой же это к черту помощник, если кричать не умеет? Старпом сердит: вчера спуск флага вместо обычных шести отнял тридцать секунд. Позор, черт знает что, скоты! Старпом угнетен, старпом удручен, он любит точность и свой корабль, плохо спал, до завтрака не дотронулся – в чувствах расстройка. Перегнувшись с мостика, он кричал на полубак, в визге злость жег.

– Не плевать!.. На борту не виснуть!.. Ходи веселей!.. Назаренко, два наряда!..

На полубаке, на разостланном брезенте, чтоб палубу не вывозить, разметались сменившиеся с вахты кочегары. Солнце лизало их шкуры, пропыленные угольной пылью,

ветер продувал легкие. Кочегары с мрачным весельем поглядывали на мостик и переговаривались вполголоса:

- Лай, лай, зарабатывай хлеб советский.
- Злой что-то нынче...
- Он добрым никогда и не был.
- Держись, палубные, загоняет.
- И чего, сука, орать любит?
- Дворянин, да к тому еще и юнкер, аль не видал анкету-то?
- Аа-а...
- Оно и похоже...

Шлюпки на рейде в голубом плеске: гребное ученье. В такт команде размеренно падали весла, откидывались гребцы,

- Весла!
- По разделеньям, не спеши!
- На во-ду! Раз, два!..
- Раз, два!..
- Навались!..
- Оба табань!..
- Суши весла!..
- Шабаш!..
- Запевай!..

Загребные заводят:

*Во, тече течет река-а-а-а,
С речки до-о-о-о-о по-то-ка
За де-евочкой матрос
Гонится-а- а-а да-ле-ко.*

Гремела сотня глоток:

*Год проше-е-ол, и дочь идее-е-о-о-т
К матери у-ны-ло,
На рука-а-ах у ней лежи-ит
Матросе-о-о-о-нок ми-лый.*

Море качелилось, песня качелилась, качелились
блесткие крики чаек.

* * *

Зу-зу-зу-зу!.. Зу-зу-зу-у!..

Сигнал на купанье. Команда по борту.

Федотыч бодрит левофланговых:

– Гляди, не робей... Воды не бояться, не огонь.. Казен-
ное брюхо береги... Снорови головой, руками вперед!

– Есть!

Боцман руку на отлет:

– См-и-ирна!

Шеренга замерла.

– Делай, раз!

Рубахи на палубу.

– Два!

На палубе штаны.

– Три!

Лятки за борт.

В пене, в брызгах сбитые загаром тела Горячие брызги
глаз. Пеной, брызгами крики. На борту Федотыч махал
руками, кричал, его никто не слушал.

– Го-го-го-го-го-го-го-го-о-о-о-о-о!..

В обеденном супе редкая дробь крупы и ребра селедочки. На второе – по ложке пшена. Выручали ржаные сухари.

– А! – коротко выругался оглушенный казарменной жизнью комсомолец Иванюк.

– Ладит, да не дудит, – отзывался какой-нибудь посмелее.

Никогда не наедающийся Закроев мрачно гудел ругательства.

– Закроев, ты же в комиссии по борьбе с руганью

– А ну их...

Поговорят так-то, да и ладно.

В послеобеденный час отдыха или по вечерам набивались в красный уголок, потрошили газеты, библиотекаря и буржуазию всего мира.

На полуюте – кольца, гантели, русско-французская. Заливались балалайки. Ревел хоровой кружок.

Динь-ом... Динь-ом...

Зацветали корабли огнями. Спать полагалось семь часов и ни минуты больше. Ночью в кубриках и по палубе молодые моряки метались во сне, сонно бормотали:

– Эжектора... Трубопроводы... Клапаны... Магнитное поле... Контргайка... Товарищи градусы...

Ходовые, деловые Мишка с Ванькой, не шпана какая-нибудь. Широкой программы ребятки. Оторвыши разинские, верно. И отчаянность обожают, тоже верно.

Матрос... Слово одно чего стоит! Надо фасон держать. Да и то сказать, бывало, отчаянность не ставилась в укор. Все прикрывал наган и слово простое, как буханка хлеба. Это в наше растаковское времячко телячья кротость в почете. В почете аршин, рубль да язык с локоть. Никогда, никогда не понять этого Мишке с Ванькой, не на тех дрожжах заквашены.

Бывало... Эх, говорено-говорено да и брошено!

Бывало, и в Мишке с Ванькой ревели ураганы. И через них хлестали взмыленные дни: не жизнь – клюковка.

Леса роняли.

Реки огненные перемахывали.

Горы рвали.

Облака топтали.

Грома ломали.

Вот они какие, не подумать плохого.

Не теперь, давно, в Мишкиной груди, в Ванькиной груди, как цепная собака по двору, метался ба-альшущий бог: клыкастый бог, матросский. С ним и авралить любо. Никакие страхи не страшны. Дашь и – гвоздь!

Гайдамака в штыки.

Буржуй... Душа из тебя вон.

Петлюру в петлю.

На Оренбург бурей.

По Заказанью грозой.

Волгой волком.

Урал на ура.

Ураган на рога.

Дворцы на ветер.

Шумели, плескались реки огненные... Шумела сила
тягловая... Дымились сердца косматые... Цвела земля
волнами гудливыми.

Забрало язычок.

В те разы, да ежели бы на все вожжи пустить...
Наскрозь бы весь белый свет прошли. Табунами пожаров
моря сожгли бы, горы посрывали...

А тут, на беду да на горе, – стоп, забуксовала машина.

Хвать-похватъ: дыра в горсти.

Измочалился бог – ни кожи ни рожи. Так, званье одно,
бог да бог, а поглядеть не на что. Слов нет, в огневых-то
переплетах и ребята вдрызг уездились. От жары волосы на
башке трещали, глаза лопались, на шкуре места живого не
осталось, все в синяках да ссадинах.

В уголь ужглись, укачало, утрепало...

Ну, а все-таки не валились. Руки делали, ноги бегали,
одним сплетом глотки гремели:

– Дае-е-е-о-о-шь! В бога, боженят, святых угодников!..

Не вытерпел бог удали матросской, околел: вонь, чад,
смерд, в нос верт. Ни хомута, ни лошади. Кнут в руках,
погонять некого.

Тоска, смертный час, тошнехонько.

Нынче теплушка, завтра теплушка. На одной станции
недельку поторчат, на другую перебросятся, там недельку
покукуют. Винтовки заржавели, пулеметы зеленью по-
дернуло. Девочек развели. Девочки подбирались на ять. И
не подумать, чтобы насильно или там за глотку. Ни-ни.
Избави и не приведи. Моряк на такую программу не пой-
дет. Ну, а как это срисует девочку грубую, сейчас к ней

подвалится, сармачком тряхнет, начнет американские слова сыпать: абсолютно, вероятно и так далее...

А той известно чего надо, поломается немного да и:

– Ах, мое сердце любовью ошпарено!

Тут и бери ее на прихват. В теплушках печки чугунные, нары, мешки вещевые, узлы с барахлом, белье на растянутых бечевках. Днем на базарных столиках счастье вертели, пожирали жареную колбасу, скандалы запаливали, били жен и бутылки. Через всю ночь на легких катерах катались. Станции да полустанки, коменданты давши... Откуда-то подъявились штатские агитаторы и давай руками махать.

– Товарищи, трудфронт... Меняй винтовку на лопату и молот... Бей разруху...

Братки в скуку.

– Хха.

– Ххы.

– С чего такое?

– Што мы вам, фравера?

– Сучий потрох.

– Топор курве в темячко.

Голоса вразнобой. В глазах у всех темно, ровно в угольных ямах. Братки кто куда. Мишка с Ванькой в лёт...

Юрки ключи вешние, теклые сливачи. Сильна, жгуча вешняя вода, заревет, не удержишь. Вволю тешься, сердце партизанское. Кровью плещись по морям, по пыльным дорогам. Полощись в крутых азиатских ветрах. Полным ртом жри радость.

Хлебай гремучие кипящие просторы. Хлебай медовые зерна деньков вольной волюшки.

Широки степя.
Неуемны озорные ветра.
Кровь сладка.
Пляско вино.
Буй огонь, кипуч огонь.
Хлюпки росы.
Говорлючи журчы.

Девочки – алый цвет, голубушки мягки, хоть в узел
вяжи.

*Я на бочке сижусь,
Ножки свесила,
Моряк в гости придет,
Будет весело...*

- Сади!
- Гвозди.
- Рвись в лоскутья, колись в куски!
- Шире круг!
- Давай, дава-а-ай!

Раскаленную докрасна печку пинком за дверь.

– Сыпь, все пропьем, гармонь оставим и б...ей плясать
заставим...

Ноги пляшут, теплушки пляшут, степя пляшут...

В болотах тихой зелени стоячие полустанки, затканые
садочками. В окошках цветочки, занавески марлевые –
чтоб комары не кусали! – тухлые сытые рожи в окошках.

- Почему такое?
- В кровь, в гроб с перевертом.
- Бей!

Бух, бух, зинь... зянь... бух, бух!

Машина: – Ду-дууу-ду!

Поехали, запылили.

Машинисту браунинг в пузо:

– Гони без останову.

– Куда?

– Куда глаза глядят... Гони и гони, только в тупик не залети.

– Слушаюсь.

– Полный ход.

– Котлы полопаются.

– Крой, чего насколько хватит!

– Подшипники перегреются.

– Полный ход, душа вон и лапти кверху.

– Есть.

– Рви.

Та-та-та... Та-та-та... Та-та-та...

Та-та-та... Та-та-та... Та-та-та... Та.. та.. та...

Ш-пш... Ш-пш... Шш-ш-ш...

Та-та-та... Да-да-да... Да-да-да...

Паровоз в храпе, паровоз в мыле, пыль пылом...

Густо плескались, пылали тяжелые ветра... Пылали, плескались зноем травы... Поезда бежали, зарывались в горы с разбегу пробивали туннели. Табунами бродили пожары... Бежали сизые полынные степя... Дороги шумели половодьем. Вытаптывая города и села, бежали красные, белые, серые и че-о-орная банда. Кованные горы бежали,

дыбились, клещились. Бежали, как звери, густошерстные тучи, хвостами мутили игравшие реки.

Партизаны бежали, падали, бежали, плевались тресками, громами, бухами, хохом, ругом... Залпами расстреливали, бросками бросали наливные зерна разбойных дней.

Всяко бывало – и гожее и негожее – всего по коробу.

Жизня, сказать, ни дна, ни берегов...

Сдыхал бог и каждому по два клейма выжег:

Отчаянность и Не зевай.

Все бывалошное-то уплыло, сгнуло, будто и не было ничею. Мишка с Ванькой, приплясывая, своим шляхом бежали, одним крестом крестились, одной молитовкой молились – Не зевай – а больше и не было ничего, не было и не было...

В корабле как?

Шаля-валя, нога за ногу. Жили-поживали потихо-легонечку.

Котел да баталерка – костер. Опять и заповедь подходящая, знай гребь деньгу лопатой. Отсобачил кусок и в кусты. Да ведь и то сказать, до кого ни доведись, как можно муку таскать, да в муке не испачкаться? Чего тут косоротиться, говорить надо прямо.

Дело идет, контора пишет, Ванька-Мишка денежки гребут.

Деньги родник, одевка грубая, а поди ж ты, не кажется дружкам жизнь кораблиная. Корявая жизнь: ячейки разные одолели, школы, культкомиссия, закружили кружки.

Что ни день, что ни час, как из прорвы, – собранья, заседания, лекции, доклады и все об одном и том же:

– Мы товарищи, да вы товарищи...

Больше и не поймешь ничего, ни в какую.

Мишка с Ванькой до комиссара.

– Так и так, товарищ комиссар... Как мы есть сознательный элемент, товарищ комиссар, просим от политики освободить...

Комиссар и рыло в сторону.

– ...Сучья отравя, ни погулять тебе, ни што.

И с крупой, из-за всяких таких делов, походя схватки. Первый шухер из-за пустяка слился. Член какой-то комиссии в умывальне зубы чистил. Мишка щелчком сшиб в раковину зубной порошок:

– Дамское занятие... – и пошел. А разобиженный паренек и зыкни вдогонку:

– Не больно швыряйся, ухверт!

– Што будет, – обернулся Мишка через плечо, – ты, пацан, не побей кой-грех...

– А что, думаешь, на твою харю и кулака не найдется?

Мишке обидно показалось, обернулся и парню в скулу.

– Гнида, счас от тебя одну копию оставлю.

Хлопчик с копыт долой, со смеху покатился. Потом вскочил. Сладить не сладит, а кинулся на Мишку. Тот еще раз сунул его. Сцепились – не разнять. Да подвернулся тут дюжий кочегар, Коська Рябой. Сгреб он члена какой-то комиссии в охапку, да за борт, только этим и разняли.

В тот же день собрали собрание общее Мишку судить-рядить.

– Почему такое – суд? Разговор один и больше ничего. – Черные Мишкины брови полезли на лоб от удивления: – Какое дело?... Ну, ударил... Ну, подрались... Тычка бояться – жить на свете не надо!

И Ванька голос подал:

– Какое же это избиение, и хлестнул-то только раз, всего ничего...

– Два чищенных зуба вышиб.

Мишка виновато качнул лохматой башкой.

– Рука у меня чижолая.

Фитильнули Мишке строгий выговор, а ему хоть бы хны. Об обедах и говорить нечего.

Кому из своих зачерпнет Мишка из котла невпроворот, хоть ложку в бачок втыкай, а молодым голый воды плеснет.

Сядут ребята над бачком, фыркают-фыркают, берега не видать... Мишку похваляют:

– От, стервец, накрыть его втемную или бачок с горячими щами на башку надеть...

Чумная крупа... От голодной тоски в строю падали и глаза под лоб. А Мишка верхом на котле, посмеивался Мишка:

– Собранья у вас с утра до ночи и разговоров много, а жрать не хрена. Воды, верно, вдоволь. В море воды хватит.

Кают-компания опять развелись, начальников полный комплект. Слыхано ли, чтоб моряк голодал? В бога мать... Заходи в любой дом, вытряхивай буржуя из штанов, рви глотки начальникам и комиссарам... Эх, ячеишны вы моряки, пропадете, как гниды...

Гром упал, подходящее житышко вдребезги. Мишку с Ванькой за чубы.

– Завалились?

— Какие данные?

— Так и так.

— Ага.

— Угу.

Вылезла комиссия по очистке от элементов. И сразу, не говоря худого слова, Мишку за ухо.

— Ваша специальность?

— Комиссар Драгомиловского района Великой Октябрьской революции.

— То есть?

— Не то есть, а истинный борец за народные права, борец безо всякого недоразумения, на что и могу представить свидетелей.

— Ваше занятие на корабле?

— Какое у нас может быть занятие? В настоящий момент я кок, а в семнадцатом — революцию завинчивал, офицеров топил, а также был членом в судовом комитете.

— Тэк-с...

Переглянулась стерва-комиссия.

— Бурилин, придется вас списать с корабля... Уставший элемент — раз, специальность малая — два.

— Понимаем, отслужили, понимаем, — и огорченный Мишка отошел от стола.

И Ваньку взяли за жабры:

— Ваша специальность?

Глазом не моргнул Ванька:

— Электрик и трюмный машинист.

— Что знаете о водоотливной системе?

— Ничего не знаю.

— Каково назначение кингстонов?

– Твердо не помню.

Перемигнулась стерва-комиссия и ну опять, ровно неразведенной пилой:

– Представьте, в главной магистральной цепи сгорела ответвительная коробка, как исправить?

– И к чему вся эта буза, товарищи? – закричал Ванька. – Не могу спокойно переносить, товарищи... Мое существо тяготится переполнотою технических и политических оборотов...

Ах, в бога–господа мать!..

Схватила Ваньку кондрашка, покатился парень...

Бился Ванька об пол головой, пена изо рта... Придерживали его Федотыч да Мишка:

– Псих.

– В натуре.

– И зачем человека терзать, здоровье его в болезненном виде...

9

На другое утро, раздетые и разутые, с тощими мешками на горбах, уходили Мишка с Ванькой. С трапа обернулись, в последний раз любовно оглядели корабль, и в молодую команду, выстроенную на палубе, – глаз занозой:

– Ууу, крупа...

Ваньку-Граммфона и Мишку-Крокодила провожали загорелые глаза. В глазах мчались новые ветра и пересыпалось молодое солнце.

СЕДАЯ ПЕСНЯ

За Салом, в глухой степи, где вздыбливаются встречные ветра да яростно клекочут бездомные беркуты, грудастый донской жеребец настиг калмыцкую кобылицу.

Длинногривая летела, распластываясь над травой, металась из стороны в сторону, а грудастый напористым галопом шел по следам и, равняясь с ней, ржал буйно и не терпеливо.

Длинногривая не сдавалась. Она хлестала копытами в грудь дончака, кидалась на него с оскаленными зубами. Уши ее были плотно прижаты, а глаза цвета синеватой нефти, казалось, вот-вот брызнут огнем беспредельной ярости. Это была самая дикая лошадь из калмыцких табунов.

По всей степи носились скакуны, вспугивая медных кобчиков, перемахивая через буераки, птицами взметываясь на курганы. Трава горела под их копытами. На просторе калмыцких кочевий грудастый смял и растоптал упорство длинногривой...

* * *

— Моя мало-мало приплод есть, — сказал опаленный зноем калмык, и его лунообразное лицо засияло.

— Э-ээ, не скажи, Учур. Жеребец-то ведь мой? — неторопливо ответил ему казак.

Калмык запротестовал:

— Ну так что ж, бачка? А кобыла мой, приплод тоже мой, бачка!

– Ну нет... Шутишь ты, Учур... И не по-христиански судишь. – Казак строго помотал пальцем перед раскосыми глазами калмыка. – И где это написано, чтоб кобыла святым духом? А? Н-ни-и-и-где! Кобыла што – пустое место! Эт жеребец туточки винова-а-ат. А жеребец, я тебе говорю, мо-о-ой, – тянул казак. – Стало быть, и о приплоде речи не может быть, окромя как мой, – да и только.

Калмык был уничтожен такими доводами, но отказаться от высказанной мысли не мог.

– Ну, как же, бачка... Мой кобыла ведь, – отчаянно упорствовал он.

– Эх ты, душа астраханская. Да я ж тебе... – И казак снова начинал втолковывать калмыку свою правоту и обещать, что его бог покарает за жадность. Для большей убедительности казак то повышал голос до крика, то понижал до шепота. Калмык слушал и обливался потом.

Полдень застал их в кибитке Учура. Они пили кумыс и продолжали препираться. Эти два человека представляли прямую противоположность друг другу. Калмык был сонлив, неуклюж и колченог. Ходил он вразвалку, а бегать, как и все калмыки-наездники, не умел. Казак же, наоборот, был гибок и прям. Во всех движениях его скользила уверенная лень, а в глазах постоянно вспыхивали лукавые огоньки. Незаметно разговор их отклонился в сторону. Калмык, замирая от страха и любопытства, осторожно выспрашивал...

– И он все может?

– Как пить дать, – утверждал казак, прихлебывая белую жижицу. – Скажем, согрешил ты – не отдашь мне приплод, а бог тут как тут. Ты что ж, говорит, Учур, жеребенка-то

Максимова зажил? А? А рази ж, спросит, такой уговор у вас был? Ну и... – Казак оборвал и потянулся за кисой³.

– Ну и что, бачка?

– И-и-и, не говори. Осерчает!

– Осерчает?

– Дюже!

Натешившись над калмыком, Максим поднялся с кошмы и вышел. В кибитку донесся его голос:

– Значит, столковались, кунак? Коли кобылка – будет твоя, а жеребчик – мой. Так, что ли? А со счастливого – четверть водки магарыча.

Учур, слышав о водке, закивал головой, заулыбался, блестя глазами. Казак вскочил в седло, поднял плетъ и, припав к вытянувшейся шее лошади, растаял в июльском мареве...

А через год, когда степь снова задымилась пестротканьем, Учур появился в станице, во дворе Максима, и закричал пронзительным голосом:

– Моя приплод привел, ставъ водка!

Вокруг кобылицы калмыка вертелся тонконогий жеребенок и уморительно прыгал. Максим засмеялся, вспомнив прошлогодний спор.

– Афонька, беги в кабак, – приказал он младшему сыну.

Пока тот бегал, Максим успел рассмотреть жеребенка. С первого же взгляда этот смешной упрямец сильно понравился казаку. Опытный глаз быстро приметил и оценил в нем задатки скакуна.

Прибежавший из монополюшки Афонька поставил чет-

³ Киса – чашка.

верть на стол, достал из погреба соленых огурцов, винограду, порезал пшеничный бурсак, и под черешнями, склонившимися над столом, закипела попойка. Кончилась она тем, что вконец захмелевший калмык в ночь уже сел на выменянного за свою длинногривую поджарого мерина и уехал обратно в степь, икая и распевая песни.

Пел о том, что звезды указывают ему дорогу к кибитке, что из жеребенка вырастет хороший скакун и дадут за него целый табун коней, а Учур подарил его казаку за четверть водки.

* * *

На заре, когда казачки, прогоняя коров в табун, петухами перекликаются, приветствуя друг дружку, Максим снова осмотрел сосунка.

– Толк выйдет. Должен выйти, – уверял он себя. – Ну, ну, шельма, – ласково грозил жеребенку, который, собиравшись в комочек, норовил лягнуть хозяина. – Ишь ты, азиат!

С этого дня Максим стал растить и холить жеребенка. Каждое утро гонял его по траве, чтобы копытца, вымытые росой, крепили и не были ни хрупкими, ни мягкими. Часто купал его, чистил, кормил как-то по-особенному и никого не подпускал к нему. «Пусть одного хозяина имеет», – думал он. Жеребенок знал голос Максима и, гремя копытцами, стремительно летел на его зов, прыгая через собак, растянувшихся на солнцепеке, свиней, опрокидывая ведра и все, что попадалось ему на пути. Максим так ревностно заботился о своем любимце, отдавая ему все свои помыслы, что тот и в снах стал прыгать перед ним, буйно веселясь. А казак, опасаясь за целость его ног, испуганно кричал: «Го! Го!» – и, просыпаясь, бежал в конюшню.

Где бы ни был Максим, у соседа ли, в станичном ли кабаке, он неизменно затевал разговор о жеребенке.

– Ну, брат, и конь у меня, ну и конь – и-и-и, – тянул он, сладко закрывая глаза и подперев щеку ладонью. – Конь... конь... картинка! – крутил Максим головой. И вдруг, встрепенувшись и вытаращив глаза, грохал кулаком по столу и хрипел, перегибаясь к собеседнику:

– Знаешь... Ни у кого нет такого! Ни у кого!

– Рано хвалишься, Максим Афанасьевич. Ешо ничево не видно.

– Брешешь!

* * *

Долго казак ломал голову, выдумывая, как бы позанозистей назвать жеребенка. Извелся, а не мог подыскать подходящего имени своему любимцу и пошел к атаману. Тот сидел в палисаднике в одних кальсонах и, изнывая от жары, тянул ирьян.

– Зови Ханом, – посоветовал он. – И коротко и хорошо, а к тому же и конь твой из азиатов, – глубокомысленно dokonчил атаман и напросился на магарыч.

– Это как будто подходяще, – согласился Максим.

С тех пор только и было слышно в его дворе:

– Хан, чертова голова, куды лезешь, – гудел старший сын Гришка, отгоняя жеребенка от мешков с мукой.

– Ха-а-ан, – ласково кликал сам Максим.

– Хан, проклятущая животина, – вопили бабы, заметив, как озорной сосунок топчет цыплят. – У-у, идол пучеглазый, бодай тебе покорежило!

Жеребенок срывался с места, взбрыкивая, летел в дальний угол двора, мчался обратно и, вздыбливаясь, насакивал на баб. Те визжали переполошливо и лепили на Хана ядовитейшие ругательства. Максим, прислонясь к амбару, покатывался со смеху.

– О-ххо-хоо! Ой-ой, умори-и-или, – болтал он руками и под яростные взгляды баб покатывался еще пуще и перегибался пополам, как надломленный тополе. А потом он угощал любимца бубликами и сахаром.

Домочадцы роптали:

– Связался черт с грешной душой. То, бывало, во двор не заманишь, а теперь со двора не выпроводишь. Покою нет.

А Максима словно и не касалось это. И лишь когда кто-нибудь вооружался увесистым поленом, намереваясь вздрючить провинившегося бесенка, он выступал на защиту:

– Я тебе...

И покушавшийся, охлажденный грозным окриком, моментально забывал о своем гневе и прощал Хану все его прегрешения. Обрывать Максим любил и умел. Лет пять назад он коротко объявил собравшейся полудневать семье:

– Ну, детки, наживайте, а я вам не слуга боле. Будя, поработал. – И довольным взглядом обвел свой богатый двор. – Ишь добра-то!

Домочадцы переглянулись. Сыновья закашляли, бабы прижухли. Пелагея, сидящая жена Максима, встала и поклонилась мужу:

– Твоя воля, батюшка. И на этом спасибо.

А Гришка, скупой и расчетливый, чуть не плача, загундосил:

– Дык как же так, папаша, покос вить подходит. Мыслимое ли дело?

– Зась... горлан, – грохнул Максим. – Работника наймите.

И среди тяжелой тишины вышел из-за стола.

С того дня он дома бывал реже, чем ненастье среди летней поры. Либо он сидел в станичном кабаке, который держал грузный казак Свирякин, либо мотался по ярмаркам, покупая и выменивая лошадей. Лошадником Максим был страстным. Все маклеры, конокрады, цыгане области знали его и в глаза и за глаза. Погулять Максим всегда был не прочь. Часто, прокутив все, что бывало у него на руках, он лимонил ключи у задремавшей супружницы и тихонько пробирался в амбар. Пять-шесть приятельских тачанок воровски подкатывали ко двору, мигом нагружались тяжелой пшеницей. А потом Максим снова гулял несколько дней. Когда же Пелагея бодрствовала, а Максиму лень было воровать у калмыков коней на пропой своей души, он промышлял по мелочи.

– Бабка, колесо-то у тачанки совсем покорежилось, – говорил он деловитым тоном. – В кузню надо бы.

– И то верно, – соглашалась Пелагея. – Вот ужо Гришку пошлю.

– Дождешься твоего Гришку. Лодырь губастый. Отец не сделает, так никто не подумает. – И Максим, продолжая ворчать, снимал с тачанки колесо и катил его по улице перед собой.

У церкви Максим останавливался, набожно крестился и, оглядываясь по сторонам, сворачивал в переулок, где ульем гудело свирякинское заведение. Колесо обыкновенно домой не возвращалось.

– Починяет кузнец, – отмахивался Максим на все вопросы домочадцев.

Хан привязал Максима ко двору. Незаметно прошло три года. Из нескладного жеребенка вырос точеный красавец скакун. Легко, по-оленьи, носил он свое тело на тонких ногах и мог долго скакать, не уставая. В его экстерьере не было ни одной задоринки. Знатоки ахали и часами любовались могучим длинно-скошенным плечом, высокой холкой и глубокой грудью. Каждый из них считал долгом, прощупав пах и крестец Хана, многозначительно крикнуть.

Передние ноги скакуна были поставлены узко, а задние широко и прямо, так, что от маклака и до подошвы копыта с внешней стороны можно было провести совершенно отвесную линию. Такая постановка ног у скаковых лошадей – многообещающий задаток. Масть Хана была удивительно красивой: не гнедая, не рыжая, а светло-золотистая с переливами.

От матери ему досталась рыбья гибкость и волнистая грива, а от грудастого отца – напористость в беге, белые чулки на все ноги и в лоб маленькая звездочка с проточинной до самого храпа.

Даже и тогда, когда Хан стоял, в нем чувствовалась напряженная готовность сорваться подобно тетиве. А когда скакал, то конечностей ног не было видно, и казалось, что летит он, не касаясь земли. Всадник же видел отшлифованную струю чугуна, бешено бьющую навстречу.

Зависть и удивление, половодьем разливающиеся вокруг Максима, еще больше возбуждали его гордость и делали его недосыгаемо счастливым. О продаже Хана он и думать не хотел.

– Голову клади – не отдам, – говорил покупателям.

Сотник Сафронов прилип к Максиму, как цимлянский репей к собачьему хвосту. Продай да продай. Они стояли посреди двора и вели горячий разговор. Сотник давал уже за Хана тысячу рублей, но Максим упрямо крутил головой. Тогда молодой офицер выхватил из кармана щегольского кителя пачку кредиток и сунул ее Максиму.

– На, бери, тут три тысячи... больше не имею... на, давай коня.

Максим отстранил деньги.

– Отдай, – чуть не заплакал Сафронов и, сорвав с головы сиреневую папаху, ударил ее оземь.

– Не отдам, – отрезал Максим, швыряя свою.

Сотник побагровел, как спелая слива, резко повернулся и пошел, рубя шаги. У калитки он громко плюнул и так рванул ее, что крашеный частокол задрожал и загудел. Максим же, тихо посмеиваясь, глядел ему вслед.

– На десять, ваше благородие, только отвяжись...

На Успенье в станице открывался кермаш⁴, и казаки стали готовиться к скачкам. Максим готовился уже давно. Целую неделю кормил он Хана сухарями, на зорях, чтобы никто не видел, проминал его в займище, а на ночь смазывал ему ноги свежим коровьим маслом. Сам же он почти ничего не ел, спал на голой земле, чтобы стать легче, и даже бросил пить. Казак волновался и нигде не находил себе места.

Утром, в день скачек, Максим открыл двери конюшни. Хан встретил его, гремя кованым ржаньем и нетерпели-

⁴ Большая ярмарка, на которой торгуют главным образом скотом.

выми копытами. За это утро домочадцы сбились с ног, снаряжая своего хозяина на праздник. Гришка оправлял новое седло с серебряным набором, Афонька выколачивал потники, а бабы украшали уздечку разноцветными лентами, Максим, стараясь казаться степенным, осматривал подковы Хана. Недавно он собственноручно перековал жеребца, а потому осмотром остался вполне доволен.

– Ну, Хан, смотри не выдавай, – тихо обратился он к своему любимцу и заискивающе погладил его ладонью. – Уж я ли тебя не кохал...

Через час Максим, красуясь бравой посадкой, выезжал со двора. За воротами Хан плавно, как волна, поднялся на дыбы, так же плавно опустился и, чуть покачиваясь, пошел легко, играючи. «Хороший знак», – подумал Максим.

На кермаш съезжались со всего Дона. Были тут и строгилицы, бородатые, словно с икон сошедшие, старообрядцы из глухих хуторов и заимок, цыгане и цыганки, наглые и крикливые неряшливые пастухи с западных степей и диковатые калмыки с дальних кочевий. В этой пестрой толпе шныряли маклеры из Ростова с непомерно толстыми цепочками на жилетках и нафабренными усами.

Кермаш клокотал, захлебывался в зное, в пронзительной разноголосице.

На вечер орда степняков перекатилась к станичным садам, где сидельцы уже врыли призовой столб и провели плугом глубокую борозду – грань, заходить за которую воспрещалось. Максим беспокойно ерзал в седле, отыскивая чужих скакунов – соперников Хана. «Колыхалины скачут, Дохновы, – молчаливо отмечал он, – вон и фетисовская кобыла. А это? Э-э-э, да и Фроловы скачут». Перед

Максимом мелькнул на горбоносом донце продувной и плутоватый Егорка Фролов. В зубах он держал бублик, и его веснушчатая рожица сияла довольством.

Атаман, записав Хана в «скачущие», сказал Максиму, уронив улыбку и глаза на свои лакированные сапоги:

– Видал, у Сафронова какой жеребец? Смотри, парень!

Сотник Сафронов, жажда затмить славу Хана и тем уничтожить его упрямого хозяина, привел из Бухары прекрасного, белого в ржавом крапе скакуна. Бухарец на первый взгляд казался нескладным потому, что был длинен и гибок, как кошка, но ходил он мягко, будто плыл, и это заставило Максима насторожиться. «Добрый конь, чего и говорить», – признался он самому себе.

Хан горячился, храпел и часто дыбился, порываясь скакать. Вокруг него толпились степняки. Сафронов прогревал своего бухарца у призового столба. Он то вел его коротким галопом, то пускал на размашистый намет. Ни сотник, ни Максим не замечали друг друга. Станичные казаки, предугадывая, что бой за первенство будет между ними насмерть, хитро перемигивались и пересмеивались.

Дед Сахнов, гордый тем, что больше других знает о Хане и его хозяине, опустив на грудь грязно-желтую бороду, рассказывал окружающим медленно, словно нехотя:

– Приплоду от Хана Максим не желает иметь. Другой, говорит, такой лошади не может быть. Ну, кобылок-то из-под Хана и пристреливает. Плачет, а стреляет.

– Да, держится он за лошадку, – поддакивают слушатели.

– Дык как же, – прыгает дед. – Сыну родному не отдал. Сы-ыну! Приходит, значит, Гришка на леваду ночью –

разбудил отца: так и так, батя, отдай мне, мол, Хана, а доли из хозяйства никакой не надо. А Максим и отвечает: «Вот што, сынок, ты пустых разговоров зря не затевай. Помру – твой конь тады, а теперь брысь, не то арапником вздую». Отрубил до-разу! Натянул чекмень на голову и хр-р-р-р, здорово ночевали!

– Эй, кто скачет, становись! – закричали у атаманского стола. Толпа загудела и придвинулась к самому столбу.

– Осади за борозду, о-сс-сади, кому говорят, – надрывались сидельцы, сминая конями край толпы. Наездники строились в шеренгу. Максим, собиравшийся скакать сам, в последнюю минуту раздумал и посадил на Хана Афоньку.

– Смотри... и чтоб плетью ни-ни, – строго-настрого приказал он обрадованному сыну и боком затесался в толпу.

Скачки назначили на двадцать верст. Скакуны должны были перемахнуть за бугор, дойти до мостовской толоки и через бугор же вернуться обратно к столбу. Когда все было готово, наездники отъехали за столб саженой на шестьдесят для разгона. Лица выдавали наездников. На одних стыла деревянная улыбка, по другим растекалась бледность.

Атаман, размеря шаг, важно подошел к столбу. Окинув окружающее быстрым взглядом, он махнул рукой, давая знак наездникам. Те волнующейся лентой рысью пошли к столбу, ревниво наблюдая друг за другом. Гомон в толпе разом стих, будто его отсекли клинком. В нахлынувшей тишине слышен был только неясный гул, изредка звяканье подков, неосторожное треньканье удил. Кони шли дружно, бок о бок. Пахло кожей, конским потом, чувствовалось огромное напряжение.

Атаманская рука медленно подняла флажок. Наездники, как по команде, пригнулись и влипли в атамана звероющими глазами. Кони заплясали. Атаман, обрывая томление, резко дернул флажок книзу.

– Пошел! – взвизгнул он, приседая.

Шеренга хлестко метнулась и поломалась. В толпе всадников на миг вспыхнул крик. Кое-где из пыльной завесы поднялись руки с нагайками. От столба по накренившейся земле помчался бешеный ураган.

Толпа ожила и заголосила. Атаман, откинув флажок, по-ребячьи засуетился и, вскочив на первую попавшуюся лошадь, полетел вдогонку скачущим. За ним увязалось еще с полдюжины самых азартных.

Максим, взором проводив скакунов за бугор и чувствуя, как в груди его что-то ноет и давит, опустился на землю и предался терзающему раздумью. Перед глазами его плыли Хан и белый бухарец.

Афонька тоже волновался. Он искоса наблюдал за сотником и видел, как тот, напрягаясь, сдерживает своего скакуна. «Тугоуздая лошадь», – решил Афонька. Время от времени он сам испытывал Хана. Отпускал повод и сжимал ногами его бока, но Хан не менял резвости. Афонька тревожился и еще подозрительнее наблюдал за сотником.

Орда, ожидая появления скакунов, кучками сидела на траве. Разговоры не вязались. Все чаще глаза тянулись к горизонту, подолгу всматриваясь в каждую чернеющую неровность. Некоторые, не вытерпев, скакали к бугру и уныло возвращались обратно.

– Не видно, – разочарованно бросали настороженной толпе.

– Слышишь, Максим, не видно еще, чего задумался?

– Не лезь, – свирепо огрызнулся тот на молодого краснощекого казачка.

Внезапно мальчишка, карауливший на кургане, сорвался и, махая шапкой, погнал буланого жеребчика вниз.

– Идут, идут... – зашумело кругом, затормошилось.

– Где идут?

– Идут, – вопил мальчишка, задыхаясь и осаживая жеребчика. – Скачут... от Кривой межи... сафоновский конь впереди...

– Как?... – Максим зашарил руками по поясу, одернул рубаху.

На бугре одновременно выросли два скакуна. На мгновение они четко обрисовались и нырнули вниз. Склон бугра они взяли так быстро, что толпа вторично увидела их уже несущимися по ровной, как стол, толоке. Белый конь тянулся в струнку, неся высокого сотника, а Хан, казалось, скакал без всадника. Афоньки, прильнувшего к шее коня, не было видно. Сотник часто опускал нагайку на своего бухарца.

– В плеть кладет, – кто-то рассмеялся нервно и зло.

Люди, тяжело дыша, напирали друг на дружку, тянулись, извивались, как черви. Максима била лихорадка. Ему казалось, что Хан отстаёт, но вместе с тем он хорошо видел, как легок его ход и как напрягается сафоновский конь.

До столба оставалось саженой двести. Теперь уже ясно было видно, что скакуны идут ровно, голова в голову, но бухарец с каждым махом вырывается наперед. Максим похолодел. «Выдаешь, Хан», – тоскливо прошептал он.

Дробный, нарастающий стук копыт болью отзывался в его сердце. В глазах темнело, и словно кто-то настойчиво дергал землю у него из-под ног. «Хан... Ханушка...», – дрожали его посиневшие, как от мороза, губы. Всадники приближались. Над взметывающейся гривой Хана поднялось бледное лицо Афоньки и снова провалилось. Максим рванулся вперед.

– Ходу!... Ходу! – надрывно крикнул он и покатился по земле, царапая ее ногтями и жалобно скуля.

Вслед за этим случилось то, чего никто не ожидал, и даже впоследствии долго еще сомневались в правдивости происшедшего. Хан, услышав знакомое слово, прынул ушами и вдруг, словно оторвавшись от земли, золотеющим лучом блеснул перед самыми глазами людей. Толпа ахнула и разорвалась перед ним.

Последние полсотни сажений Хан пролетел, как ласточка, оставив далеко за собой стремительного бухарца, который перед сокрушающим натиском Хана, казалось, топтался на месте.

Афоньку сняли с седла почти беспамятного. Он хватался за грудь, тяжело ловил воздух, открывая рот, как сазан, выброшенный на берег. Максим висел на мокрой шее Хана.

Кругом выло, стонало, ухало. Бухали выстрелы. Бешеные страсти скручивали, душили орду. Сафронов рванул бухарца и погнал прочь за сады, кровавая ему рот и нещадно полосуюя плетью. По бугру цепочкой тянулись отставшие скакуны. Воющая орда, как буря, двинула в кабак. Пожарищем поднялась пыль.

Кабак звенел. Дрожала, гудела земля. Максим, как расслабленный, вертелся, угощая направо-налево, лепетал:

– Братцы... дружки... Слово знаю... Слово... Скажу, жизни лишится – обгонит!

– Ве-ерим!

– Ве-е-ерим!

– Братцы... братцы... – молотил себя в грудь.

В сумерках он промчался по станице, выкрикивая слова песни. Он почти лежал на спине Хана, а в руках, обхвативших шею коня, держал бутылку. Хан унес его в степь. Там, на кургане, Максим долго размахивал руками.

– Обогнать? Ш-ш-шалишь! – И он закатывался в хриплом смехе. Хохотал казак, словно тяжелые колеса катил по каменной мостовой.

– Ох-ох-оо-хо! Ха-ха-ха-ха!

Откашлявшись, снова заливался тоненько и пронзительно.

– Хи-хи-хи-хи! – Смех его кувыркался в просторах, мчался, прихрамывая, и обрывался, словно спрыгнув куда-то глубоко. Потом Максим растянулся и захрапел. Полнотелая луна, как дородная хозяйка, выплыла и глянула на курган. Полынь задымилась по всей степи, потянуло прохладой. Неумолчно кричали кузнечики, ухали водяные бычки.

Хан бродил над курганом, обнюхивая хозяина. Долго, настороженно вглядывался он в глухую серебряную даль и, словно подавленный ее бесконечным, первобытным величием, вытянул шею и, раздувая ноздри, ослепительно звонко заржал.

* * *

Еще прошли годы, легкие, как облака.

Много подвигов совершил Хан. Сотни скакунов обошел на состязаниях. Скакал Хан с англичанами, с арабами, с карабахами, отпускал на полголовы, а заслышав: «Ходу!» – бросал назад хваленых коней.

На царский праздник приехал в станицу атаман Донского войска. Казаки джигитовали, рубили, кололи – доблесть доказывали. А Максим такое выкинул, что у всех дух захватило. Выскочил наперед, разогнал Хана и в Дон, с трехсаженного обрыва... бух! На лету уже уши коню ладонями зажал.

Рысцей притрусил к яру атаман, смотрит вниз. Сгрудились и казаки. А на том месте, где Хан грудью воду рассек, расплывается пена... Целую вечность прождали, пока вынырнет всадник... Атаман за это рубль пожаловал Максиму, а Хана осмотрел и вздохнул:

– Царский конь!...

– Казацкий, – поправил Максим.

Рубль, полученный Максимом, был юбилейный и имел на одной стороне головы царя Михаила и императора Николая Второго. Первого и последнего из дома Романовых. Не многие удостаивались такой награды и хранили ее на божницах и в сундучках. А Максим бросил новенький целковый кабатчику. Поймал кабатчик монету, засуетился. Стол накрыл, овса Хану дал, одежду Максиму потащил сушить. Ржут казаки, глядя на голого, бабы отворачиваются, в платочки хихикают. А Максим хоть бы хны. Сидит, водку дует да в окно поглядывает, Ханом любитесь.

Много ли человеку счастья надо, и что такое счастье?

У иного оно в потаенном сейфе лежит, у другого бо-соножкой под чужими окнами кружится, а Максимове

плясало, железом подкованное на все четыре ноги. Горела и не горела казацкая жизнь, а на склоне вдруг пожарищем вспыхнула, да так ярко, аж зажмурился Максим.

– Эх, и доля же мне выпала, – сказал он перед смертью.
– Спасибо тебе, Хан. Умели мы с тобой песенки петь.

Гладил казак Хана, говорил ему слова ласковые, а Хан к хозяйскому лицу тянулся, колени сгибал.

Так прощались друзья-товарищи.

А потом закружилось, помутилось в голове Максима, качнулись сады станичные, волнами заходили. Крест, что на колокольне долгие годы неподвижно торчал, сорвался и поплыл золотым коршуном, припадая на одно крыло. Пламенем куда-то метнулся Хан.

– Бом... Бом... Бом... – заплакали колокола. О чем это они? Уж не о грешной ли душе? Домочадцы Максимовы реки льют.

– О-о-о-йй, да на ково же ты нас поки-и-и-и...

А старушка-побирушка:

– Шаршшство небешное новопрештавленному...

Дед Сахнов:

– Был и нету! Прожил, как гопака на свадьбе отодрал. Дай, кабатчик, штоф под ей-богу. Лю-бил покойничек!

Холит и бережет Афонька Хана, как Максим, ложась в гроб, приказывал. Поджидает брата Гришу с германского фронта, чтобы передать ему или вымолить себе наследство – счастье отцовское. А Хан воды не принимает, от овса отворачивается. Ночами хозяина зовет не дозвется.

– Ешь, ешь, Хан, – убивается Афонька.

Весной помутился Тихий Дон. Замитинговали станицы

- Свобода!
- Свобо-о-ода!
- Послужили белым царям:
- Довольно!
- Свобода? А ну, хлебом!

Гришка с фронта на фронт переметнулся, домой не зашел. По задонским степям заколыхался в боях 2-й революционный. А на станицу тяжелым орудийным шагом наступал полковник Семилетов.

Первым из первых, как клинок, влетел Сафронов. Камышом зашаталась, зашептала станица.

- Возьмет Хана.
- Отдаст ли?
- Шалишь!
- Купит за грош!
- Есаул!

– Эй, Афонька! Принимай покупателя старинного, вывод коня.

– Не продажный, – бурчит Афонька. Сафронов во дворе, как на параде.

- Мо-олча-ать, сволочь!

Афонька кошкой к есаулу.

- Кто сволочь? Душу вырву!

– Назад... – Вороном поднялся наган. Есаул белый-белый.

Остановился Афонька, пальцы скомкал, как веточки, хрустнули пальцы. Есаул к конюшне, Афонька за ним. Плечом дверь подпер. «Не замай, не дам!» За дверью Хан копытами стукнул.

– Не дашь? – задрожали губы есаула. – Не дашь? Становись... К стенке... – Клацнул курок.

А Афонька изогнулся и железной занозой, что дверь подпирают, есаула по черепу – р-р-р-аз! Мать на крылечке руками всплеснула.

– Сын-о-к! Головушка твоя горькая...

– Молчи, мать. Где седло?

– Ой, горюшко!

Не видела старуха затуманенными глазами, как Хан вынес Афоньку за ворота.

Вторые сутки скачет Афонька, остановиться не может. Мотается от станицы к станице, от хутора к хутору, не находит след 2-го революционного. Где же тут найти? Степь под метелью стонет. Снега летят – свету не видно. Грудью режет Хан метелицу, мелькает над оврагами. Наудалую! И вынесла удалая.

Носился в степях партизанский отряд, жег экономии, крушил офицерские полки. Пробивался отряд к Дону, к Миронову. А Афонька больше смерти боялся последней минуты расставания с Ханом...

Помчались дни, простреленные, продырявленные. Падали ночи, исполосованные клинками. Шатаясь, брели окровавленные рассветы, как обозы с недостреленными и недорубленными.

Занимались над степью пожарища. Метались дикие кони, – звезды брызгали из-под копыт. И в каждый бой Афонька летел впереди, пьяный своим счастьем, своей двадцатой весной. Забыл Афонька отцовский завет, забыл про Гришку. В отряде Хан был как золотой в кисете бо-быля.

К весне прорубились партизаны к Афонькиной станице. Станица ощерилась штыками, злобно заскрежетала пуле-

ментами. И пулеметы на белых снегах, на степном раздолье подписали смертный приговор Хану.

Какими словами сказать об этом? Какими песнями?

Журавлиной – так она высоко в небе и до сердца не достанет. Волчья – за горло берет! А лебединой еще никто не слышал.

Отвалился Афонька от холодеющего коня, поднялся, глухой ко всему, с пустыми, отцветшими глазами. Шагнул – зацепился за ноги Хана. И показалось Афоньке, что Хан не пускает его. И, собрав всю свою силу, сжавшись в кулак, шагнул еще раз, другой, третий.

* * *

Много было боев потом, много было коней, но ни один, ни один не подходил под рост Афоньке. Он часто пропадал теперь по целым суткам. Возвращался так же неожиданно, раздавал отбитых где-то жеребцов и снова исчезал.

– Как гость в отряде, – говорили у костров.

Думали, крикали, качали головами.

К схватке с атаманцами готовились долго и осторожно. Столкнулись в Дубовой Балке и дрались жестоко. После боя тут же построились для переклички. Командир с побуревшей тряпкой на руке выкрикивал бойцов. И часто молчание отвечало ему. Шеренга конников хмуρο темнела. Дымящиеся кони обрастали инеем, как богатым, серебряным убором.

– Афанасий Каргин, – крикнул командир, сурово оглядывая шеренгу.

Афонька качнулся в седле. Был он бескровен и слаб. Папаху он потерял в бою, и правое плечо его было глубоко разрублено вкось. Афонька захрипел и не то засмеялся, не то закашлял. Видно было, как он напрягается что-то сказать, но губы его не шевелились. Розовые пузырьки стали появляться в уголках рта и нарастать, как пена.

– Поддержите его, – крикнул командир. – Положить в тачанку. Чего смотрели?

Бородатый казак обнял сползающего с седла Афоньку и, заглянув ему в глаза, опустил на снег, к копытам коней.

– Ему и тут мягко, – сказал он, вытирая о гриву окровавленные руки...

На меже толоки, на той самой погиб Хан, где когда-то славу догонял своему хозяину. Не каждому скакуну выпадает такой конец.

А Афонька в Задонье, под ветрами, сложил свою голову.

Плывут облака над Дубовой Балкой.

* * *

Еще через три весны Гришка пахал землю. Надел достался за бугром, на самом краю вековой целины. И нашел Гришка подкову. Подкова – счастье, домой бери. Дома, повечеряв, Гришка что-то вспомнил и схватился за чекмень. Достал из кармана железинку, к огню поднес. Так и есть!...

...Несется звон из землянки... Динь... Динь... Динь... Золотом сыплются искры... Кует отец подковы с заклятьями, с крестами... На малиновом железе рубит буквы – имя любимца.

Почти стерлось на железинке имя, а все же еще заметно.
Голову опустил Гришка.

А ночью встала перед ним степь широкая—широкая.
Хан летит по ней, стремена от боков отлетают. Из травы
поднимается Максим, смеется. Радостно ржет Хан. Максим
за луку хватается.

— Ходу!

У Хана крылья распластываются... Ветер свистит...

Трава кланяться не успевает... Качается степь... Сны...
Сны...

1923

Виктор Кин

ПО ТУ СТОРОНУ

СЛИШКОМ МНОГО ПРИРОДЫ

— Так я и знал, — сказал Безайс, ковыряя замазку на окне. — Вон там торчит какой-то курятник, и поезд опять остановится около него и будет стоять пять часов, пока ему не надоест. Меня так и подмывает прыгнуть и надавать ему пинков сзади, чтобы он ехал скорее.

Безайс покосился на Матвеева. Тот сидел на опрокинутом ящике и рисовал химическим карандашом пятиконечную звезду на ладони. Был вечер, с неба сыпалась какая-то мокрая крупа, и в пустом вагоне стояли сумерки. На полу, звеня, перекачивалась бутылка. Матвеев уже второй час ждал, что она закатится в угол и перестанет дребезжать, но бутылка не унималась. Тогда он встал и с ругательством выбросил её за дверь. Безайс, скучая, следил за ним, а потом снова отвернулся к окну. Он ошибся: на этот раз поезд не остановился.

— Это сплошная развалина — Амурская дорога, — продолжал он, помолчав. — Кондуктор говорил, что шпалы совершенно гнилые, их можно проткнуть пальцем. Мосты шатаются и держатся только по привычке. Черт их знает, в этой глупой республике некому смотреть за порядком. Помнишь эту каналью, дежурного по станции на Укурее? «Не ваше дело!» Они тут страшно избаловались, потому что не чувствуют над собой твёрдой руки. Когда мы приковыляем в Хабаровск, я пойду к начальнику станции и скажу ему в глаза, что я думаю обо всём этом.

Матвеев кончил рисунок и, прищурившись, разглядывал его.

Он успел уже привыкнуть к этому. Каждый день Безайс уходил к окну, ковырял замазку и ругал железную дорогу. Он называл её последними словами и хотел куда-то жаловаться. Это облегчало немного дурное его настроение: «Иначе оно останется во мне, – говорил он, – и я заболēju». Матвеев не мешал ему – это всё-таки было лучше, чем крупный скандал с криками и топотом, который закатил Безайс в Укурее. Поезд стоял там двое суток, и на Безайса было тяжело смотреть. Наконец, рыча, он побежал на станцию и устроил там землетрясение. Ему хотелось крови.

– Демократическая республика! – орал он, когда Матвеев тащил его за руку к двери. – Развели тут... Художественный театр!

У него был беспокойный характер, и он не мог молча сидеть и ждать, когда поезд дотащится до Хабаровска. Ему было восемнадцать лет, и молодость бродила в нём, как зелёный сок.

Сначала и сам Матвеев принимал участие в этих погромах. Он, впрочем, никогда не шёл дальше решения крупно поговорить с кондуктором. Но дни шли, и каждое утро рассвет заливал розовым светом спящую под снегом тайгу. В морозном тумане появлялись и исчезали занесённые снегом станции. Убегали назад изломанные утёсы и рыжие лиственницы. Иногда под откосом из-под снега виднелись скрученные жгутом рельсы, ребра товарных вагонов и объединенный ржавчиной паровоз. Однообразно вставало багровое солнце, пятнистый чайник вскипал на чугунной печке, и Безайс уходил к окну ругать железную

дорогу. Матвеев устал от всего этого. У него не хватало духа сердиться несколько дней подряд. Поэтому он предпочитал молча сидеть и сосредоточенно мечтать о том, как было бы хорошо, если бы вдруг наступила весна и ему не надо было бы ходить за дровами на остановках.

Из Москвы они выехали три недели назад, а Безайсу казалось, что прошло уже несколько месяцев. До Иркутска они ехали в такой тесноте, что трудно было вынуть руки из карманов. Спали сидя и стоя, вздрагивая от толчков поезда. Целыми днями стояли в тупиках. На одном перегоне загорелась букса, – весь вагон, затаив дыхание, прислушивался к умоляющему визгу колеса. Боялись, что вагон отцепят. Однажды ночью все проснулись от дикого, страшного воя, – в коридоре, на полу, рожала женщина. Для роженицы очистили место, подостлали газету и попросили мужчин отвернуться; под утро родился мальчик, – вагон придумывал имена и ругал бабу за дурость.

Но самое плохое началось от Иркутска. Здесь надо было слезть с поезда и идти в губчека брать визу на проезд в Дальневосточную республику. В Иркутске они с руганью, с клятвами, с воплями сели в теплушку, в которой ехала труппа артистов политотдела Н-ской дивизии. Труппа ругала их всю ночь и весь следующий день, вплоть до Верхнеудинска, пока не выбилась из сил. Они сначала пробовали огрызаться, но потом замолчали и сидели растерянные, мрачные, думая о том, что жизнь всё-таки тяжёлая штука.

По утрам первый просыпался режиссёр. Он спускал с нар толстые ноги в необъятных штанах и, зевая, скрёб щетину на щеках и подбородке. Потом он толкал испол-

нителя комических куплетов – потёртую, презируемую в труппе личность – и посылал за кипятком. Просыпался трагик и шёл пить чай со своим мешочком сахару. Это был сосредоточенный, жилистый, желчный человек. Он изводил всех, устраивал скандалы и бил по лицу комическую старуху, когда у него пропадали селёдка или сахар. Весь мир был слишком плох для него: вагон трясёт, из двери дует, личность не уважают. Матвеев с любопытством смотрел на него, удивляясь, что человек может быть такой скотиной.

Потом просыпался весь вагон, кашляя и жалуясь. Разжигали печь, пили чай, рассказывали сны. Женщин было три: две молодых и одна старуха. У старухи было красивое с крупными чертами лицо и молочно-белые волосы. От лучших дней она сохранила заботу о внешности, и когда трагик бил её, она старалась только, чтобы он не попадал по лицу.

А в Чите случилось чудо. Им достался громадный вагон-клуб, переделанный из классного. Они сами толком не понимали, как это вышло. В партийном комитете, где они получали командировки в Хабаровск, к ним подбежал взволнованный человек в армейской форме и стал горячо убеждать их, чтобы они взялись сопровождать вагон-клуб до Хабаровска и сдать его стоявшему там бронепоезду. Они высокомерно согласились и, ликуя, побежали на станцию. Снаружи вагон был раскрашен, как детская книжка. Тут были нарисованы и рабочий, и крестьянин, и негры, и социализм, и большая зелёная змея с красными глазами. Это их потрясло и наполнило тщеславием. Не каждому приходится ездить в таком вагоне.

Внутри тоже было неплохо. Посреди стояла массивная, добрая печь, огромная, точно дом. К левой стене прислонился исцарапанный рояль; какой-то осел написал на клавишах химическим карандашом разные непристойности, очевидно загнав на это уйму труда и времени. Рояль был бесконечно старый, его рыжие ноги шатались, но он крепился кое-как и покорно нёс свою судьбу – павший аристократ среди дюжих плебеев. На голой стене висел плакат, изображавший небрежно одетую девушку с красным флагом, которой Безайс подрисовал усы и бороду, говоря, что ему неудобно раздеваться при женщинах. В передней стороне вагона возвышалась сцена со всем необходимым: с суфлёрской будкой, с занавесом и отличными декорациями зимнего леса.

Они выехали из Читы, и первое время все шло хорошо. Они слонялись по вагону, удивляясь его размерам, лазали в суфлёрскую будку, закрывали и открывали занавес. По вечерам они садились около горячей печки и долго разговаривали, умиротворённые своим необычайным счастьем. За окнами летела белесая мгла и огненные брызги. Колеса отбивали каждый шаг их глухого пути, конец которого терялся далеко, за Хабаровском, за лесными массивами, в каменных увалах, где зверь, встречаясь с человеком, прямо смотрит ему в глаза.

Тут по вечерам они оттаивали и говорили друг другу то, о чём обычно мужчины молчат, – самое задушевное, сохраняемое только для себя. У них было одно общее слово, которое связывало их почти кровным братством, в нём звучало эхо старых, ушедших годов. В памяти вставляли люди в косоворотках, в старомодных пиджаках, имена

которых звучали, как клятва, – и Безайс чувствовал, что на его мальчишеское, с веснушками, лицо падает их большая тень.

А потом начались несчастья. Сначала у паровоза отлетел кусок трубы. Этот случай они встретили бодро, бегали смотреть и долго обсуждали, как это случилось. Потом лопнул какой-то шатун, за ним сломался клапан, а дальше паровоз начал разваливаться на куски – каждый день что-нибудь ломалось. Это было скучно и очень обидно. Его немного чинили и потихоньку ехали дальше. Потом дали другой паровоз, но тут начались заносы, опоздания, ремонт пути. Дорога растягивалась, как резина: по расчётам, они давно уже должны были быть в Хабаровске, а поезд ещё кружился по неизвестным полустанкам, между гор и снега, и казалось, что Хабаровска нет вовсе, что рельсы идут в бесконечность, в мороз и в туман.

Первые дни они стояли у окна и любовались природой. Их глаза, привыкшие к широкому размаху русских полей, поражало это обилие камня и леса. Все здесь имело определённый чистый цвет, без полутонов. Небо было густо-голубого, василькового цвета, лес зеленел сочной зелёной краской на коричневом камне. Они старались не пропустить ничего и, прижавшись к стеклу, удивлялись каждой мелочи.

Так прошли первые дни, а потом наступила дикая скучища, которая сводила челюсти зевотой и разламывала плечи. Делать было совершенно нечего. Вагон, рояль, сцена были исследованы ими до последних деталей. День проходил в одуряющем безделье и бессмысленно кончался в густых сумерках, когда оставалось последнее спасение –

спать. Безайс сердился и бренчал на рояле до полного изнеможения. Все вокруг было знакомо, привычно и раздражало бесконечным повторением. К концу первой недели Матвеев почувствовал, что больше не может смотреть в окно.

– Знаешь, старина, – сказал он как-то, – это уже сотая по счёту гора с одинокой сосной, и они мне до смерти надоели. Невозможно повернуться, чтобы не наткнуться на какую-нибудь природу. Мне нужно совсем немного: какой-нибудь цветочек или бабочку, а тут её бог знает сколько.

Это был удар в спину. Но Безайс крепился ещё несколько дней, а потом тоже бросил, – надоело.

– Я буду больше спать, изо всех сил, – заявил Матвеев.

Сразу после обеда он направлялся к печке, сваливался на шинель и лежал несколько часов, разложив около себя для экономии движений табак, бумагу и спички.

– Глупо стоять, когда можно сидеть, – говорил он, – но ещё глупее сидеть, когда можно лежать.

Потом он так втянулся в это занятие, что лежал почти весь день. Безайс пробовал, но не мог.

Это было началом разложения, которое первое время заставляло их стыдиться друг друга и выдумывать жалкие оправдания. Они так обленились, что дошли до той ступени, когда не хочется ни умываться, ни одеваться, ни думать, – когда каждое движение вызывает страдание. Безайс уже несколько дней собирался выдернуть из двери гвоздь, о который попеременно рвал то левый, то правый рукав, но не мог найти в себе решимости, и гвоздь оставался на прежнем месте.

Особое отвращение стала внушать им громадная печка, которую надо было растапливать по утрам. Эта печка была их проклятием, потому что требовала за собой непрерывного ухода. Рано утром надо было наколоть лучину, положить дрова и затем около получаса ползать вокруг неё на четвереньках, раздувая огонь. Наперекор всему дым сначала шёл не вверх, а вниз, вызывая удушливый кашель. Когда дрова разгорались, в трубе таял набившийся за ночь снег и заливал огонь. Приходилось начинать снова.казалось, печь была поставлена в наказание, и они возненавидели её от всего сердца. Один раз они взбунтовались и не топили печь, но им пришлось сдаться после обеда, когда вода в котелке покрылась тонким слоем льда.

Матвеев по утрам осторожно высовывал лохматую голову из-под одеяла и начинал вставать. Вставал он по частям: сначала отрывал от пола голову, затем руки, спину и все остальное. Если ничто не мешало, то через полчаса он был уже на ногах.

Страдальчески морщась, они растапливали печь и пили густой кирпичный чай. Это несколько поднимало настроение. Отругав железную дорогу, Безайс, ещё сонный, прицеливался на рояль и пробирался к нему, раскачиваясь от толчков вагона. Исцарапанный рояль на всех своих опозоренных клавишах издавал одинаковый хриплый, простуженный бас. Под руками Безайса он рычал и взвизгивал с таким естественным отчаянием, что Матвееву становилось не по себе.

– Да брось ты, дурак! Ведь всё равно ни одной ноты не знаешь! – кричал он Безайсу. – Что он тебе сделал, этот рояль? Оставь его в покое. Вот я приду сейчас и разделаюсь с тобой!

– Хотел бы я посмотреть, как ты разделаешься, – отвечал Безайс, не оборачиваясь, зная, что никакие силы не заставят Матвеева встать. – Если тебе не нравится, то выйди покурить на площадку. А я не оставлю рояля до тех пор, пока он не подождёт хвост.

Это повторялось ежедневно, до тех пор, пока рояль действительно не сдался. Безайс подобрал какой-то бесформенный, истерический мотив, который поражал своим необычайным уродством. «Марш покойников», – так они называли его. В нем не было ни начала, ни конца, истерзанные ноты рвались и падали, как удар по голове. Достигнув этой цели, Безайс оставил рояль и совершенно не знал, чем ему заняться.

Матвеев, когда ему надоедало лежать, вытаскивал записную книжку, полученную в подарок от политотдела дивизии, и принимался записывать дорожные впечатления. Это было нелёгким делом, потому что никаких впечатлений не было. Он раскачивался, обхватив колени руками, сосал карандаш и шурил глаза. Наконец он шумно вздыхал и записывал:

«За окном вагона развёртывается прекрасная панорама дикой и своеобразной природы. Могучая флёра и фауна...»

Природная добросовестность брала в нём верх, он зачёркивал «фауну» и продолжал:

«...невольнo возбуждает жажду деятельности и борьбы. Все идёт прекрасно...»

Услышав позади шаги подкрадывавшегося Безайса, поспешно добавлял:

«...если не считать балбеса Безайса, который подглядывает и сопит у меня над левым ухом, в уверенности, что я его не замечаю...»

– Гоп! – кричал ему на ухо Безайс.

Матвеев вскакивал, хватал его за шею, стараясь подмять под себя. Оба сваливались на пол и через несколько минут клубком катались по всему вагону. Из их карманов дождём летели карандаши, патроны и деньги. Устав, они вставали и рассаживались на своих постелях.

– Если бы мне удалось хорошенько схватить тебя за шею, – говорил Безайс, тяжело дыша, – то я бы тебе показал! Ты бы тогда узнал, как ставить людям подножки и хватать за рукав, который и так еле держится! Надо было бы мне сразу взять тебя крепче за шею, и тогда ты не мог бы пальцем пошевелить...

– Что же ты не хватал? – спрашивал Матвеев. – Тебе хотелось бы, чтобы я сам просунул её тебе под мышку? Да?

– В следующий раз схвачу, и тогда увидим, чья возьмёт, – отвечал Безайс, ползая по полу в поисках вылетевших из карманов вещей.

А поезд нёсся вперёд со скоростью, принятой в двадцать первом году, подрагивая на стыках рельсов, замедляя ход на скрипящих под тяжестью деревянных мостах. Убегали назад сверкающие льдом утёсы, кедровая тайга, голубые пики гор. За последним вагоном вилась лёгкая дымка сухого, колючего снега.

ВСЕ ЛЮДИ МЕЧТАЮТ

Мир для Безайса был прост. Он верил, что мировая революция будет если не завтра, то уж послезавтра наверное. Он не мучился, не задавал себе вопросов и не писал дневников. И когда в клубе ему рассказывали, что

сегодня ночью за рекой расстреляли купца Смирнова, он говорил: «Ну что ж, так и надо», – потому что не находил для купцов другого применения.

Все, что делалось вокруг него, он находил обычным. Очереди за хлебом, сыпной тиф, ночные патрули на улицах не поражали и не пугали его. Это было обычно, как день и ночь. Время до революции было для него мифом, Ветхим заветом, и к Николаю он относился, как к царю Навуходоносор, – мало ли чего не было! Это его не трогало. От прошлого в памяти остались лишь городской, стоявший напротив Волжско-Камского банка, и буква ять, терзавшая Безайса в городском училище.

И от бога, – от домашнего, бородатого бога, с которым было прожито четырнадцать лет, – он отказался легко, без всяких душевных потрясений. Не было ничего особенного, выходящего из ряда обыденности, – просто он решил, что бога не существует.

– Его нет, – сказал он, как сказал бы о вышедшем из комнаты человеке.

Ему приходилось видеть страшные вещи, а он был всего только мальчик. Ночью в город пришли казаки и до рассвета убили триста человек. Утром он вышел с ведрами за водой и увидел на телеграфном столбе расслабленные фигуры повешенных – верный признак, что в городе сменились власти. Когда белые ушли, мертвецов свозили на пожарный двор и складывали на землю рядами. Вместе с другими Безайс ходил на субботник укладывать их по двое в большие ящики и заколачивать крышки гвоздями. Сначала ему было не по себе среди покойников, но потом он оправился.

– Ничего особенного, – решил он.

Красные убивали белых, белые – красных, и все это было необычайно просто. Люди уходили ловить рыбу, а с реки их приносили мёртвыми и под музыку хоронили на площади. В городе были красные, в монастырском лесу – зелёные, а за рекой, в оврагах, жили совершенно неизвестные отряды, и никто не понимал, что они там делают. Они взрывали поезда, воровали бельё с верёвок, дрались со всеми и бойко спекулировали солью. Власти приходили и уходили, оставляя на заборах приказы и воззвания, переименовывали улицы, строили арки. Жизнь обнажалась до самых корней и стала удивительно ясной. Остались только самые необходимые, основные слова.

Безайс взялся как-то читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитав до конца, он удивился.

– Боже мой, – сказал он, – сколько разговоров всего только из-за одной старухи!

Когда Безайс нашёл своё место, несколько дней он ходил как пьяный. Его томило желание отдать за революцию жизнь, и он искал случая сунуть её куда-нибудь, – так велик и невыносим был сжигавший его огонь. От этих дней он вынес пристрастие к флагам, демонстрациям и торжественным похоронам. Их бурная пышность давала выход его настроением.

Ему было пятнадцать лет, когда он произнёс на митинге в народном доме первую речь, о которой потом всегда вспоминал со стыдом и ужасом. Дрожащий, готовый умереть, он вылез на трибуну – и разом забыл все слова, которые когда-либо знал. В зале выждали несколько минут его позорного молчания, потом на балконе кто-то безжа-

лостно засмеялся. Отчаянным усилием Безайс глотнул воздух и, зверски хмурясь, сказал что-то, но что именно — он потом никак не мог вспомнить.

Незаметно для себя и для других он вырос до того уровня, когда его стали замечать. Уже знали его в городе и оборачивались вслед, когда на собраниях он шёл через залу; уже на заседании парткома единогласно назначили его уполномоченным «по конфискации имущества лиц, бежавших с белогвардейскими бандами», и он ходил по городу, нося в кармане штамп и печать. Каждый день приносил новую работу. Он водил арестованных из лагеря в чрезвычайную военную тройку, пилил дрова в монастырском лесу, с командировкой наробраза ездил по уезду собирать помещичьи библиотеки и на подводах возил в город сугробы истлевших книг с золотым тиснением на выцветшем бархате, с гербами, с экслибрисами — книги масонов и вольтерьянцев. Он был все ещё мальчиком, и каждый новый год своей жизни принимал как долгожданный, давно обещанный подарок, — но в то время многое делали эти мальчики с веснушками на похудевшем по-взрослому лице.

А потом наступил фронт — польский, — отличное время, когда падали под ноги города и местечки и земля ложилась одной большой дорогой к Варшаве. И даже после, когда ж-жахнули их из-под Варшавы косым пулемётным огнём и сломался фронт, Безайс, несмотря на горечь поражения, все же носил в себе это праздничное чувство.

С Матвеевым он встретился в Москве, с ним получал командировки, с ним сел в битком набитый вагон, и в Чите измученный поезд вывалил их вместе на замёрзшую чужую

землю. Они устроились в заброшенной комнате, переполненной пылью и пауками, ходили по городу, спали на столах, разговаривали о тысяче вещей и бросали ботинками в крыс.

О, это была весёлая республика – ДВР! Она была молода и не накопила ещё того запаса хронологии, имён, памятников и мертвецов, которые создают государству каменное величие древности. Старожилы ещё помнили её полководцев и министров пускающими в лужах бумажные корабли, помнили, как здание парламента, в котором теперь издавались законы, было когда-то гостиницей, и в нём бегали лакеи с салфеткой через руку. Республика была сделана только вчера, и сине-красный цвет её флагов сверкал, как краска на новенькой игрушке.

– Она не оригинальна, – заявил Безайс, осмотрев республику с головы до ног.

Он почувствовал себя иностранцем и гордился своей родиной.

Столица республики – Чита – утонула в песках; на улицах в декабре, в сорокаградусный мороз, лежала пыль, – это производило впечатление какого-то беспорядка. Над городом висел густой морозный туман, на горизонте голубели далёкие сопки. В парламенте бушевали фракции, что-то вносили, согласовывали, председатель умолял о порядке. В дипломатической ложе сидел китаец в галстук бабочкой, с застывшей улыбкой на жёлтом лице и вежливо слушал. Над председателем висел герб, почти советский, но вместо серпа и молота были кайло и якорь. Флаг был красный, но с синим квадратом в углу. Армия носила пятиконечные звезды – но наполовину синие, наполовину

красные. И вся республика была такой же, половинной. Граждане относились к ней добродушно, с незлобивой насмешкой, но всерьёз её как-то не принимали. И когда началась война, население митинговало, решая вопрос: идти ли на фронт защищать республику или остаться дома и бороться с белыми каждому за себя, за свой двор, за свою деревню, за свой город.

В этом году морозы стояли сильные. В тайге замерзали птицы, на реках лёд гулко ломался синими острыми трещинами. Пальцы липли к стволу винтовки. Воздух был сухой, крепкий и обжигал горло, как спирт. Даже камням было холодно. Раненых было меньше, чем обмороженных; в санитарных поездах врачи резали чёрные, сожжённые морозом конечности.

Поезда шли на восток, через Забайкалье и Амур, к жёлтым берегам Тихого океана. Там была другая республика, кипел фронт, стучали пулемёты, и солдаты стыли в обледеневших окопах. Поезда везли народную армию в косматых папах и полушубках – здоровых парней с чубами наотмашь. На трехверстной штабной карте красный карандаш чертил полукружие фронта: белые огибали Хабаровск с трех сторон. Республика попала в плохой переплёт – уже занято было все Приморье, уже готовили что-то японцы и ходили нехорошие слухи об армии. В штабах металась сутками не спавшие люди. Телефонная трубка кричала о раненых, о занятых сёлах и станциях, требовала людей, винтовок, хрипела и ругалась – в бога, в веру, в душу.

Белые шли отчаянно и слепо. Бывает, что люди доходят до последнего – последние патроны, последние дни, – ко-

гда не о чём ни жалеть, ни думать, и безногая идёт сзади, наступая на каблуки. Люди не боялись уже ничего – ни бога, ни пуль, ни мертвецов. Армия носила мундиры всех цветов, запylённые пылью многих дорог. Здесь были английские френчи и серо-зелёные шинели, с королевским львом на пуговицах, и французские шлемы, и чешские кепи, и русские папахи. Эти люди были отмечены, и погоны на плечах тяготели, как проклятие. С Колчаком они отступали от Уфы до Иркутска, через всю Сибирь, сквозь мороз и тиф, прошли с Семёновым голубые сопки Забайкалья и потешились с Унгерном в раскосой Монголии. Дальше идти было некуда – это был их последний поход. Игра кончалась.

Через неделю после приезда в Читу Матвеева и Безайса вызвал в комитет ответственный человек – латыш с непризнанной фамилией – и около часа говорил с ними, вытаскивая из синих папок сокровенные, особо важные бумаги. На большой карте он отмечал карандашом станции, непроходимые болота, тайные базы, полки, стоявшие под ружьём, и карта наполнялась трепетной, смутной жизнью.

Бои шли недалеко от Хабаровска, фронт лежал неровным крылом, захватывая несколько станций и деревень. Хабаровск держался ещё, и решено было сохранить его во что бы то ни стало.

По ту сторону фронта, в чужом тылу, ходили безымянные партизанские отряды. В тайге, на базе, был штаб, был областной партийный комитет, в городах работали подпольные организации. Вести оттуда приходили редко и скупой, люди работали, отделённые двойной линией огня, и

самый путь туда был тайной. Надо было ехать до Хабаровска, а там указывали дорогу, давали проводников и переправляли через фронт.

Они ушли от него немного бледные, поражённые громадным размахом работы. Безайс о самом себе начал думать как-то по-новому. Его немножко обижало, что латыш обращался больше к Матвееву, но это мелочное чувство бледнело перед той глубокой, волнующей радостью, которую он носил в себе. Это было крупнее «конфискации имущества буржуазии, бежавшей с белогвардейскими бандами», и даже польского фронта.

Попасть туда, в чужой тыл, было трудно, но об этом он как-то не думал. По ночам, лёжа на столе, он глядел в темноту и с грустной решимостью представлял себе, как его расстреливают. Он дал бы скорее содрать с себя кожу, чем выдать какие-то самому ему ещё не известные тайны, и просил только единственного снисхождения: самому командовать «пли!». Он видел их винтовки, саблю офицера, слышал оглушительный залп, испытывал чувство падения, но в свою смерть не верил — не хватало воображения. Он думал о работе, о городах, о партизанских отрядах, и ко всему этому примешивалась как-то мысль о женщине необычайной, сверкающей красоты, которую он ждал уже давно. От обилия этих мыслей он терялся и засыпал, восторженный и разбитый.

Целую неделю они слонялись по Чите, ожидая последнего дня. В республике ходили звонкие деньги с курносым царём, японские иены, китайские таяны, и все было до смешного дёшево. Один раз им выдали по пяти рублей, и они вышли из дому с твёрдым намерением поехать как

следует. Их воображение ласкали колбасы, сыры, какао и другие вещи.

– Я хочу омаров, – с внезапным порывом заявил Безайс, в представлении которого омары отчего-то были необычайным деликатесом.

На первом же углу встретили китайца, продававшего земляные орехи. Они купили два фунта орехов и набросились на них с зверским блеском в глазах, пока не съели их до последнего, и потом несколько дней не могли о них даже думать.

Была полночь, когда они затянули последний ремень на багаже. До отхода поезда оставались томительные два часа, которые надо было чем-то заполнить. Матвеев с мелочной старательностью развернул и снова сложил документы. Потом он вытащил толстую пачку денег – несколько тысяч японскими иенами, которую надо было с рук на руки передать в Приморье партийному комитету. Эти деньги он хранил, как только мог: первый раз в жизни он держал такую сумму, и она поражала его. Один раз ему показалось, что он их потерял. Десять минут Матвеев бесновался в немом иступлении, пока не нащупал пачку за подкладкой.

Безайс раскачивался на руках между двух столов и молчал. Крысы осторожно грызли шкаф. Впереди было много всего – хорошего и плохого. Мысленно Безайс окинул взглядом тысячеверстную, спящую под снегом тайгу.

От этих необъятных пространств, от их морозного безмолвия по его спине прошёл холодок. Скосив глаза, он взглянул на Матвеева.

– Он сказал, что это не моё дело, – говорил Матвеев,

продолжая бесконечный, тянувшийся до самого Иркутска рассказ о том, как он тонул. Двадцать раз Матвеев начинал рассказывать, но его что-нибудь прерывало, и теперь он решил разделаться с этим начисто. – И я всё-таки проглотил её, и тут же из меня хлынула вода – ужас сколько. Я так и не знаю, что это было. Вроде нашатырного спирта. Потом меня вели через город, и все мальчишки бежали сзади. Дома отец вздул меня так, что я пожалел, что не утонул сразу...

Безайс забрался на стол и начал раскачивать лбом абажур висячей лампы. Его разбирало нетерпение. Трудно разговаривать о таких вещах, как храбрость, опасность, смерть. Слова выходят какие-то зазубренные, неискренние и не облегчают до краёв переполненного сердца.

– Это никогда не кончится, Матвеев? – спросил он. – Сколько раз ты тонул? Говори сразу, не скрывай.

– Два раза, последний раз под Батумом, в море. Тебе надоело?

– Нет, что ты, – это страшно интересно. Но я совсем о другом. Что ты думаешь о дороге?

– Я? Ничего. А что?

– Да так.

– А ты что думаешь?

– Я? Тоже ничего.

Они внимательно поглядели друг на друга.

– А всё-таки?

Безайс закинул руки за голову.

– Слушай, старик, – сказал он мечтательно и немного застенчиво, – это бывает, может быть, раз в жизни. Все ломается пополам. Ну вот, я сидел и тихонько работал.

Сначала ходил отбирать у бежавшей с белыми бандами буржуазии диваны, семейные альбомы и велосипеды, потом поехал отбирать у подлой шляхты город Варшаву. Но этим занимались все. А теперь... Я все ещё не совсем освоился с новым положением. Странно. Точно дело происходит в каком-то романе, и мне страшно хочется заглянуть в оглавление. У тебя ничего не шевелится тут, внутри?

– Всякая работа хороша, – рассудительно сказал Матвеев.

– Врёшь.

– Чего мне врать?

– Ты притворяешься толстокожим. А на самом деле тебя тоже понимает.

– Я знаю, чего тебе хочется. Тебе не хватает боевого клича или какой-нибудь военной пляски.

– Может быть, и не хватает...

Матвеев встал и начал зашнуровывать ботинки.

– Я безнадёжно нормальный человек, – самодовольно повторил он чью-то фразу. – Больше всего я забочусь о шерстяных носках. А ты мечтатель.

Безайс знал эту наивную матвеевскую слабость: считать себя опытным, рассудительным и благоразумным. Каждый выдумывает для себя что-нибудь.

– Милый мой, все люди мечтают. Когда человек перестаёт мечтать, это значит, что он болен и что ему надо лечиться. Маркс, наверное, был умней тебя, а я уверен, что он мечтал, именно мечтал о социализме и хорошей потасовке. Время от времени он, наверное, отодвигал «Капитал» в сторону и говорил Энгельсу: «А знаешь, старина, это будет шикарно!»

Но Матвеев был упрям.

– Давай одеваться, – сказал он. – Куда ты засунул банку с какао?

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

В это утро Матвеев проснулся в прекрасном настроении. За окном светило солнце, зажигая на снегу блестящие искры. Молочно-белые пики гор мягко выделялись на синем, точно эмалированном небе. Не хотелось верить, что за окном вагона стоит сорокаградусный мороз, что выплеснутая из кружки вода падает на землю звенящими льдинками.

Матвеев открыл один глаз, потом другой, но снова закрыл их. Вставать не хотелось.

Он помнил, что Безайс будил его за каким-то нелепым делом. Смутно он слышал, как Безайс спрашивал его, сколько будет, если помножить двести сорок на тридцать два. Минут на десять Безайс успокоился, но потом опять разбудил его и стал убеждать, что он лентяй, лодырь и что сегодня его очередь топить печь, потому что позавчера Безайс вымыл стаканы без очереди. С печкой у них был сложный счёт, и они постоянно сбивались. Потом Матвеев опять заснул и ничего уже не помнил.

Спать он любил, как любил есть, как любил работать. Он был здоров и умел находить во всем этом много удовольствия. В строю он всегда был правофланговым, а когда надо было перетасщить шкаф или выставить из клуба хулигана, то всегда звали его. Он смотрел на мир со спокойной улыбкой человека, поднимающего три пуда одной рукой.

У него было широкое, с крупными чертами лицо – одно из тех, которые ничем не обращают на себя внимания. С некоторого времени начала пробиваться борода – отовсюду росли отдельные длинные волосы, и каждый волос завивался, как штопор. Тогда он завёл ножницы и срезал бороду начисто.

Он снова открыл глаза и увидел Безайса, сидевшего на ящике спиной к нему. Безайс читал что-то. Матвеев потянулся, рассеянно скользнул глазами по плакатам, по стенам вагона, залитым солнечным блеском. Печка гудела, и весёлый огонь рвался из полуоткрытой дверцы. В этот момент Матвеев снова взглянул на Безайса и вдруг опешил. Он отчётливо видел, что Безайс с увлечением читал его записную книжку – в клеёнчатом переплёте, с застёжками, с надписью в углу: «Товарищу Матвееву от Н-ского политотдела».

Сначала он был так поражён, что остался лежать неподвижно. Потом одним движением он вскочил с пола, кинулся к Безайсу и вышиб ногой ящик из-под него. Безайс упал на пол, Матвеев нагнулся и вырвал у него книжку из рук. Мельком он взглянул в неё и понял, что все пропало. Надо было проснуться раньше.

Тяжело дыша, Безайс поднялся на ноги.

– Это я считаю подлостью – бросаться на человека сзади, – сказал он, трогая затылок.

– Скотина!

– Сам скотина! Ты что, с ума сошёл?

– Поговори ещё!

– Сам – поговори!

У Матвеева не хватало слов – черт знает почему. Он

едва удерживался от желания снова ударить Безайса. Они молча постояли, глядя друг на друга. Безайс выпятил грудь.

– Могу ли я узнать, товарищ Матвеев, – сказал он с преувеличенной и подчёркнутой вежливостью, – о причинах вашего поведения? Не сочтите моё любопытство назойливым, но вы расшибли мне затылок.

Матвеев промолчал, придумывая ответ. Ничего не выходило.

– Дура собачья, – сказал он с ударением.

Он спрятал книжку в карман, отошёл к другому ящику и сел. Безайс враждебно глядел на него.

– Чтоб этого больше не повторялось.

– Чего?

– Этого самого. Чтобы ты не совал нос в мои дела. Коммунисты так не делают. Нечестно читать чужие письма или записные книжки. Заведи себе сам дневник и читай сколько угодно.

– Очень оно мне нужно, твоё барахло. Я читал её через силу, эту ужасную чепуху о цветочках. Кстати, почему ты пишешь «между прочем»? Думаешь, что так красивее?

– Хочу – и пишу.

– Ну-ну. А о коммунистах ты, пожалуйста, оставь. «Нечестно»! Эта мораль засижена мухами. У коммуниста нет таких дел, о которых он не мог бы сказать своему товарищу. Он – общественный работник, и у него все на виду. А когда влюбится обыватель, он распускается и пишет дневники... да-а... и бросается на людей... и вообще становится ослом.

Матвеев хмуро посмотрел на него.

– Вот я сейчас встану, – сказал он, плотоядно облизываясь. – Ты бы закрыл рот, знаешь.

– А она хорошенькая?

– Отстань.

Тут он обиделся совсем. Спорить было невозможно, потому что Безайс имел необычайный дар видеть смешное во всем и мог переспорить кого угодно. А Матвеев не умел сразу найти острый и обидный ответ. Потирая руки, он начал его выдумывать.

Поезд нёсся мимо туманных гор, дрожа от нетерпения. На стыках рельсов встряхивало, и толчок отдавался в рояле долгим гудением, Безайс хотел было заняться чем-нибудь, но случайно потрогал шишку на голове, и это растравило в нём сердце.

– Ах, скот! – прошептал он.

Он откашлялся и сел против Матвеева.

– У тебя, однако, тяжёлый характер, – начал он, ликуя при мысли, как он его сейчас отделает. – Мне, мужчине, приходится тяжело, а что же будет с ней, с этим прекрасным, нежным цветком, который наивно тянется к любви и свету? С цветами, брат, обращение особое. Надо уметь. Дай тебе, такому, цветок – много ли от него останется!

Матвеев мужественно молчал и разглядывал валявшийся на полу окурки.

– Ты сейчас влюблён, – продолжал Безайс, – и я понимаю твои чувства. Влюблённый обязан быть немного взволнованным, но ты, по-моему, чересчур серьёзно взялся за дело. Бросать человека головой на пол, – вот ещё новая мода! Если б ты целовал её локон, смотрел на луну или немного плакал по ночам, – я бы слова тебе не сказал. Пожалуйста! Но расшибать людям головы – это уже никуда не годится. Это что – каждый день так будет? Я чув-

ствую, что такой образ жизни подорвёт моё здоровье, и я зачахну, прежде чем мы доедем до Хабаровска. А когда придёт моя мать и протянет к тебе морщинистые руки и спросит дрожащим голосом, что стало с опорой её старости, – что ты ответишь ей, чудовище?

– Ладно, я отдам ей всё, что от тебя останется.

Он взял чайник, налил его водой и поставил на печь. Что бы там ни было, но завтракать надо всегда. Он нарезал хлеб, достал ветчину, яйца и разложил все на ящике. Потом он взялся мыть стаканы, – Безайс следил за ним, – он вымыл два стакана. Кончив с этим, он сел и принялся есть. Безайс подумал немного и тоже подсел к ящику.

Завтрак прошёл в молчании. Они делали вид, что не замечают друг друга. На Безайса все это начало действовать угнетающе.

После завтрака он отошёл к окну и рассеянно стал смотреть на бегущий мимо пейзаж. Камень выпирал отовсюду – красный, как мясо, коричневый, с прожилками, жжёного цвета, иссечённый глубокими трещинами. Бок горы был глубоко обрублен, и слои породы лежали, как обнажённые мускулы. В лощинах росли громадные деревья, мох свисал седыми ключьями с веток, по красноватой коре серебрилась изморозь. С гор сбегали вниз по склонам крутые каскады льда, и солнечный свет дробился в них нестерпимым блеском. Здесь все было громадно, необычайно и подавляло воображение.

Безайсу было не по себе. Он не чувствовал себя виноватым, – гораздо хуже бросаться на человека сзади, когда он этого не ожидает. Ему впервые пришлось столкнуться с такими тонкостями, как записная книжка, но он заранее

осудил их. Она подвернулась ему под руку, и он открыл совершенно спокойно, как свою. Но когда он был сыт, он не умел сердиться и после завтрака всегда чувствовал приступ добродушия.

Он отвернулся от окна и пошёл долбить на рояле бесконечный мотив. Потом он положил на пол спичечную коробку, вынул свой нож и начал бросать его, стараясь пригвоздить коробку к полу. Раньше нож отлично помогал ему убивать время, но теперь это было похоже скорее на тяжёлую работу, чем на развлечение.

Поезд внезапно стал. Пришёл озябший народоармеец и позвал их грузить дрова на паровоз. Они молча оделись и вышли. От паровоза до поленницы дров стояла цепь, и от человека к человеку быстро передавали обледеневшие поленья. Безайс и Матвеев заняли места в цепи, провалившись в снег выше колен, и принялись за работу. Ветер резал кожу, как нож. Через час дрова были нагружены, и все бегом бросились к поезду.

Они прибежали в вагон, измученные и замёрзшие. Подбросив дров, они присели к огню и вытянули руки. Около дверцы было мало места, и они сидели почти вплотную.

– Я устал как собака, – нерешительно сказал Безайс.

– Я тоже, – поспешно ответил Матвеев. – От такой погоды можно сдохнуть.

И через полчаса спросил его:

– Я не очень двинул тебя тогда, утром?

– Не очень, – ответил Безайс.

Потом они молчали до самого вечера, когда Матвеев, сидя около раскалённой печки, рассказал ему все – с самого

начала. Это было длинно – он рассказывал, не упуская малейших подробностей, объясняя каждое своё движение. Он боялся, что Безайс не поймёт самого важного и будет считать его ослом. Все было необычайно важно: и хруст шагов, и морозное молчание ночи, и слабое пожатие её тонких пальцев.

В клубе, в Чите, когда совершенно нечего было делать, ему сунули билет на студенческий вечер. Зевая, он одевался, изгибаясь, чтобы разглядеть, что у него делается сзади, и убеждал Безайса идти вместо него, чтобы не пропал билет. Безайс идти не хотел.

В большой зале, увешанной сосновыми гирляндами и флажками, бестолково толкался народ. Распорядители с большими красными бантами панически бегали по зале. Потушили свет, потом зажгли снова, из-за занавеса высунилось загримированное лицо и попросило передать на сцену стул. Стул поплыл над головами. Снова потух свет, и началась пьеса.

К рампе расхлябанной походкой вышел высокий, щедро загримированный студент и в длинном монологе объяснил, что его заедает среда. Тут Матвееву захотелось курить, и он вспомнил, что забыл папиросы внизу, в кармане пальто. Он спустился за ними, пошёл в курилку, а когда вернулся в залу, его место было занято. Тогда он пошёл в читальню, сел в угол и стал читать газеты. Тут, в читальне, он встретился с ней, и потом всякий раз, думая о первой встрече, он вспоминал её строгий профиль на фоне плакатов и надписи – «Просьба не шуметь».

Его способ ухаживать за женщинами был однообразен и прост. Он пробовал его раньше, и если ничего не удава-

лось, то он сваливал все на обстоятельства. Ему казалось, что женщина не может полюбить простого, обыкновенного мужчину. Он считал, что мужчина, для того чтобы нравиться, должен быть хоть немного загадочным.

Сам он загадочным не был – он был слишком здоров для этого. Но, ухаживая за девушками, он старался казаться если не загадочным, то по меньшей мере странным. «Нет, – говорил он, – цветы мне не нравятся, – у них глупый вид. Музыка? И музыка мне тоже не нравится».

Но она сразу смешала ему игру.

– Ты медведь, – сказала она, когда они, взявшись под руку, вышли в коридор. – Вот ты опять наступаешь мне на ногу.

Это она первая назвала его на «ты».

– Я не привык ходить с женщинами, – ответил он.

– Отчего?

– Да так как-то выходило.

– Может быть, они с тобой не ходили?

– Нет, мне самому они не нравились.

Она мельком взглянула на него.

– Это очень однообразно, – все так говорят. А Семёнов говорит даже, что на женщин он не может смотреть без скуки.

– Кто такой Семёнов?

– Один человек, такой белобрысый. Ты его не знаешь.

Он очень пошлый парень, и у него мокрые губы.

Матвеев задержал шаги.

– Откуда ты знаешь, какие у него губы?

Она потрянула стриженными волосами.

– Не все ли тебе равно? Он лез целоваться.

– Ну, а ты?

– Я его ударила.

Матвеев говорил, что самое красивое в ней были глаза: тёмные, с длинными ресницами.

– Они ударили мне в голову, – объяснял он.

Из полуоткрытой двери на её лицо сбоку падал свет. У неё были чёрные волосы, стриженные так коротко, что шея оставалась совершенно открытой. Она нравилась ему вся – и её смуглая кожа, и небольшой, яркий рот, и стройная фигура.

Они прошли несколько шагов.

– По щеке? – спросил он машинально.

– Нет, по лбу, он успел отвернуться. Но ты, однако, любопытный.

– Вот чего про меня нельзя сказать! Заметь: я даже не спросил тебя, что ты делаешь здесь, в Чите.

– Я учусь в институте и работаю в женотделе, в мастерских Чита-вторая. Но сама я из Хабаровска и скоро еду туда. Там у меня мать.

– Вот как, – сказал он, что-то обдумывая. – Когда ты едешь?

– Послезавтра.

– Ты никак не можешь поехать позже? Через неделю?

– Нет, не могу.

Они ходили по коридору под пыльным светом электрической лампочки и разговаривали. Она держала его под руку, курила и смеялась громко, на весь коридор. На них оглядывались, улыбаясь, и Матвеев чувствовал себя немного глупо.

– Наплевать, – сказала она, – пускай смотрят.

– Я ругалась в райкоме по-страшному, – говорила она немного позже, – чтобы меня не назначали на эту работу. Не люблю я возиться с женщинами – ужасно. Вечные разговоры о мужьях, о детях, о болезнях, – надоело. Особенно о детях. Как только их соберётся трое или четверо, они говорят о родах, о беременности, о кормлении. И оторвать их от этого прямо невозможно. Это нагоняет на меня тоску. Я не люблю детей. А ты?

Он как-то никогда не думал об этом, любит он их или нет. Но он довольно охотно щекотал их под подбородком или подбрасывал вверх, если они не плакали.

– Они приходят сами, – сказал он уклончиво, – как дождь или снег. И с этим ничего нельзя поделать.

Она засмеялась.

– Можно.

– Но мне приходилось слышать, что женщины находят в этом удовольствие. У меня есть даже подозрение, что я любил бы своего ребёнка – толстую, розовую каналью в коротких штанишках. Впрочем, до сих пор я свободно обходился без него.

– Да, тебе он, может быть, и понравился бы, потому что тебе не придётся носить его девять месяцев и кормить грудью.

– У меня нет груди, – ответил Матвеев легкомысленно.

– Действительно, большое горе. Но тут дело не только в кормлении. Ребёнок – это семья. А семья связывает.

– У тебя пальцы горячие, – сказал он, – очень горячие. Отчего это?

В зале аплодировали и двигали стульями. На сцену вышел актёр в широкой блузе с бантом и престограммным тоном

прочёл стихи о том, что смех часто скрывает слезы и бичует несправедливость. Потом он запел комические куплеты на местные темы:

*В Испании живут испанцы,
А у нас – наоборот...*

Домой Матвеев вернулся в каком-то расслабленном состоянии, полный смутной радости и новых слов. Безайс не спал; он сидел в углу с палкою около крысиной норы и зашипел на Матвеева, когда тот вошёл. Большая крыса лежала на стуле, вытянув усатую добродушную морду и свесив голый хвост. По комнате тяжело плавал табачный дым.

– Ты их распугал, – сказал Безайс, вставая. – Топают тут. Эту я убил, а другая удрала. У неё чертовски крепкое телосложение, я так хватил её по голове, что она завертелась. А потом встала и ушла домой, к папе и маме. Интересно, как они проходят через каменный пол? Ну, как у тебя?

– Ничего, – ответил Матвеев, застенчиво хихикая. – Ничего особенного.

И после некоторой паузы спросил:

– Ты любишь детей, Безайс?

– Ты хочешь меня купить? – спросил Безайс подозрительно. – Новый анекдот какой-нибудь?

– Вовсе нет. Мне просто пришло в голову, что дети – это неизбежное зло.

Безайс был в каком-то некстати приподнятом настроении. Матвеев лёг на свой стол и не говорил больше ничего. В памяти отчётливо запечатлелось её лицо с подня-

тыми на него глазами и смеющимся ртом – так она смотрела на него, когда они прощались у дверей общежития.

На другой день вечером он пошёл к ней. В её комнате, где она жила с двумя подругами, было холодно и неудобно. На полу валялся сор, пахло табачным дымом, со стены строго смотрел старый Маркс. Подоконник был завален бумагой и немытой посудой. Девушки, все три, были одеты одинаково, в тёмные юбки и блузы с карманами, и это сообщало всей комнате нежилой, казарменный вид. Одна из них, курчавая, в пенсне на коротком круглом носу, лежала на кровати с молодым парнем, и они вместе читали одну книгу. В комнате был дым, топилась низкая безобразная печка, протянувшая в форточку ржавую трубу.

На улице слабо переливался звёздный свет. Они шли рядом, тесно переплетя пальцы. Неизвестно зачем Матвеев заговорил вдруг о своём детстве, о том, как выдрали его в первый раз и, рычащего, бросили в угол на кучу стружек; о том, как отец после получки пьяный приходил домой, останавливался посреди комнаты и говорил с достоинством:

– Одна минута перерыва! Топ-пай, топ-пай, шевели ногой!

И с весёлым презрением плевал на пол.

Потом он стал рассказывать, как споили его пьяные мастеровые, бросили вечером посреди улицы, и собаки лизали ему лицо и руки. Он внезапно замолчал на полуслове. «Зачем я это все рассказывал? – подумал он. – Точно хочу её разжалобить».

Несколько шагов они прошли молча.

– Они живы у тебя? – спросила она.

– Живы.

– А у меня жива только мать. Отец умер. Ну, я ей не давала такой воли, – попробовала бы она меня побить.

– А что бы ты с ней сделала?

– Я? Не знаю. Да она сама не посмела бы. Мать меня побаивается. О, я с ней не развожу нежностей. Лучше разговаривать с ними прямо. Я ей так и сказала: «Мама, ты меня связываешь по рукам и ногам». Это когда она начала говорить, что я прихожу домой в час ночи. «Я от тебя уйду, потому что ты не понимаешь моих запросов. У меня есть работа, есть новая среда, и я буду приходить домой, когда хочу». Она, конечно, начала плакать. «Я, говорит, твоя мать, я тебя родила». Несколько дней шёл этот скандал. «Мама, – сказала я ей, – я ведь не просила меня рожать. Это вы с папой выдумали, а я тут ни при чем». А в этот день совсем не пришла домой, ночевала в клубе. На другое утро она была как шёлковая.

– Ну, и как же теперь?

– Никак. Я её не замечаю.

Матвееву что-то не нравился этот разговор. Родители были его слабым местом. Всякий раз, когда он приходил домой, в низкие комнаты с тополями и вишнями под окнами, ему становилось как-то совестно и тоскливо. Отец поседел и ходил шаркающей походкой, у матери опухали ноги. Когда жизнь прожита и старость глядит выцветшими глазами, – что ещё делать людям, как не гордиться сыном? Вокруг него в семье установился культ обожания, и Матвеев чувствовал всю его тяжесть. На каждом митинге, где он выступал, он видел отца в мешковатом праздничном пиджаке и мать в шали с цветами – они сидели смешные,

торжественные, распираемые гордостью за своего необыкновенного, умного сына. Их жизнь брела в сумерках, в нетопленных комнатах, и карточки на керосин, на хлеб, на монпансье стояли неутоемыми призраками. Отец все ещё работал в мастерских на своей собачьей работе, которая выжимает человека, как мокрое бельё. Мысль о сыне помогала им жить. Матвеев знал, что мать собирает черновики его тезисов и по вечерам за морковным чаем долго читает отцу о системе клубного воспитания или работе с допризывниками. Он ничего не мог им дать, его время и мысли целиком отнимала работа, и перед стариками Матвеев всегда чувствовал себя неловко и совестно.

И он перевёл разговор на другую тему:

– У вас, в Хабаровске, тоже такой мороз, как здесь?

– Нет, у нас теплей. Но у нас ветер и туманы. Осенью бывает плохо: туман такой густой, что ничего не видно. Здесь я мёрзну ужасно, у меня сейчас пальцы, как лёд.

– Я их согрею, – сказал Матвеев решительно.

Он взял её руки, прижал к губам и стал согревать их дыханием. Она не отнимала их у него. Тогда он быстро нагнулся и поцеловал её в холодные губы.

Она слабо вскрикнула.

– Можешь меня ударить, – сказал он, тяжело дыша. – Я не буду отворачиваться...

– Не знаю, как это получилось, – говорил он Безайсу, – точно меня кто-то толкнул.

Она молчала, ожидая, что он опять поцелует её. Но у него не хватало духа. Он переступил с ноги на ногу.

– Ты думаешь, что это очень хорошо? – спросила она.

– Это не плохо, – ответил он, робко ёжась, – совсем не плохо. Мне ещё хочется.

Она не испугалась и не рассердилась, в её глазах дрожали любопытство и смех.

– Ты будешь говорить, что ты меня любишь?

– Да, – ответил он. – Я тебя очень люблю – больше всего. Ты мне важнее всего на свете...

Но он всегда был немного педантом.

– Кроме партии, – добавил он добросовестно.

Она засмеялась.

– Я не верю этому. Так никогда не бывает. Нельзя влюбляться с первого взгляда, а если можно, то этого надо избегать. Самое важное в жизни – это сначала работа, потом еда, потом отдых и, наконец, любовь. Без первых трех вещей жить нельзя, а без твоих поцелуев я могла бы обойтись.

– А я не мог бы.

– Но ведь до прошлого вечера ты даже не видел меня. Как же ты обходился?

– Ну, что ж из этого? Если б я увидел тебя позавчера, я тогда и влюбился бы.

– Правда?

– Честное слово.

Дверь открылась. Вышла группа девушек, смеясь и переговариваясь. Они спустились с крыльца и пошли, оглядываясь на Матвеева.

– Слушай, – сказал он, нагнувшись вперёд, – я скажу все сразу. Давай покончим с этим. Через неделю я еду в Хабаровск, а оттуда на юг, в Приморье. Едем вместе.

Она смотрела на него, и звёздный свет отражался в её глазах.

– Милая, поедem. Я не буду тебя обманывать, – конеч-

но, я уеду и без тебя. Но я буду очень счастлив, если ты согласишься. Может быть, это не самое важное, но для меня это очень важно.

Он схватил её за плечи и встряхнул так, что голова её откинулась назад. Она молчала. Тогда он прижал её к себе и несколько раз, не разбирая, поцеловал в лицо и в пушистую беличью шапку.

– Но ты совсем не знаешь меня, – прошептала она.

Он добрался до её шеи, и тёплая кожа мягко поддавалась его губам.

– Чепуха, – сказал он взволнованно. – Мы ещё увидим хорошее время. Это почему пуговица тут?

– Ты знаешь – я не девушка, – сказала она ещё тише.

– Мне это всё равно, – ответил он.

Но, рассказывая Безайсу, он пропустил все это. Он не придавал большого значения таким вещам, но думал, что лучше не болтать о них.

Потом они ходили всю ночь по морозным, звонким улицам и целовались. Он ощущал, как бьётся её сердце у него под рукой, и чувствовал себя способным на отчаянные вещи. Он был так полон счастья, что сначала отвечал ей невпопад. А она говорила о их будущей жизни, о любви, о работе. Он кивал головой и соглашался со всем.

Ждать Матвеева она не могла. У неё был уже взят билет, и знакомый комиссар обещал довезти её до самого Хабаровска.

– Это необходимо, – сказала она, когда Матвеев начал просить её ехать вместе, и он замолчал, почувствовав, что лучше не спорить. Было решено, что Матвеев встретит её в Хабаровске, и оттуда они поедут дальше, в Приморье.

– Институт подождёт, – сказала она смеясь.

Потом они заговорили о Москве, о том, как хорошо будет приехать туда, когда кончатся фронты, чтобы вместе учиться, ходить в театры и готовить обед на примусе.

– Если б можно было, – сказала она, – я бы хотела жить на разных квартирах. Так мы никогда не надоели бы друг другу. Я приходила бы к тебе, ты ко мне. Правда?

– По-моему, это было бы отлично, – ответил он, искренне стараясь поверить в это.

Было плохо только одно, но тут был виноват он сам. У него никак не выходили нежные слова, – он не умел их выговаривать. Он называл её дорогой и милой, но это были суконные, пресные слова, которыми можно назвать даже кошку. Несколько раз он порывался сказать какое-нибудь глупое слово – ну, пусть даже «сердечко» или «солнышко», но ничего не выходило. Он боялся, что это будет смешно.

Было темно, и потухали фонари, когда они снова остановились у её дверей.

– Ну, прощай, – сказала она, отворяя дверь. – Очень поздно, скоро рассвет. Ты не забудешь адреса в Хабаровске? Приходи завтра вечером ещё, – я буду ждать.

– До свидания, дорогая. Но ты забыла сказать мне об одной мелочи.

– О чем?

– Ты не помнишь?

– Нет, я даже не знаю.

– Что ты меня любишь. Ты так и не сказала мне этого.

Она прижалась к нему.

– Очень люблю. Ты доволен?

– Да. Ну, покойной ночи, моя...

Он запнулся.

– Моя дорогая, – сказал он, сердясь на себя.

БЕЗАЙС И РОМАНТИКА

Амурская дорога построена сравнительно недавно. Раньше, когда дороги не было, от Читы до Хабаровска зимой ездили на лошадях, летом по Амуру ходили старые, с высокой трубой и кормовым колесом пароходы, вспугивая в прибрежных камышах бесчисленные стаи уток. В тайге бурно цвёл терпкий лесной виноград, дикие пчелы гудели над дуплистыми деревьями и по прелой хвое мягко ходили громадные седые лоси. Осенью по Амуру густой стеной шла кета метать икру, и река кишела громадными рыбами. По берегу старатели воровски промывали золото, в реках ловили жемчуг. Здесь были свободные, немеряные места, и земля лежала нетронутой на тысячи вёрст.

Дорога пошла напролом, через болота и сопки. Работали полуголые китайцы, бритые каторжники. Топоры врубались в густую чащу деревьев, и тучи комаров звенели над кострами. На девственную землю клали шпалы, в стволы деревьев ввинчивали фарфоровые стаканчики телеграфа. Потом приехал губернатор и перерезал ножницами протянутые через полотно трехцветные ленты. Дорога была открыта.

А потом её рвали белые, рвали красные.

Из сырых таёжных недр выходили солдаты в полубубках неизвестных полков, резали провода, развинчивали рельсы, вбивали костыли и снова исчезали в тайге. Гнили и выкрашивались шпалы. На забытых полустанках из пола

росла рыжая трава, и ветер трепал на стенах расписания поездов. В тупиках ржавели паровозы с продавленными боками.

– Я знаю многих, – говорил Безайс, – которые будут завидовать нам от всего сердца. Сейчас у нас что-то вроде каникул. Там, в России, фронты кончились, и люди взялись за другие дела. Я видел своими глазами, как на вокзалах ставили плевательницы и брали штраф, если ты бросаешь окурок на пол. Это весёлое, бестолковое время, когда утром работали, а вечером шли к мосту на перестрелку с бандитами, там кончилось. А мы взяли и опять уехали в девятнадцатый год. Опять – фронт, белые и все это.

Они лежали на полу на шинелях, опершись на локти, и спорили с самого утра обо всём, что попадалось на глаза. Это был удобный комнатный спорт, тем более удобный, что не надо было даже вставать с места. Поезд стоял с утра на каком-то полустанке. Три часа они убили на разговор о том, зачем на телеграфных столбах нарисованы цифры и что они значат. Им было это решительно всё равно, но они спорили с азартом.

За окном блестело холодное солнце. На печке закипал чай. Безайс говорил теперь о прошедших военных годах. Это время ему нравилось, и он не променял бы его ни на какое другое. Разумеется, нельзя воевать вечно, но от этого ничего не меняется. Такое время, говорил он, бывает раз в столетие, и люди будут жалеть, что не родились раньше. Тысячи людей готовили революцию, работали для неё как бешеные, надеялись – и умерли, ничего не дождавшись. Все это досталось им – Безайсу, Матвееву и другим, которые родились вовремя. Всю чёрную работу сделали до

них, а они снимают сливки с целого столетия. Их время – самое блестящее, самое благородное время. Взять городишко Безайса – скверный, грязный, с бесконечными заборами, с церквами и Дворянской улицей. А ведь он кипел, – и каждая из его самых скверных улиц отмечена смертями и победами. На этой Дворянской, где раньше грызли семечки и продавали ириски, один парень из наробраза выпустил в белых шесть пуль, а седьмой убил себя. Безайс его знал, – он косил глазами и рассказывал глупейшие армянские анекдоты. Живи он в другое время, из него вышел бы уездный хлыщ, а впоследствии степенный отец семейства. А в наше время он умер героем. Был и другой – заведующий музыкальным техникумом. Это был толстенный, добродушный человек в широких штанах. Он обучал в своём техникуме несколько девочек брэнчать на рояле «Чижика» и называл это новым искусством.

А когда брали город у белых, он отбил пулемёт и взял в плен троих. Никогда в жизни он не делал ничего подобного и после сам не мог понять, как это вышло.

И он много знал таких примеров, когда самые обыкновенные, скучные люди вдруг совершали героические поступки. Это время облагораживает людей и даёт новый цвет вещам. Теперь в самом захолустном, засиженном мухами городишке есть свои герои, мученики и победы. Раньше дома, деревья, улицы существовали сами по себе, а теперь они взяты с бою, и каждый уличный столб является добычей.

И если бы Безайс мог выбирать, когда жить – сейчас или при коммунизме, он, не задумываясь, выбрал бы нынешнее время.

– Коммунизм, – сказал он, – будет продолжаться, может быть, сотни лет, а эти годы уже кончаются, и мы с тобой сейчас гонимся за ними, чтобы взглянуть на них в последний раз. Это – последнее свиданье, – они уходят – и восемнадцатый, и девятнадцатый, и двадцатый. Их дело кончено, они стоят в передней, надевают калоши и говорят: «Ну, ребята, всего хорошего».

Матвеев приготовился было возражать, но в это время вскипел чай. Они сели завтракать, потом снова повалились на шинели и пролежали несколько часов. Поезд все ещё не трогался.

– Надо бы пойти посмотреть, в чём дело, – сказал наконец Матвеев. – С самого утра стоит, проклятый.

– Вот ты и пойд.

– Я не нанимался ходить. А тебе трудно встать?

– Может быть, и нетрудно. Но мне неприятно смотреть на твоё безделье. Вместо того чтобы безнравственно валяться и прожигать жизнь, ты бы за водой сходил. Чья сегодня очередь?

– За водой я схожу, не беспокойся. А вот надо пойти на станцию и узнать, почему мы стоим. Пойди, Безайс, не валяй дурака.

– Вот ещё! Сам пойд.

Они препирались ещё несколько минут, но так и не пошли.

– Я не намерен убивать себя работой, пока ты будешь валяться, – заявил Безайс.

Тогда Матвеев отвернулся и заснул. Безайс подождал немного, сел за рояль, сыграл марш покойников, потом разбудил Матвеева, чтобы он пошёл на станцию, но Мат-

веев опять заснул. От него невозможно было добиться ни одного разумного слова. Безайс лёг около печки и, разглядывая символическую девицу на плакате, начал обдумывать, сколько метров сделала минутная стрелка его часов со времени отъезда из Москвы.

– Предположим, – напряжённо шептал он, – что часы в окружности пять сантиметров. Так. Значит, в день стрелка проходит сто двадцать сантиметров. Хорошо. Значит, в месяц она проходит...

Он долго трудился, умножая, но путался в нулях и принимался умножать сначала. Выходило, что стрелка прошла тридцать шесть метров. Он снова начал будить Матвеева – толкал его, перекатывал с боку на бок и хлопал ладонями над ухом.

– Знаешь, с момента отъезда из Москвы минутная стрелка моих часов прошла тридцать шесть метров, – торопливо сказал он, когда Матвеев приоткрыл глаза.

– Я так и думал, – пробормотал Матвеев, снова засыпая. Это становилось совсем скучным. Подождав немного, Безайс решил пойти на станцию. Он встал, оделся и вылез из вагона, но через минуту ворвался обратно и набросился на Матвеева.

– Вставай! – кричал он изо всех сил. – Вставай сейчас же, слышишь? Мы с тобой поезд проспали! Да очнись ты! Он ушёл.

– Кто ушёл?

– Поезд.

– Куда?

– Ну, я почём знаю? Наверное, в Хабаровск.

Матвеев опять лёг.

– Знаем мы эти шутки, – сказал он с глубокой уверенностью. – Это для дураков.

– Да честное слово, я тебе говорю! Поворачивайся скорей. Наш вагон стоит совершенно один, а поезда нет.

Матвеев сел.

– Безайс, ты врёшь, – сказал он с беспокойством.

– Ну, походи и посмотри.

Матвеев оделся, вышел и увидел, что Безайс говорит правду. Поезда не было, – их вагон стоял на путях один, и негры скалили зубы, точно потешаясь над ними. Напротив стояла крошечная станция с ржавой вывеской и зелёным колоколом, заметённая снегом почти до крыши; вокруг, насколько хватал глаз, были снег и горы.

Вдвоём они кинулись на станцию, ворвались в ободранную комнату и нашли там высохшего, морщинистого человека с большими круглыми ушами. Он возился на полу, починяя табуретку, и весь был увешан стружками. В углу, за невысокой загородкой, стояла серая коза и жевала сено.

– Кто отцепил вагон? – заревел Матвеев. – Вы кто такой? Где комендант?

Человек поднялся на четвереньки и взглянул на них сумасшедшими глазами.

– Кто отцепил вагон, я спрашиваю?

Они напугали дежурного своим криком, мандатами и буйными требованиями. На забытом, потерянном в снегах полустанке давно уже никто не говорил громким голосом. Они свалились сюда, как внезапное бедствие, и перевернули вверх дном тихий зимний день.

– Сию минуту, – говорил дежурный, стараясь скрыть

волнение неловкой и жалкой улыбкой. — Только одну минутку...

Он ушёл, шаркая подошвами, и вскоре вытащил за-спянного мужчину с большой бородой. Мужчина застёгивал подтяжки и зевал, показывая страшные зубы.

— Ну, отцепили, — говорил он, закрывая ладонью рот. — Чего? Ну, я отцепил. Потому что рессора сломалась. Значит, нужно. Тележка вся на левую сторону села.

— Какая рессора?

— Какая, — обыкновенная.

— Так почему вы нас не разбудили?

— Вот и не разбудили.

Матвеев записал его фамилию, пригрозил ему судом, штрафом и принудительными работами, после чего тот ушёл снова спать. От дежурного они узнали, как приблизительно было дело. С поспешной и неловкой вежливостью он объяснил, что поезд пришёл на рассвете, что от лопнувшей рессоры вагон осел набок и дальше идти не мог. Двери были заперты, — это правда, Матвеев на ночь сам запирает двери, — вагон отцепили и отвели на запасную ветку. Он соглашался, что беспорядки есть, но что он не виноват; что же касается козы, поставленной в служебное помещение на время холодов, то её он обещал убрать непременно. Всей фигурой и выражением несложного лица он старался подчеркнуть личную непричастность к событиям.

Они вернулись с дежурным к вагону и осмотрели рессору, придираясь к каждой мелочи. Потом дежурный ушёл к себе, а они залезли в вагон, оглушённые всем этим. Было уже время обеда, но им не хотелось ни пить, ни есть. Через

некоторое время Безайс опять побежал на станцию ругать дежурного. Он был особенно раздражён тем, что все объяснялось так обыкновенно и просто. Ему было бы легче, если бы произошёл взрыв, ураган или крушение поезда. Но выбрасывать людей на безвестном полустанке ради сломанной рессоры казалось ему вопиющей несправедливостью.

День прошёл плохо. На безоблачном небе полыхало солнце, освещая широкий снежный простор. Они пообедали молча, не глядя друг на друга; пошли на станцию узнавать, когда придёт следующий поезд. Там ничего не знали.

— Поездов не предвидится, может быть, накатит какой-нибудь случайный, — сказал им дежурный.

На вокзалах Безайса всегда охватывала тоска. Его угнетала обстановка, — точно кто-то нарочно собирал сюда самую пыльную выцветшую бумагу, самые мутные лампы, самых скучных людей. Он прочёл до конца висевшую на стене конституцию ДВР, погладил бесцельно бродившую кошку и, усевшись у стены, стал разглядывать дежурного, слегка нажимая веки пальцами. От этого дежурный двинулся и, качаясь, уплывал в глубь комнаты.

А вечером, когда они сидели в своём вагоне около потухающей печки и вполголоса ругали и дежурного и рессору, неожиданно пришёл поезд. Большой, чёрный, без фонарей, он стремительно вылетел из-за поворота и, фыркая, остановился около станции. Безайс и Матвеев долго бегали около заплombированных вагонов с боеприпасами, просились в теплушку, где помещалась сопровождавшая состав охрана, но их туда не пустили и послали в последние

вагоны, в которых ехал какой-то партизанский отряд. Оттуда глухо доносились крики и визг гармошки, из труб густо валил чёрный дым.

Гремя котелками, они побежали к концу поезда и постучались. Дверь теплушки слегка приоткрылась, бросив полосу света в снежную темноту.

– Вы кто?

– Командированные, – ответил Матвеев.

– Документы есть?

– Есть.

За дверью помолчали.

– А вы не жида? – крикнул из глубины чей-то весёлый бас.

– Нет.

– Ну, лезьте.

Они разом бросились в дверь, боясь, как бы там не передумали. От тёплого, спёртого воздуха, от раскалённой печки, от говора и смеха людей повеяло почти домашним уютом.

Коптящая лампа освещала путаницу людей, мешков и оружия. На белых сосновых нарах лежали и сидели, свесив босые ноги вниз, полуодетые от жары люди с бомбами и револьверами на поясах. Внизу, под нарами, перекатывались банки консервов, около стены была сложена высокая груда хлебных буханок. У печки на мешках сидели женщины и грызли кедровые орехи. Матвеев и Безайс устроились на каких-то ящиках у двери и огляделись.

На нарах азартно играли в карты, около свечки на листе рос банк из медной и серебряной мелочи. В стороне обросший бородой партизан неумелыми руками складывал

бумажного голубя. Здесь были собраны всякие люди: молодые, с начёсанными на лоб чубами, и старые, обкурённые дымом бородачи. По теплушке шёл крепкий спиртной дух, все были пьяны, и это объединяло их, молодых и старых, как братьев.

Более других был пьян невысокий худой человек с жёлтыми глазами, слонявшийся по вагону из конца в конец. Остальные звали его Майбой. Пепельные мокрые пряди волос падали ему на лоб, расстёгнутая от жары нижняя рубаша обнажала впалую, птичью грудь. Он был одет в оленьи сапоги, мехом наружу, и брюки офицерского сукна, сползавшие от тяжести висевшего на поясе нагана.

Вся его невысокая фигура была охвачена жаждой деятельности. Он искал себе занятие, и вагон был тесен для него. Его пальцы сжимались в кулаки, и он шептал что-то невнятное. Шаря по карманам, он вытащил кусок верёвки и, подойдя к огню, стал развязывать узел.

– Нет, ты мне сначала докажи, – слышал Матвеев его шёпот. – Рубль двадцать! Это дурак сумеет за рубль двадцать.

Потом он заглянул под нары и потрогал ногой лежавшие там мешки. Безделье томило его, как тяжесть. Он оглядывался, пошатываясь, когда вдруг внимание его привлекла валявшаяся на полу бумажка. Неверными шагами Майба подошёл и попробовал её поднять. Покачнувшись, он едва не сел на печку и, в поисках равновесия, ударился головой о притолоку. Некоторое время он стоял молча, враждебно рассматривая притолоку, а затем снова нагнулся за бумажкой.

Это была борьба со стихией. Поезд тронулся, и толчки

вагона ещё больше раскачивали Майбу. Лежавшие на нарах повернулись к нему и с любопытством ждали, чем это кончится. Он ловил бумажку яростно, стиснув зубы, сосредоточенно целился рукой – и снова промахивался. Раздражение его росло, он сердито оглядывался покрасневшими глазами. Казалось, что он сейчас схватит её, но в последнюю минуту его вдруг бросало в сторону, и это бесило Майбу. На него было тяжело смотреть. Один партизан слез с нар, поднял бумажку и протянул её Майбе. Майба дико взглянул на него.

– Брось! – крикнул он изо всех сил. – Положи её на место, паскуда! Ты что за холуй выискался? У меня в отряде холуёв нет! Ложи её на место.

Он снова начал ловить её, опрокинул котелок с водой, боком свалился на женщин, как вдруг схватил бумажку, стараясь вспомнить... зачем она ему понадобилась. Наконец он подошёл к печке, открыл дверцу и неловко сунул бумажку в огонь.

Он скромно отошёл в сторону с видом человека, выполнившего тяжёлый, но неизбежный долг. Это сознание привело его в мирное настроение. Некоторое время он стоял тихо, высматривая новое занятие. Когда Матвеев чувствовал на себе взгляд его жёлтых глаз, ему становилось неприятно, – было такое ощущение, точно кто-то царапает ногтем по стеклу.

Но бездействие уже начало тяготить Майбу. Он снова пошарил в карманах, вытащил горсть патронов и сунул их обратно. Он подошёл к партизану, сидевшему на нарах, взял бумажного голубя и внимательно его осмотрел.

– Гуль-гуль-гуль, – сказал он.

Матвеев смотрел на него с тоской, ожидая, что он ещё выкинет.

К ним подсел большой с благообразным мужицким лицом партизан. Он дышал на Матвеева тёплым запахом хлеба и спирта, разглядывал Безайса и наконец спросил:

– Родственники?

– Нет, – сказал Матвеев.

– Дружки, значит?

– Ага-а.

Он опять смотрел, чему-то улыбался и спрашивал:

– Откуда едете?

– Из Москвы.

– Так, из Москвы.

Лампа мерцала мутным огоньком, придавая всему невыносимо скучный вид. Пламя закручивалось тонкой струйкой копоти. Висевшие на стенах винтовки и подсумки глухо звякали в такт колёсам. Матвеев начал дремать. Он видел много вещей сразу: солнце, вишнёвые сады, футбольное поле, на котором его команда дала пить проезжим из Седельска ребятам. Сквозь колеблющуюся дымку сна он видел опять изгаженный пол, печку, беспокойного пьяного, шатавшегося по вагону. Теперь он стоял около женщин и вёл с ними вежливый разговор.

– Ах, сидите, пожалуйста, – говорил он, качаясь и хватая руками воздух. – Ради бога, я извиняюсь. Будьте любы, может быть, печь немного дымит?

– Так, дружки, значит? – спрашивал, широко улыбаясь, дядя с бородой.

– Да, – отвечал Матвеев сонно, – дружки.

Великолепный день – 4 июля 1920 года. Надолго запомнили его в городе, – день, когда загнали голубую сельскую команду и выиграли приз междугородного состязания. Приз был сделан из глины местным скульптором левого направления и назывался «Торжествующий труд» – страшная вещь, на которую нехорошо было смотреть. Там были перемешаны кубики, ноги, женские груди, колеса, грабли и ещё что-то. Комиссар всеобуча, седой красивый старик, поднёс команде на блюде этот глиняный бред, а сзади толпились губвоенкомат, губком партии, губком комсомола, гремела музыка, визжал женотдел; издали в толпе Матвеев видел отца и мать, сошедших с ума от радости. Потом команда пошла по городу – тяжёлые парни с крепкими затылками, похожие, как дети одной матери. Здесь были собраны лучшие в городе – самые широкие плечи, выпуклые груди, руки атлетов и бойцов. И Матвеев был среди них.

– Так из Москвы, значит?

– Из Москвы.

– Если вы заскочили в мой вагон, то будьте покойны, – говорил Майба. – Это кто тут подсумок запихнул? Это ты, Юхим, подсумок запихнул? Убери сейчас же к собачьей матери этот подсумок, он тут дамочке бок насквозь протолкал...

Потом опять:

– Нехорошо, Юхим! Вы его, ради бога, не слушайте. Он без этого никак не может. Он приедет домой и при своей маме будет матюкаться, потому что от такой жизни человек делается как лошадь и совсем отучается от людских слов. Вы ему говорите: «Будьте, мол, так любезны, дорогой то-

варищ Юхим Суханов, я вас прошу». А он тебе такое загнёт...

Через некоторое время Матвеев услышал снова:

– И дурак. Лаской-то ты больше добьёшься, чем таким конским обхождением. Разве можно так вкаты? Ты, брат, этим не бросайся, на чужой стороне и старушка – божий дар. Глядишь, – она тебя и пригреет...

Он игриво пошевелил ногой. Кто-то запел:

*Д-ты не покупай мне, папа, шубу,
Зимой блохи заедят,
А купи ты мне калоши,
Пускай люди поглядят!*

«Грех тщеславия», – сонно подумал Матвеев.

Майба говорил:

– Да-а. Вон ту старушку, если её железом обить, так ещё на десять лет хватит. Да-а...

Он подошёл к молодой женщине, закутанной в тёмный платок, и потрогал рукой её плечо. Она отодвинулась. Матвеев мельком увидел блеск её влажных глаз.

– Чего вы пугаетесь? Я не какой-нибудь зверь. Я не... это самое... какая она у вас, скажите пожалуйста!

Майба стоял к Матвееву спиной, и он видел только его острые лопатки. Майба говорил что-то вполголоса, но женщина молчала. Матвеев снова заснул.

Ему приснился его конь, большой добрый зверь. Он был немного тяжёл, но хорош на ходу. Его волосатые ноги ступали крепко, на лобастой голове была белая отметина, похожая на сердце. Грива и хвост были, как ночь, чёрные,

тяжёлые, мускулы спутанными клубками ходили под кожей. Были в дивизии хорошие кони, лучше его; корили матвеевского коня за то, что слишком уж мускулист и тяжёл. Но Матвеев этим не смущался. Зато его конь шёл напрямиком, со страшной силой, которую ничто не могло остановить. Они вместе прошли много вёрст и очень привыкли друг к другу.

А потом убили коня, утром, около реки, на жёлтом песке. Он умирал страшно, как человек, точно силясь сказать что-то. Навсегда остался в жизни Матвеева взгляд его тёмных глаз.

– Да, из Москвы, – сказал он сквозь сон.

Отчего-то волновался Безайс. Он тяжело дышал, возился, несколько раз толкнул Матвеева. Наконец донёсся его возмущённый шёпот:

– Вот я его застрелю, скота!

– Кого?

– Этого негодяя.

– Попробуй только, – ответил он, засыпая.

Тут он заснул крепко и уже ничего не слышал. Спал он долго, может быть несколько часов, раскачиваясь от толчков, когда вдруг почувствовал, что его бьют по голове, по спине, наступают на ноги. Бьют серьёзно, с размаху. Это было полной неожиданностью, он не успел даже проснуться и сознавал только, что вокруг стоит дикий шум. Сильный удар по голове вышиб из него остаток сна, и тут он вдруг необычайно отчётливо понял, что его волокут к настежь распахнутой двери вагона, за которой летит сплошная полоса серого снега.

Это наполнило его паническим ужасом. С отчаянной

силой Матвеев брыкнул ногами, вырываясь, и тотчас, поднятый десятком рук, вылетел из вагона наружу, перевернувшись в воздухе. Его подхватила тьма, режущий ветер, и все пропало в одном страшном толчке.

Рыча и размахивая руками, Матвеев вылез из снега, готовый на убийство. Последний вагон мелькнул перед ним, свистя колёсами, поднятый ветром снег летел, как белый дым. Он побежал за ними и тотчас остановился, поняв, что невозможно их догнать, – уже далеко впереди раскачивался красный фонарь последнего вагона.

Тогда Матвеев стал и огляделся. Он не искал объяснений, потому что они были невозможны. Случилось что-то невероятное, – таких вещей не бывает, – можно сойти с ума, придумывая им объяснение, и всё-таки ничего не выдумать. Несомненно было только одно, – что он стоит в поле, на морозе, наполовину мокрый от снега, и наверху, в чёрном небе, светят неясные звезды. Он сел на снег, потом снова встал и вдруг разразился длинным, неестественно вывернутым ругательством, – но оно не облегчило его.

Далеко впереди поезд стучал по рельсам, потом внезапно смолк – наступила внимательная тишина, как бывает на больших открытых пространствах. Матвеев засунул руки в карманы и выбросил оттуда пригоршни снега.

– Да что же это? – спросил он с обидой в голосе.

Он залез на сугроб, но тотчас провалился по пояс и выбрался обратно. Потом он услышал, что его зовут; оглянувшись, он в нескольких саженях увидел на снегу тёмную фигуру. Матвеев подошёл – это был Безайс. Он сидел, глядя на Матвеева снизу вверх, и слабо улыбался.

– И тебя тоже? – спросил он.

– Что?

– Вышибли?

– Я найду их в Хабаровске, – сказал Матвеев, опускаясь на снег, – и сделаю с ними что-нибудь. Сволочи! Они перепились, что ли?

– Они приставали к ней, – сказал Безайс, закрывая глаза.
– Чем это съездили меня по голове?

– Я этого так не оставлю! – сказал Матвеев, утешаясь бесполезными угрозами. – Но что же мы теперь будем делать?

Он вдруг заметил, что Безайс держит в правой руке револьвер.

– А это зачем? – спросил он с внезапной догадкой. – Ты?..

– Да, – ответил Безайс, бессмысленно улыбаясь. – Я не мог этого видеть.

– Ты стрелял?

– Нет, не успел. Они так двинули меня по голове, что чуть было не отшибли её совсем.

– Из-за этой девчонки?

Безайс спрятал револьвер в карман и виновато опустил глаза.

– Не ругайся, – сказал он просительно. – Это надо было видеть. Кажется, они хотели её изнасиловать.

– «Кажется»? А тебе какое дело?

Матвеев поднялся на четвереньки, дрожа от ярости.

– Идиот! – крикнул он с каким-то воплем. – Романтику разводишь? Защитник невинности? Вот я тебя убью сейчас!

Безайс почувствовал себя нехорошо. Его мутило.

– Я тебя... сам убью, – пробормотал он, тяжело справляясь с охватившей его слабостью. – Молодая девушка... очень хорошенькая. Ты хочешь, чтобы я спокойно смотрел, как её будут насиловать? Эта каналья Майба потащил её на нары.

– Да ведь тебе партийное дело поручено, дураку. Понимаешь? Ломай себе голову, если ты свободен. А сейчас тебя это не касается, все эти девицы и благородство.

Безайс хотел что-то ответить, но не успел. Последнее, что он видел, было испуганное лицо Матвеева и тёмное небо с неясными звёздами... Потом исчезло все.

ЭТО ШЕСТИДЮЙМОВКА

После Безайс часто и подолгу объяснял, как это вышло, но его самого не удовлетворяли эти объяснения. Конечно, это было нелепостью, внезапным порывом, который заставляет человека делать самые странные вещи. Он вынул револьвер произвольно, ни о чём не думая. Но он был настолько молод, что ещё не научился глядеть на людей как на материал, не умел заставлять себя не думать и не видеть, когда это нужно.

– Я сделал глупость, – говорил он много позже, вспоминая об этом, – но тем не менее должен сказать...

– Замолчи, замолчи, – говорил Матвеев.

Он объяснил Безайсу свою точку зрения. Один человек дёшево стоит, и заботиться о каждом в отдельности нельзя. Иначе невозможно было бы воевать и вообще делать что-нибудь. Людей надо считать взводами, ротами и думать не об отдельном человеке, а о массе. И это не только

целесообразно, но и справедливо, потому что ты сам представляешь свой лоб под удар, – если ты не думаешь о себе, то имеешь право не думать о других. Какое тебе дело, что одного застрелили, другого ограбили, а третью изнасиловали? Надо думать о своём классе, а люди найдутся всегда.

– Быть большевиком, – сказал Матвеев, – это значит прежде всего не быть бабой.

Но Безайс с ним не соглашался.

Открыв глаза, он увидел Матвеева, наклонившегося над ним и нащупывавшего сердце.

– Вынь руку, Матвеев, – сказал он, поднимаясь и стыдясь своей слабости. – Пальцы холодные.

– Можешь ты встать?

– Попробую. А ты как?

Он повернул голову и почувствовал, что у него замёрзли уши. Оглядевшись, он увидел над головой тёмное, усеянное звёздами небо. Матвеев стоял на коленях и поддерживал его за плечи.

– Я совершенно замёрз, Матвеев, – сказал Безайс, трогая уши и пытаясь встать. – Ты цел?

– Я-то ничего.

Безайс тёр уши и медленно собирался с мыслями. Он осторожно потрогал голову. Слева кожа на темени была рассечена, и кровь медленно сочилась по щеке.

– Здорово они меня отделали, – сказал он виновато.

– Это все в твоём вкусе, – желчно ответил Матвеев. – Ну, скажи, пожалуйста, кто просил тебя лезть? Зачем это нужно?

– Да я тут ни при чем, – капризно возразил Безайс, прикладывая снег к рассечённой голове и морщась. – Во

всем виновата эта дура. Не мог же я спокойно смотреть, как её насиляют!

– Легче, – сказал Матвеев. – Она сидит позади тебя.

Безайс оглянулся и смутился. Девушка стояла позади него, как и Матвеев, на коленях, и молча грела руки дыханием.

– Если вы считаете меня дурой, – сказала она обиженно, – то сидели бы спокойно. Я сама выпрыгнула.

Положение было неловкое, и Безайс придумывал, что ему сказать, когда снова почувствовал себя нехорошо. Прошло несколько пустых мгновений, в которые он видел, не сознавая, лицо Матвеева, снег, небо. Минутами он слышал звуки голосов. Он чувствовал только, что замерзает совсем.

– Нет, – услышал он голос Матвеева. – Поезд делает в среднем двадцать вёрст в час. Нельзя же так.

– Я ничего не понимаю, – устало ответила она. – Мне всё равно.

Потом он почувствовал, что Матвеев трясёт его за плечи. Сделав усилие, он сел и попросил папироску. При свете спички он увидел её лицо, полное, с веснушками на розовых щеках. Хлопья снега белыми искрами запутались в её светлых волосах. По щеке до подбородка алела царапина. В вагоне ему отчего-то казалось, что у неё чёрные глаза и худое, нервное лицо. Он снова зажёт спичку, но она отвернулась, и Безайс увидел только оцарапанную щеку и шею, на которой курчавились мелкие завитки волос.

От папиросы у него закружилась голова, и тело начало цепенеть в зябкой дремоте.

– Как она называлась, эта станция? – спросил Матвеев. – Вы не знаете, Варя?

– Не знаю. Может быть, нам лучше вернуться...

– Нет, пойдём вперёд, – ответил он, бесцельно копая каблуком снег. – Ах, черт, какая глупая штука! Вот ещё не было печали!..

– Это все из-за меня.

– Да бросьте вы, – оборвал он её. – Ну, из-за вас. Что из этого?

«Скотина», – подумал Безайс. И вслух сказал:

– Она тут ни при чем. Это я виноват.

– Вот-вот. Ты... – начал Матвеев, но замолчал и махнул рукой. – Как у тебя дела? – прибавил он спокойнее. – Можешь ты идти?

– Могу. Но только лучше развести костёр и остаться здесь до утра.

– Нет, нет, никаких костров. Так скорее можно замёрзнуть. Идёмте, пожалуйста.

Ему казалось все это невыносимо глупым.

– Холодно, – сказала она, ёжась. – Вы в ботинках? Как же вы пойдёте?

– Как-нибудь, – ответил он сухо.

Он оглядел её согнутую, осыпанную снегом фигуру, и ему стало жалко её. «Чего это я в самом деле? – подумал он. – Она-то при чем тут?»

– Безайс, не спи, пожалуйста, – сказал он.

– Я не сплю, – ответил Безайс. – Я есть хочу.

– Потерпи немного.

Они встали. Безайс пошатнулся и снова сел на снег. Матвеев и Варя подняли его, положили его руки на плечи и повели. Безайс с трудом передвигал ноги, чувствуя непреодолимое желание заснуть. Кровь с шумом стучала в

висках, перед глазами расплывались радужные круги. Его тянуло лечь, расправить немеющие руки и закрыть глаза. Но надо было идти, и он шёл, обняв Варю за шею, может быть, несколько крепче, чем это было нужно, чувствуя на щеке её тёплое дыхание. Они шли по шпалам, ища впереди огней станции. Но вокруг был густой снежный мрак.

Сначала идти было невыносимо трудно. Хуже всего было ногам, появилось особое ощущение в коленях, будто кость трётся в чашечке и скрипит. Это было страшно неприятно, и Безайс старался отогнать эту мысль. Чтобы избавиться от этого ощущения, он представил себе, как длинная вереница лошадей прыгает через канаву, и стал их считать. Сначала он никак не мог сосредоточиться и все время отвлекался. Досчитав до пятидесяти, он заметил вдруг, что девушка идёт с трудом и тяжело дышит. Он снял руку с её плеча.

– Теперь не надо, – сказал он. – Мне гораздо лучше.

И он пошёл сзади них, путаясь и увязая в снегу. Иногда ему казалось, что он сейчас упадёт. Тогда он останавливался, глубоко вбирал воздух и шёл дальше. Постепенно он перестал чувствовать ноги ниже колен и шёл машинально, как в бреду, он не ощущал даже усталости. Перед ним мелькали лошади, они подходили к канаве и прыгали, однообразно взмахивая хвостом и гривой. Он считал их шёпотом, пока не пересохло во рту.

– ...на таком расстоянии. Но ведь это не самое главное, правда, Безайс? – услышал он голос Матвеева.

– Правда, – устало ответил Безайс. – Мне есть очень хочется.

Но тотчас же забыл об этом. Голос Матвеева доносился

глухо, точно издали. После от этой ночи у него осталось воспоминание, что он шёл бесконечно долго, один, по громадному снежному полю, шёл вперёд, ничего не думая и не зная.

Под утро стало теплей. Проснувшись, Безайс увидел лес, взбиравшийся высоко на гору, – смутно он помнил, что ночью они ходили туда собирать хворост и потом долго разводили костёр смятой газетой. Небо затянуло облаками, и шёл густой, крупный снег. По другую сторону рельсов круто возвышался голый утёс. Сквозь падающий снег впереди виднелась глубокая лощина, на дне которой рыжим пятном лежало болото.

Он сидел на подстилке из хвойных веток и, опершись на локоть, с нетерпением наблюдал за чайником. Матвеев лежал с другой стороны костра и заботливо разглядывал царапину на руке, зажившую уже около недели назад. Варя сидела рядом, отскабливая ножом хлебные крошки и сор с куска ветчины.

Матвеев носил мешок на спине, и из вагона его выбросили вместе с мешком. В мешке был сахар, фунт ветчины, хлеб и чай. Это было совсем немного, и Матвеев предлагал разделить еду на три дня. Безайс после ночной дороги чувствовал волчий аппетит и с легкомыслием здорового человека настаивал на увеличении порции.

– Очень это хорошо, – говорил он, – морить человека голодом.

Но Матвеев упёрся и не соглашался никак:

– Не валяй дурака, ты не маленький.

– Ну, хорошо, тогда я умру, – возразил Безайс.

Эта мысль ему понравилась, и он говорил о своей

смерти с самого утра. Он показывал в лицах, как он холодеет на снегу и прощает их за все, а они ломают над ним руки и проклинаят эту подлую мысль кормить его впроголодь. Потом он рассказал, как Матвеева мучит его чёрная совесть, а Варя рыдает и говорит, что никогда не сможет забыть этого молодого симпатичного блондина.

– Перестаньте, – сказала Варя. – Что это вы все время говорите о смерти? Я очень не люблю таких разговоров, мне становится немного страшно. Мне начинает казаться, что кто-нибудь и в самом деле умрёт. Пойдите лучше за дровами. Они подходят к концу.

Идти за дровами мог бы, собственно, один из них, но они, точно по молчаливому уговору, поднялись и пошли вместе.

– Я отлежал ногу, – сказал Матвеев.

Они вошли в сумрак громадных деревьев, широко раскинувших в стороны тяжёлые лапы. Вверху, сбивая снежную пыль, мелькнула рыжим комочком белка. В лесу было тихо. Безайс оглянулся на Варю и толкнул Матвеева.

– Какова? – спросил он.

– Да, – неопределённо ответил Матвеев. – Действительно.

– Ничего себе, а?

– Вот именно.

– Все на месте, – сказал Безайс, отламывая сухую ветку. – Заметил, какие у неё глаза? Глаза в женщине – это, брат, самое главное. Веснушки её ничуть не портят, скорее наоборот. И тут, спереди, эта выставка.

– Ну, тут у неё немного.

– И очень хорошо, что немного. А тебе сколько нужно?

– Мне ничего не нужно. У меня своё есть.

Безайс снял шапку и отряхнул её от снега.

– У тебя – да. Ты живёшь как на полном пансионе. Мы только ещё едем, а тебя там уже ждёт, плачет и думает, что ты попал под поезд. Ты баловень судьбы. А я? Мне нигде ничего не отломится.

Он сделал снежок, бросил в Матвеева, но промахнулся.

– Скучает – может быть, но не плачет, – сказал Матвеев.

– Она не из таких. Я видел, как она в общежитии вынула руками из мышеловки мышь и бросила её коту. Сам я не боюсь мышей, это пустяки, но для женщины – это редкость. В ней нет ничего этого бабьего. О самых рискованных вещах она говорит спокойно и просто. «Я, говорит, знаю, почему мальчишки любят девочек».

Он остановился и прищурил глаз, показывая, как она говорит.

– Да. «К чему, говорит, нам этот условный язык? Будем говорить прямо». О брат, ты сам увидишь!

– Ты готов, – сказал Безайс. – Она тебя пришила к себе. У тебя будет такой ангелочек, он будет кричать «уа-уа» и звать тебя папой.

– Как «пришила»?

– Да так. Ты женишься на ней. И так далее, и тому подобное.

– Ты ничего не понимаешь, Безайс. Это потому, что ты её не видел. Она сделана из другого. Ты представляешь себе, что такое товарищеские отношения между мужчиной и женщиной?

– Представляю. Это для некурящих. Когда мужчина делает гнусное предложение честной женщине и получает

отказ, он говорит: «Между нами будут товарищеские отношения». О, я знаю эту механику!

– Эх ты! Много ты знаешь! Можешь быть уверен, я отказа не получил. Товарищеские отношения означают, что мы не будем друг друга стеснять. Мы сходимся и живём, пока это не мешает нам, нашей работе, нашим вкусам. А если мешает, – то очень просто: «Вам направо? Ага. А мне налево». Только и всего.

– Сколько же лет ты думаешь с ней прожить?

– Не знаю. Может быть – сто.

– Это кто же заговорил о таких отношениях?

– Заговорила она. Но я с ней согласился.

– Меня, – сказал Безайс, – удивляет эта штука. Мне кажется, я бы обиделся. Только вы успели объясниться, поцеловаться и все такое, как сразу заговорили о том, что будете друг друга связывать, стеснять, надоедать. И начали придумывать, как бы, в случае чего, разойтись потихоньку. Тебе это нравится?

– Это просто сознательное отношение к вещам. И я и она – мы знаем, что такое любовь и для чего она. Мы сходимся, как разумные люди, и обсуждаем наше будущее. А тебе хотелось бы такую восторженную бабищу со слезами, с клятвами, с локонами на память и весь этот уездный роман?

Безайс помолчал.

– Черт его знает, чего мне хочется, – сказал он нерешительно. – Но, кажется, я был бы не прочь, чтобы она немного – самую малость – поплакала и назвала меня ангелом. Но вот на чём я настаиваю, так это на том, что когда я ей признался бы в любви, то чтобы она покраснела. Пусть

она относится к любви сознательно и все знает. Но мне было бы обидно, если б я ей объяснялся в любви, а она ковыряла бы спичкой в зубах и болтала ногами. «Ладно, Безайс, милый, я тебя тоже люблю». Словом, пусть девушки будут передовые, умные, без предрассудков, но пусть они не теряют способности краснеть.

– Было темно, – сказал Матвеев, снова рассматривая царапину. – Может быть, она и покраснела. Но вообще-то – это дурацкое требование. Зачем это тебе?

Их звала Варя.

– Где вы про-па-ли? – слышали они.

– Сейчас! – крикнул Безайс.

Они отломили ещё несколько веток, отряхиваясь от осыпавшегося с деревьев снега, и пошли обратно. Внезапно они разом остановились и взглянули друг на друга. В неподвижной тишине леса отчётливо прокатился густой ба-совый гул, донёсшийся издалека. После нескольких минут ожидания послышался слабый, но отчётливый звук. Безайс опустил дрова на снег и молча глядел в глаза Матвееву.

– Это может быть только одним, – сказал Безайс.

– Да, – ответил Матвеев. – Это шестидюймовка. Выстрел и разрыв.

– Не очень далеко отсюда, вёрст сорок, я думаю.

– Может быть, даже дальше. Сегодня тепло, а в тумане звук слышен дальше. Ночью можно определить точнее – по времени между вспышкой выстрела и звуком. Может быть, даже вёрст пятьдесят отсюда...

– На этой станции говорили, что до Хабаровска осталось пятьдесят вёрст.

– Это ничего ещё не значит. Может быть, учебная стрельба.

Новый гул выстрела прервал его слова. Они остановились, напряжённо прислушиваясь. Звук был глухой, и разрыва они не слышали.

– Учебная стрельба в прифронтовом городе? – сказал Безайс. – Этого не может быть. Ты сам понимаешь. Тут что-нибудь другое.

– В конце концов удивляться тут нечему. Ведь мы и раньше знали, что фронт около Хабаровска. Новость какая! Будто ты никогда стрельбы не слышал.

– Да, но тут все дело в том, по какую сторону фронт. Что-то очень уж хорошо слышно.

– Ну, может быть, мы ближе к Хабаровску, чем думаем.

Они вышли из леса. Варя, наклонившись над мешком, перетирала кружки, внося в это занятие столько женской кропотливости и внимания, точно не было ни тайги, ни выстрелов.

– Это бывает, что иногда женщины спокойнее мужчин, – сказал Матвеев. – Но у них это происходит просто от недостатка воображения. Они не умеют думать о завтрашнем дне.

– Где вы были? – спросила она. – Я думала, вы заблудились. Чай, наверное, остыл уже.

– Велика важность – чай! – ответил Безайс, рассеянно прислушиваясь.

Завтрак прошёл в молчании.

– Это немисливо, – сказал Матвеев, глядя на Варю, укладывавшую мешок. – Так нельзя. Нам надо спешить изо всех сил, а мы топчемся в этом проклятом лесу. Мы не имеем никакого права ввязываться в разные приключения. С меня довольно этой еды. Сейчас мы уже были бы в Хабаровске.

Они встали, забросали костёр снегом и пошли. Выстрелов больше не было слышно. Матвеев хотел было взять Варю под руку, но раздумал. Он пошёл впереди, стараясь попадать ногами на шпалы. Снег пошёл ещё гуще – он падал тяжёлыми хлопьями величиной в пятак, и воздух был мутный, как молоко. Идти было тяжело, на каблуках быстро намёрзли ледяные комки. Сначала Матвеев думал о снежных заносах, потом отчего-то о футуристах. В голове, в такт шагам, вертелись стихи:

*Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой...*

Иногда он сам писал стихи, и это было хуже всего. Он знал, что они выходят у него плохие, но он твёрдо верил в великого бога упрямых людей и не терял надежды научиться писать их лучше. Эту слабость он скрывал изо всех сил и стыдился её. Однажды он рискнул под условием строжайшей тайны напечатать их в губернском «Коммунисте». На другой же день его встретили в райкоме пением стихов, переложённых на мотив «Ах, попалась, птичка, стой...».

Его нагнал Безайс.

– Не беги так, – сказал он. – Она не может поспеть за нами.

Матвеев оглянулся. Варя отстала. Она шла, согнувшись, засыпанная снегом. Почувствовав на себе его взгляд, она подняла голову и улыбнулась, но Матвеев отвернулся.

– Эх, черт, – сказал он. – Вот ещё горе! Нечего сказать, убили бобра. Ну что мы с ней будем делать?

– Да чем она тебе мешает?

– Вот она устанет, сядет и скажет: «У меня ботинки жмут. Вы сходите за дровами и разведите костёр, я озябла. А мне хочется хлеба с изюмом». Знаю я их.

– Ну, так слушай, я тебе скажу. Она мне нравится, эта девочка. Я хочу попробовать. Не всем везёт, как тебе, – ты получил свою задаром, а мне придётся добывать её в поте лица. Я буду трудиться, как вол: говорить ей, что я одинок, что люди меня не понимают и что у неё глаза, как, скажем, у газели. А потом и закручусь в водовороте страстей.

Матвеев взглянул на него с любопытством.

– Ах, какой вы проказник, – сказал он. – Лёгкий разврат, а?

– О нет, несколько поцелуев. Так – чай без сахара. Я уже отвык после Москвы от этого.

– А у тебя в Москве было что-нибудь?

– Одна брюнетка, – ответил Безайс таким тоном, как будто это была правда. – Но ведь и эта ничего, как ты находишь?

Матвеев оглянулся.

– Румяная и белокурая. Я не люблю пшеничных булок. И потом она, наверное, мешаночка.

– Не всем же передовые и умные. А мне нравится эта тётка.

Некоторое время они шли молча.

– Но у тебя мало времени, – сказал Матвеев. – В Хабаровске мы будем, наверное, завтра. Ну, дня три пробудем в городе, а потом поедem дальше. Ты ведь не думаешь брать её с собой? Всего пять дней.

– Этого довольно. Потом неизвестно, найдём ли мы на

этой станции поезд. А идти до Хабаровска пешком – хватит времени.

Матвеев задумался. В самом деле, поезда могло и не быть.

– Жизнь собачья, – сказал он. – Хоть бы социализм скорей наступал, что ли. Что мы в обкоме будем говорить? Рассказывай там, почему опоздал.

– Я что-то не очень уверен, что в городе наши. Эта стрельба не выходит у меня из головы.

– Какой он нервный.

– Неправда. Меня это беспокоит, но я не боюсь. Я охотно отдам жизнь за революцию и за партию.

Матвеев поморщился. Отчего-то он не любил употреблять в разговоре такие слова, как «мировая революция», «власть Советов», «победа пролетариата». Это были торжественные, праздничные слова, и они портились в разговоре.

– Для этого не надо большого умения. Смерть очень несложная штука. Умирают все, это врождённая способность. А вот сесть на поезд и приехать вовремя – это надо уметь.

– Ну, я пойду к ней, – сказал Безайс. – Прежде всего работа, а удовольствия потом. Буду сейчас рассказывать, что я почувствовал, когда её увидел.

– Держись крепче, старик!

Безайс отстал, и Матвеев пошёл один. У себя на родине он никогда не видел, чтобы снег шёл так густо. Рельсы занесло совсем, и нога глубоко погружалась в сугроб. Он покачал головой. Безайс, животное! Матвеев догадывался, что Безайс за всю жизнь не поцеловал ещё ни одной жен-

щины и только мечтает об этом, как мальчишка о настоящем ружьё. Он хотел посмотреть, как Безайс ухаживает за ней, но было лень оборачиваться, – при малейшем движении головы снег сыпался за воротник и отвратительно таял на спине.

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК

Под вечер, когда уже темнело, Матвеев за поворотом дороги увидел идущего им навстречу человека.

– Станция близко, – сказал Безайс. – Какой-нибудь дорожный мастер осматривает участок. Теперь я скорее дам себя убить, чем выбросить из вагона. Мне даже петь хочется.

Они подошли ближе. Это был пожилой человек с висящими усами, в пальто и беличьей шапке. Он шёл, глубоко засунув руки в карманы.

– Здравствуйте, – сказал Матвеев, когда они поравнялись. – Далеко тут до станции?

– До какой? – спросил он, разглядывая их. – Станций много.

– До самой ближней.

– Вёрст, может быть, десять. А то и все пятнадцать.

Матвеев смотрел на него с недоумением.

– Сегодня-то вам не дойти по такому снегу. Ночевать придётся.

– А вы как же? Со станции идёте?

– Нет, я так...

Они помолчали. Встречный снял шапку и отряхнул её от снега, обнажив лысеющую голову.

– Помогите мне, молодые люди, – сказал он внезапно. – Я вам, может быть, заплачу. Шутя заработаете по полтиннику на брата и человека выручите. Такой выдающийся случай – лошади у меня понесли, накажи их бог.

– Отчего же они понесли?

– Шут их знает, что с ними сделалось. Должно быть, зверя испугались. А может, и не зверя, так чего-нибудь. Лошадь – животное пугливое, ручное, ей чего-нибудь взбредёт в голову, она и пошла скакать. Лес – она в лес бежит. Вода – она в воду полезет. От страха.

Матвеев смотрел на него с сомнением.

– Ну что ж – лошадей искать? Они, может быть, за десять вёрст убежали.

– Зачем их искать, – лошади тут. Да вы подите, посмотрите сами, это недалеко. Сначала как бросятся в сторону, да все по пням, по кочкам, а потом выехали на линию и ухнули в ров. Сани перевернули, товар вывалили. Я вам заплачу, пожалуйста, не беспокойтесь. Я такой человек, что если скажу, – это как отрезано.

Матвеев взглянул на Безайса.

– Ну как?

– Пойдём посмотрим.

Они прошли несколько сажень и увидели лошадей. Под откосом лежали на взрытом снегу широкие, обшитые рогожей сани. Боком, наступив на вожжи и провалившись в снег почти по брюхо, стояли две лошади. Одна повернула голову и равнодушно смотрела на людей немигающими глазами. На снегу в беспорядке валялись большие, перетянутые верёвкой тюки, широкая овчинная шуба и пустая бутылка из-под молока.

– Ну, и что надо с этим делать? – угрюмо спросил Матвеев.

Дорога шла по той стороне насыпи, за лесом. Надо было выпрячь лошадей, перетащить сани через насыпь и перенести груз.

– Уж вы, пожалуйста, помогите, – просил он.

Матвеев сел на рельс и закурил. В левом ботинке вылез гвоздь, и Матвеев растёр себе большой палец. Он мысленно поклялся, что больше не пойдёт пешком – пятнадцать вёрст! – и теперь смотрел на встречного, как на свою добычу. Глупо было выпускать его из рук.

– Может быть, мы и поможем, – сказал он осторожно. – Куда вы едете?

– В Хабаровск.

– Так. Довезите нас до следующей станции, и мы вытаским ваше барахло.

– Не могу. Всей бы душой, но не могу.

– Почему?

– Если б я по своей воле ездил, тогда конечно. А я на службе, мне нельзя такой крюк давать. Я скупщик, езжу от торгового дома Чурина по деревням за пушниной. Станции все остаются от дороги в стороне. А мне некогда.

Матвеев пошевелил пальцами в карманах. Мысленно он прикинул: насыпь вышиной в сажень, груза пудов десять. Это была игра наверняка.

– А когда будете в Хабаровске?

– Думаю, завтра к вечеру.

– Ладно, идёт. Мы поедem с вами. Довезите нас до Хабаровска. Что ты скажешь, Безайс?

Безайса перебил скупщик:

– Лошадёнки-то заморённые. А вас трое. Знаете, какое теперь время, к овсу подступиться нельзя. Я уж лучше заплачу, чтоб все было хорошо и без всякой обиды.

Матвеев встал и потушил папиросу о каблук.

– Нам некогда, – сказал он. – Подождите других. Может, кто-нибудь захочет заработать.

– Куда же вы?

– Дальше пойдём. В Хабаровск.

Они отошли на несколько шагов.

– Погодите! – гаркнул скупщик. – Станный у вас характер! За двадцать рублей, извольте, сvezу.

Матвеев остановился.

– Пять рублей, больше не дам.

– Странно. Кто же повезёт вас за пять-то рублей?

– Вы и повезёте. Больше не дам ни копейки.

– За пятнадцать?

– Пять рублей. И говорить нечего.

– Странно. Золотом – пять рублей?

– Золотом.

– Ну, хорошо, поедемте.

Сначала отчего-то казалось, что будет легко вытащить наверх сани и груз, но когда Матвеев слез вниз и потрогал массивный тюк, он понял, что тут придётся поработать. Лошади безнадёжно запутались в упряжи, и приходилось раскапывать под ними снег, чтобы найти концы вожжей. Когда наконец выпрягли лошадей, началась мука с санями. Они были дьявольски тяжелы и проваливались в рыхлый снег почти целиком. Скупщик и Безайс залезли наверх и тянули за привязанные к передку верёвки. Матвеев толкал снизу, переругиваясь с Безайсом. Потом Матвеев залез на

насыпь, а они спустились вниз и возились там, пока не выбились из сил.

– Надо утоптать снег, – сказал Матвеев, бросая верёвку.

Они закричали, что это чепуха и что из этого ничего не выйдет. Так они препирались несколько минут, а потом всё-таки взялись утаптывать снег. Матвеев оказался прав: вершок за вершком сани поднялись кверху и ухнули вниз по другую сторону насыпи.

Было уже совсем темно, когда вытащили рогожные тюки и уложили их в сани. Скупщик запряг лошадей, а потом пошёл искать бутылку из-под молока и ходил по снегу, зажигая спички. Бутылка так и не нашлась.

Отряхнувшись от снега, они уселись в сани. Матвеев сел было рядом с Безайсом, но потом передумал и отодвинулся ближе к передку. Было тесно, и они старались разместиться так, чтобы занимать меньше места. Сани тронулись, но скупщик вдруг остановил лошадей.

– Память проклятая, – сказал он. – Придётся вам опять вылезти. Совсем было забыл пилюлю принять.

– После примете, – возразил Матвеев. – Успеется. Что у вас такое?

– Нет, надо сейчас принять. Три раза в день, за два часа до пищи. У меня вялость кишечника.

Пилюли были в корзине, под сиденьем. Все вылезли и ждали, пока он доставал корзину и искал пилюли. Надо было вынуть несколько рубаш, чашку, мыло, сахар и варёную курицу. Матвеев начал зябнуть и нетерпеливо переступать с ноги на ногу. Скупщик зажёл свечу и шуршал бумагой в корзине.

– Ничего не понимаю, – говорил он. – Перед обедом

положил сюда, а теперь их тут нет. Странно. Или, кажется, я их в жёлтый баульчик засунул? Память у меня, как худой карман. Когда ещё мальчиком был, ничего наизусть за-твердить не мог. Сколько я муки из-за буквы ять принял! «Звезды, гнезда, седла, цвёл, надеван, приобрел». Обязательно что-нибудь пропущу. Учитель был такой сукин сын. «Где, кричит, у тебя „седла“? Повтори сначала. Жуканов Филипп!» Повторю, а он опять орёт: «А куда ты девал „надеван“? Жуканов Филипп, пошёл в угол!»

Безайс с тоской зевнул.

– Ищите вы, ради бога! Помереть хочется. Нашли время пилюли принимать!

Он нашёл их в корзине, в рукаве рубахи. Когда он проглотил пилюлю и уложил корзину, все снова уселись в сани. Молодой месяц, похожий на нежный ноготок, под-нялся над деревьями. Лес стоял по обеим сторонам боль-шими чёрными стенами.

Матвеев лежал, отдаваясь ощущению езды. Он отды-хал, чувствуя, как его кожу кусок за куском заливает слегка колющая теплота. На его ногах сидел Безайс и рассказывал Варе разные истории. Теперь, когда Безайс сообщил ему о своих планах, Матвеев смотрел на девушку с некоторым любопытством. «Недурна, – решил он про себя, – но это самое большее». Он не завидовал Безайсу. Почти в каждом мещанском семействе растут такие девушки, благоразум-ные, с румянцем и косами. Она говорила мало, больше отвечая на вопросы. Днём он слышал, как она рассказывала Безайсу, какие животные самые умные. Она думала, что самые умные – слоны, и даже читала в календаре, как слон ухаживал за ребёнком. Это поражало её несложную душу,

— она несколько раз возвращалась к слону, хохотала, и Безайс угодливо смеялся вместе с ней. Потом они завели томительный разговор о том, кто что любит.

— Вы любите Лермонтова? — спрашивала она. — Царицу Тамару?

— Люблю, — отвечал Безайс и через минуту, без всякой связи с Лермонтовым, спрашивал её, любит ли она хоровое пение, а потом они вдвоём приставали к Матвееву с Лермонтовым, и с хоровым пением, и с катаньем на лодке, и с котятками, и с брюнетами, и ещё с какой-то ерундой. О самых общеизвестных вещах она говорила со смешной горячностью: «музыка облагораживает душу», «женщина должна быть подругой мужчины», — говорила так, точно сама додумалась до этого.

Месяц поднялся высоко над чёрными деревьями. От лошадей шёл тёплый запах пота и сена, напоминавший стойло, скрип колодезных журавлей и соломенные крыши деревни. Матвеев перевёл взгляд на Жуканова и стал его разглядывать со счастливым сознанием, что можно сидеть так и глядеть, не двигаясь, на лица, на звезды, на лошадей. Лень держала его за плечи тёплыми руками, и он снисходительно разглядывал понурые усы Жуканова, его незаметные глаза и сухой нос. Он простил ему большую волосатую родинку над верхней губой и крошки сухарей, запутавшиеся в усах. Он не хотел думать о нем плохо, об этом человеке с родинкой и крошками, встретившемся на его большом пути. Пройдёт ещё день, и он потеряется где-то позади, этот скупщик пушнины, оставив в памяти лёгкий след.

Поздно вечером они приехали в деревню и остано-

лись у знакомых Жуканова. Долго стучали в высокие ворота, потом в калитке приоткрылось небольшое оконце, чей-то густой голос спрашивал, кто такие, и невидимые в темноте люди гремели засовом. Во дворе бесновались на цепях громадные псы, кидаясь на лошадей. К высокой, в два яруса избе, сложенной из толстых брёвен, примыкали низкие пристройки, вокруг всего двора шёл крытый навес. Нижний ярус избы служил амбаром, в жилое помещение вело крутое крыльцо с точёными балясинами. На стене висела прибитая гвоздями волчья шкура, растянутая кожей наружу.

Лошадей распрягал высокий старик. Он мельком взглянул на Варю и пошёл в избу, но снова вернулся.

— Только вот что, — сказал он, строго разделяя слова. — Чтобы никто не курил табаку. Это уж пожалуйста. Чтоб этого не было. У меня этого в заводе нет. И чтоб в шапках в избе не сидеть, — это уж пожалуйста.

— Мы некурящие, — сказал Безайс.

— Да, уж пожалуйста, — повторил старик.

Он повернулся и ушёл, твёрдо ступая обутыми в меховые сапоги ногами.

— Сердится, — тихо сказал скупщик.

— Чего же он сердится?

— Да что я вас к нему привёз. Он, видите ли, раскольник, старообрядец. Тут их вся деревня старообрядческая. Я-то у него всякий раз останавливаюсь, пушнину покупаю. Так что ко мне он привык.

— Ну а мы что же?

— Старой веры человек. Вот и боится, что вы его избу испортите.

– Как это – испортим?

– Плюнете на пол или из его кружки выпьете. Вы уж, будьте любезны, держите себя осторожно.

В просторных сенях стоял запах кожи и сушёных трав. Они отворили тёмную, из кедровых плах дверь и вошли.

Дом был старинный, дедовской работы. Стены из толстых, тронутых временем брёвен были прорезаны приземистыми окнами зелёного стекла. На стенах висело несколько густо смазанных охотничьих ружей, в простенке были прибиты большие оленьи рога. Один угол был сплошь завешан позеленевшими иконами, на которых едва можно было разглядеть строгие, носатые, с круглыми глазами лица угодников. Под иконами, на треугольном столе, лежали лестовки и оправленная в кожу книга с медными застёжками.

Семья сидела за столом. Старик, встретивший их на дворе, положил ложку и долго смотрел на Безайса, пока тот не догадался снять шапку. За столом, кроме старика, сидели двое высоких, хорошо сложенных парней и маленькая девочка. Молодая полная женщина доставала из печки горшки и шумно ставила их на стол, сердито двигая локтями.

Для них накрыли отдельный стол. Был какой-то пост, и им дали миску кислой капусты. Безайсу хотелось горячих щей, но об этом нечего было и думать.

– Еда для коров, – ворчал он вполголоса, ковыряя ложкой в миске. – Трава. Мне уже хочется замычать и почесаться боком о стенку.

Было поздно, в окно глядел высокий месяц, и хозяева ушли спать. Раскладывая по полу солому, Матвеев увидел,

как Варя беспомощно бьётся над шнурками своего ботинка, намокшими и затянувшимися в тугой узел. Она трудилась, вкладывая в это всю душу, но у неё ничего не выходило.

— Давайте я развяжу, — сказал он под влиянием какого-то непонятного побуждения.

— Ах, что вы, — ответила она.

Он развязал узлы, чувствуя на себе завистливый взгляд Безайса. Она благодарила его с неловкой горячностью, и это вовлекло Матвеева в вежливый и скучный разговор, из которого он узнал, что в Благовещенске на прошлой неделе шёл дождь.

— А зачем вы ездили в Благовещенск? — праздно спросил он, накрываясь шинелью.

Она молчала долго — минуты две, и, уже засыпая, он услышал её ответ:

— У меня там подруга выходила замуж.

Это был её небольшой, крошечный секрет, о котором они никогда потом не узнали, — может быть потому, что не спрашивали. Подруга, Катя Пескова, курносая девушка с быстрыми глазами, выходила замуж за её, Вариного, бывшего жениха. Они настойчиво зазывали её на свадьбу, осаждали письмами, пока она наконец не приехала.

Жених был папин знакомый, тоже механик, служивший на пароходе «Барон Корф». Он был высокий, с чёрными, сросшимися над переносом бровями и крутыми завитками курчавых волос на обветренном лбу. Жених приезжал только летом, в навигацию, привозя с собой запах угля и машинного масла. Он входил в ограду палисадника, прямой, степенный, застёгнутый на медные пуговицы фор-

менного пиджака. Варина мама выходила на крыльцо, Варин папа выпрямлял грудь и шурил выцветшие в тридцатилетнем плавании голубые глаза, а младшие братья, которых папа почему-то прозвал «товарищами переплётчиками», врывались в комнату и оглушительно кричали, растерянно глядя на Варю:

– Жених приехал!

Варя выходила на крыльцо и целовала его в лоб, прикасаясь губами к красной полоске, оставленной тугой форменной фуражкой. Мама поспешно вытирала фартуком носы и рты своему выводку, а папа, солидно оглядываясь на соседей, смотревших сквозь палисадник, говорил, покачивая головой и распушив свои белые, по-морски подстриженные баки:

– Вот и я был когда-то таким же молодцом! – хотя все знали, что папа всегда был маленький.

Потом шли в столовую. Мама снимала со стола альбом в бархатных крышках, большую рогатую раковину, стоявшую вместо пепельницы, и накрывала стол блестящей, коробящейся от крахмала скатертью. Жениха сажали на диван с цветочками, между барометром и картой полушарий, и папа заводил с ним длинный разговор о реке, о фарватере и общих знакомых. «Товарищи переплётчики» стояли в дверях и панически смотрели голубыми, как у папы, глазами на жениха. Мама звенела у буфета стопками тарелок и говорила, улыбаясь круглым лицом:

– Да перестань ты, Дмитрий Петрович! Очень им интересно разговоры твои слушать!

А потом жених опять уезжал. Его провожали до пристани. Громадная река блестела быстрыми солнечными

зайчиками. Китайские пароходы с пятицветными флагами бросали в прозрачное небо клочья рыжего дыма, оставляя за кормой широкие пенистые пласты. «Барон Корф» оглушительно ревел, лебёдка с грохотом выбирала из воды мокрую якорную цепь, Варин папа махал фуражкой и кричал что-то бесчисленным пароходным знакомым, а капитан, будто притворяясь спокойным среди этого столпотворения, отдавал приказания в машину по рупору. Ветер трепал красный с синим квадратом флаг республики, вода кипела и взлетала брызгами под ударами громадных зелёных колёс, а «товарищи переплётчики», объятые нестерпимым восторгом, носились по берегу и буйно размахивали соломенными шляпами на резинках, стараясь ободрить команду и пассажиров «Барона Корфа». «Барон Корф» поворачивался грузной кормой, на мачту взлетал синий с белым квадратом походный флаг, на палубе колыхались платки, и пароход уходил, оставляя две упругих гладких волны, блестевших радужными пятнами нефти. Папа брал маму под руку, «товарищи переплётчики» надевали соломенные шляпы, натянув резинки на подбородки, и шли по улицам, засунув руки в карманы. Подражая папе, они степенно рассуждали, что, пожалуй, давно пора сменить этого проклятого, старого, жалкого селезня — капитана «Барона Корфа», который того и гляди посадит судно на мель под Сретенском. Когда они переходили к личным делам капитана и начинали порицать его жену за вставные зубы и за привычку «вилять кормой», Варя обуздывала их угрозой заставить чистить крыжовник после обеда. С тех пор как у Вари появился жених, «переплётчики» молча извиняли её женские слабости и даже оста-

вили в покое её полосатого кота, хотя в глубине души они считали его самым безответственным явлением природы.

В прошлом году, на троицын день, она гуляла с женихом и встретила на бульваре Катю Пескову. Жених угощал их малиновым мороженым, показывал, как надо снимать ключ с верёвочки, не развязывая узла, и провожал домой их обоих. Через несколько дней Варя принесли бессвязное Катино письмо с кляксами и бесчисленными ошибками, в котором она называла себя дрянью, бессовестной, развратной, а час спустя пришла перепачканная чернилами Катя и расплакалась у неё в комнате. Она говорила, что жизнь грустная, прегрустная штука и что лучше всего умереть.

— Отдай его мне, — умоляла она, торопливо вытирая слезы. — Ты его всё равно не любишь.

Сначала Варя даже рассердилась.

— Нет, люблю, — повторяла она настойчиво.

Но потом, когда Катя открыла ей сумасшедшие любовные бездны, в которых были и смерть, и жизнь, и сомнения, и восторги, — безумная смесь слез и восклицательных знаков, — она поняла, что её любовь обычная, серая, лишённая горячих радостей. Она колебалась несколько дней, а потом сказала Кате, что согласна. Пусть она берет его себе, если не может жить без него.

Это смешно — но Катя его взяла. Чем она окрутила его простое сердце, Варя не знала. Некоторое время она чувствовала себя несчастной, писала дневник и вечером ходила к скамье над рекой, где они поцеловались в первый раз. А потом как-то само собой все это прошло. И теперь, в Благовещенске, на свадьбе она спокойно поздравила мо-

лодых, закалывала невесте фату и танцевала с механиком польку под воющий граммофон.

ВСАДНИК

На дворе стоял серый свет раннего утра. Матвеев отлежал ногу, и ему надо было повернуться на другой бок, но двигаться не хотелось. Он подождал ещё несколько минут, стараясь снова заснуть, но, когда это не удалось, он открыл глаза и увидел, что Варя не спит. Она сидела, подвернув край юбки, и отскабливала ножом пятна стеарина, которыми был закапан подол. Жуканов тоже не спал, — он растирал ноги топлёным гусиным салом. Матвеев оделся и стал будить Безайса, упорно не хотевшего вставать.

— А мне наплевать, — возражал он сонным голосом и поворачивался лицом вниз.

Тогда Матвеев поднял его и поставил к стене.

На дворе было холодно. Они не успели выехать за ворота, как уже замёрзли совсем. Дул ветер, поднимая облака мелкого, сухого снега и путая гривы лошадей. Они выехали из деревни, миновали две скрипящие ветряные мельницы и поднялись на гору. Дальше шёл лес. Здесь ветра не было, и они немного согрелись.

Рассвет окрасил все в мягкий, синеватый цвет. От деревьев падала густая тень, лесная чаща стала глубже и прозрачней. Кое-где по веткам взбирался дикий виноград, и его засохшие листья лежали красноватыми декоративными пятнами. По свежему снегу сани скользили бесшумно и ровно; это располагало к дремоте.

Матвеев закрыл глаза и слушал Безайса, который завёл

с Жукановым спор о том, что было бы, если бы учёные изобрели способ делать золото. Скупщик был упрямый человек.

– Ничего не было бы, – говорил он. – Их бы арестовали и посадили в кутузку, чтобы не придумывали. Один выдумает, другой ещё чего-нибудь выдумает, – что же получится!

Потом он начал расспрашивать Безайса о Советской России. Безайс рассказывал охотно, и Матвеев слушал его с некоторым удивлением. Все фабрики работают, закрыты те, которые не нужны. Голод только в Поволжье, а в остальных местах благополучно. На железных дорогах образцовый порядок. Особенно налёг он на электрификацию и детские дома, в которых, по его словам, дети пьют какао и одеваются, как ангелы. Он лгал уверенно, и Матвеев не понимал, зачем это ему нужно. Позже он спросил его об этом.

– Видишь ли, – ответил Безайс, – цели у меня не было никакой. Но мне было неприятно рассказывать про свою республику всякую дрянь. Он всё равно человек не наш, и у него голова забита всякой чепухой, о трупах, которые у нас выдают по карточкам. Ему это не повредит.

Жуканов слушал и кивал головой. Когда Безайс кончил, он спросил:

– А почему у вас на гербе находятся серп и молот?

– Это значит, – ответил Безайс, – что рабочий класс управляет страной в союзе с крестьянством.

– Так, – сказал Жуканов с видимым удовольствием. – Рабочий с крестьянством? А знаете, чем кончится серп и молот?

– Чем?

– Напишите слова: «молот серп» и прочтите задом наперёд. Получится: «престолом».

Безайс про себя по буквам прочёл слова задом наперёд. Действительно, получилось «престолом».

– Ну и что же из этого?

– То, что это неспроста. Почему так получается?

– Глупо.

– Нет, не глупо. Тут что-то есть.

Он видел в этом какой-то особый, тайный смысл. Он твёрдо стоял на своём, и его нельзя было убедить ничем. Для него это было важнее всех доказательств.

– Тут что-то есть, – повторял он многозначительно, и это бесило Матвеева.

Жуканов вымотал из него душу своими рассуждениями, и, когда Безайс начал спорить, Матвеев не выдержал.

– Замолчи, Безайс, – сказал он. – У меня резь в животе от ваших разговоров. Пускай они кончаются чем угодно.

Он решительно закрыл глаза. Чтобы заснуть, он старался представить себе, что сани едут в обратном направлении. Жуканов и Безайс, помолчав немного, начали говорить об образовании, но конца их разговора он не слышал. Несколько раз он просыпался, чтобы поправить сползавшую набок шапку. На мгновение он видел мелькающие деревья, слышал голоса и снова погружался, как в тёплую воду, в сон. Ему приснилось что-то без начала и без конца – будто он плывёт в лодке по реке, и его несёт к плотине, где тяжело вертится громадное мельничное колесо. А что было дальше, он не помнил.

Он проснулся оттого, что сани остановились. Жуканов

говорил с кем-то быстро, пониженным голосом. Сквозь полуоткрытые веки Матвеев видел, что рядом с санями стоит всадник в солдатской шинели и в папахе, глубоко надвинутой на голову.

Матвеев медленно, ещё не совсем проснувшись, разглядывал фигуру всадника. Это был высокий, с татарским обветренным лицом человек. Из-за спины торчал короткий кавалерийский карабин. Он показывал куда-то плёткой и вглядывался, шуря слегка косые глаза. Матвеев сонно смотрел на него, ни о чём не думая. Ему хотелось спать, и он закрыл глаза. Когда он снова открыл их, всадник повернул лошадь, поднялся на стремянах и взмахнул плёткой. В этот момент Матвеев отчётливо увидел то, чего он сначала не заметил, — на плече, там, где проходил ремень карабина, был синий с двумя полосками погон.

Матвеев сначала даже не удивился. Несколько минут он лежал, разглядывая спину удалявшегося всадника. Тот скрылся за поворотом дороги. Матвеев устало закрыл глаза и вдруг ясно представил синий, немного смятый погон, папаху и скуластое лицо. По телу Матвеева прошла мелкая колючая дрожь. Он медленно поднялся и повернулся к Безайсу.

Сани стояли на дороге. По обеим сторонам поднимался высокий тёмный лес. Безайс широко раскрытыми глазами смотрел в ту сторону, куда уехал всадник. Жуканов и Варя казались скорее удивлёнными, чем испуганными. Матвеев глядел на них, ничего не понимая.

— Что же это такое? — спросил он строго.

— Это казак, — ответил Безайс без всякого одушевления.

— Откуда он взялся?

– Он ехал по дороге. Подъехал к саням. Остановил нас и спросил, далеко ли деревня и как называется.

– Ну?

– Вот и все. А потом поехал дальше.

Матвеев почесал мизинцем глаз и задумался.

– Значит, – сказал он, – Хабаровск занят белыми.

Он снова задумался. Надо было что-то немедленно сделать, но ему ничего не приходило в голову.

– Ну? – спросил Безайс.

– Это чертовски неприятная история, – ответил Матвеев, бесцельно вытаскивая карандаш и вертя его в руках. – Честное слово, чертовски неприятная. Надо ехать дальше, – продолжал он. – Сейчас мы на положении мух, попавших в суп. Идти назад всё равно нельзя, потому что придётся переходить через фронт, а мы даже не знаем, где он находится. Надо ехать в Хабаровск и либо ждать там, когда придут наши, либо ехать дальше, в Приморье.

– Ехать нельзя, – сказал Безайс, – нельзя потому, что легче попасться. В фронтовой полосе не так-то легко разъезжать взад и вперёд.

– Я всё равно назад не поеду, – сказал вдруг Жуканов.

– Вот и хорошо, – сказал Безайс. – Мы тоже поедem дальше.

– Я и дальше не поеду.

Это было совсем неожиданно.

– Почему? – спросил Безайс.

– Потому что потому.

– То есть как?

– Да так. Я хозяин, лошади мои. Чего хочу, то и делаю.

Наступила тяжёлая пауза.

– Эти лошади, – наставительно сказал Безайс, – не ваши, а торгового дома Чурина.

– Да уж и не ваши, будьте спокойны.

– А куда же вы поедете?

– Вернусь в ту деревню, к старику, у которого ночевали.

– А мы?

– А вы как хотите.

Они растерянно переглянулись.

– Очень это красиво с вашей стороны, – сказал Безайс. – Мы вам помогли, а вы нас бросаете. Это свинство.

Жуканов концом кнута поправил шапку.

– Конечно, свинство, – спокойно ответил он. – Только ведь и мне нет охоты шею подставлять. Жить каждому хочется. Вы молодые люди, вам это смешно, а я больной человек. Если меня арестуют, я умереть могу.

Безайс взволнованно снял и снова надел перчатку.

– Не умрёте, – сказал он. – Поймите, что нам надо ехать.

– Всем надо, – возразил Жуканов рассудительно. – Странно. Если я из-за своего добродушия согласился вас везти, так вы уж хотите на меня верхом сесть.

– Оставьте, Жуканов!

– Сказал – нельзя.

Варя переводила взгляд с Безайса на Матвеева.

– Придётся вам выйти, – сказал Жуканов. – Ничего не поделаешь. Всей душой был бы рад, да не могу.

Матвеев вылез из саней.

– Безайс, поди сюда, – сказал он. – Жуканов, подождите немного, минут пять.

– Пять минут – могу.

Они отошли на несколько шагов и остановились.

– Ну?

Безайс оглядел ровную, уходящую вперёд дорогу и вздохнул.

– Чего же разговаривать? – сказал он пониженным голосом. – Мы влипли, старик.

– Влипли?

– Конечно. Все равно, вперёд или назад. Пойдём?

– Мы не пойдём, а поедем, – решительно возразил Матвеев. – Нельзя идти по снегу в такой мороз. До Хабаровска ещё тридцать вёрст. Когда мы там будем? Надо скорей кончать с этой дорогой. Я возьму его за шиворот и вытрясу из него душу, если он не поедет.

– А что делать с документами? Порвать?

– Рвать их нельзя, потому что, когда попадём к своим, как мы докажем, кто мы такие?

– Куда же их прятать?

– В ботинки. В сани, наконец.

Они вернулись к саням.

– Мы поедем дальше, – сказал Матвеев, глядя поверх Жуканова. – А вы можете ехать с нами или вернуться в деревню. Мы вас не держим.

Жуканов растерянно глядел на них.

– Товарищ Безайс, – сказал он, прижимая руки к груди. – И вы тоже, товарищ Матвеев. Не шутите со мной. Я больной человек. У меня от таких шуток душа переворачивается.

– Знаю, знаю, – оборвал его Безайс, садясь в сани. – Душа переворачивается, и в глазах бегают такие муравчики. Слышали.

Легко, почти без усилия, Матвеев взял Жуканова за

борт пальто, оттолкнул в сторону и отобрал вожжи. Сани тронулись. Жуканов был ошеломлён и смотрел на Матвеева, соображая, что произошло.

– Да это разбой, – сказал он вдруг. – Дай сюда вожжи. Слышишь, дай!

Он схватил вожжи и рванул к себе с истерическим всхлипыванием. Лошади метнулись в сторону, топчась на месте. Матвеев оторвал его руки от вожжей, а Безайс придавил его в угол саней и держал изо всех сил. Длинные уши его шапки волочились за санями и взметали снег.

– Пустите, – сказал Жуканов, тяжело дыша.

Безайс отпустил его.

– Поймите, будьте любезны, – сказал скупщик довольно спокойно, – моё положение. Вы партийные. Поймают меня с вами, что мне сделают? Убьют ведь! Вы сами собой, а я за что должен страдать? За какую идею?

– Отдайте лошадей нам, а сами вернитесь в деревню.

– Отдай жену дяде. Они не мои, лошади.

– Поправьте шапку. Упадёт.

Машинальным движением он подобрал волочившиеся уши, отряхнул их от снега и обернул вокруг шеи. Он потёр переносицу, поднял голову, и вдруг глаза его вспыхнули.

– Не поеду я! – вскричал он таким неожиданно громким голосом, что все вздрогнули. – Не поеду, – ну! Чего хотите делайте, мне всё равно. Где у вас такие права, человека силком везти? Убивайте меня – все равно не поеду! – Голос Жуканова сорвался почти на крике. – Ну – убивайте! – повторил он, нагибаясь вперёд и тяжело дыша. – Забирайте лошадей, шкурки. Сымите с меня пальто. Может быть, вам и сапоги мои нужны? Берите и сапоги! Грабьте кругом, начисто!

– Не кричите так, – нервно сказала Варя. – Могут услышать.

– Пускай слышат, – ответил он. – Какое мне дело?

И вдруг, топорща усы и покраснев от натуги, он пронзительно крикнул:

– Грабют!

– Это чёрт знает что, – растерянно произнёс Безайс. – Вы, Жуканов, и-ди-от, дурак. Проклятый старый дурак.

– Вы сами дурак, – сварливо ответил Жуканов.

Они глядели друг на друга выжидательно и враждебно. Матвеев медленно расстегнул куртку и сунул руку в карман.

– Если вы ещё раз крикнете, я вас убью, – сказал он. – А потом возьму за ноги и оттащу в сторону.

Этого Жуканов не ждал.

– А вы знаете, – сказал он вызывающе, – что вам за такие слова может быть?

– Я сильнее вас, и нас двое. Если вы не поедете, то потеряете лошадей, мы их всё равно заберём. А если поедете – и лошади у вас останутся, да мы ещё приплатим. Решайте скорей, времени нет.

Он мог бы свернуть ему голову одной рукой – лысеющую, с висящими усами голову. Но он предпочёл не делать этого. Жуканов вынул платок и громко высморкался.

– Хорошо, – сказал он с достоинством. – Я уступаю физической силе. Но я буду жаловаться.

Он нашёл в этом какое-то удовлетворение.

– Я буду жаловаться, – повторил он.

Матвеев беспечно улыбнулся. Он достал нож и отодрал снаружи обшивку саней. Потом он вынул документы и

деньги, пересчитал их, сунул за обшивку и снова прибил рогожу гвоздями.

– Едемте, – сказал он. – Изю всех сил!

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

Матвеев старался придумать какой-нибудь план. Надо было что-то делать. Но он ничего не мог из себя выдать, кроме того, что в минуту опасности надо сохранять благоразумие и не волноваться. Он вертел эту мысль и осматривал её со всех сторон, пока не заметил, что шевелит губами и что Безайс вопросительно смотрит на него.

– О чем ты? – спросил Безайс.

– Так. Думаю о нашем собачьем счастье.

– Что же ты придумал?

Этот вопрос поставил Матвеева в тупик. Он был старший, и это обязывало его к точному ответу.

– Прежде всего, – сказал он, – не надо волноваться. Это, по-моему, самое важное.

Безайс внезапно обиделся.

– А кто волнуется? – с горячностью спросил он. – Может быть, это я волнуюсь?

– Разве я это сказал?

– Так зачем ты говоришь? Поддерживаешь светский разговор?

– Ну, ну, оставь, пожалуйста. Придрался к словам.

Безайс передёрнул плечами.

– Мне это не нравится.

– Ну, хорошо, я про себя говорил. Это я волнуюсь. Теперь ты доволен?

– Вполне, – ответил Безайс.

Самое плохое было не то, что их могли поймать и убить. Гораздо хуже было ждать этого. Большим циркулем был очерчен круг, за которым начиналась жизнь, где люди лежали в окопах, отступали и наступали. Матвеев в детстве знал эту игру: один садился на пол, закрыв глаза, а остальные слегка ударяли его по лбу. Ударяли не сразу, а через несколько минут, – и никто не мог выдержать долго: было невыносимо сидеть с закрытыми глазами и ждать удара. И Матвеев почувствовал себя легче, когда наконец они снова встретили белых.

Был уже полдень; каждую минуту они ждали, что из-за поворота дороги покажется рота солдат в папах с белыми лентами. На Безайса нахлынула нервная болтливость, и он рассказывал какие-то истории о небывалых и вздорных вещах. Варя казалась спокойной, и Матвеев снова подумал, что у неё нет воображения: «недалёкие люди редко волнуются». Почему он считал её недалёкой и ограниченной – этого он и сам не знал. Но потом ожидание опасности утомило его, и он впал в какое-то безразличие. Когда издали показалась запряжённая парой коней военная двуколка, он принял это как факт, без всяких размышлений.

– Белые, – сказал Безайс.

– Ага, – ответил он.

Это была походная кухня грязно-зелёного цвета. Над ней тряслась и вздрагивала прокопчённая, расхлябанная труба, высокие колеса по самую ступицу были покрыты старой осенней грязью. Кухня катилась с грохотом, внутри бака, звеня, перекачивался какой-то железный предмет. На передке раскачивался солдат в папаче, и штык за плечами

чертил круги при каждом толчке. Он махнул рукой, и Жуканов остановил лошадей.

– Далеко до Жирховки? – спросил солдат.

– Рукой подать, – отозвался Жуканов. – Так все напрямиком, напрямиком, а потом как доедете до камней, тут дорога пойдёт вправо и влево. Которая вправо идёт дорога, это и есть на Жирховку.

– Сколько вёрст отсюда?

– Думаю, будет не больше пяти.

Солдат потёр ладонью замёрзшие щеки.

– А может быть, – сказал он, – тут меньше осталось? Может быть, версты три?

– Может быть, и три, – согласился Жуканов. – Кто ж её знает – дорога немеряная. Да, пожалуй, что три версты. Конечно, три.

Матвеев ждал, что солдат поедет дальше, но он слез с козёла и помахал руками, чтобы согреться.

– Слушай-ка, дядя, – сказал он, – хлеб у тебя есть?

– Есть.

– Дай-ка закусить.

– Да господи! – воскликнул Жуканов. – Пожалуйста, об чем разговор! Сам был на действительной, три года в сапёрном батальоне откачал. Кушайте, будьте здоровы, разве жаль для солдата хлеба? – продолжал он, открывая корзину и доставая завернутый в газету хлеб. – Может быть, ветчины хотите? Возьмите уж и ветчины.

– Давай и ветчину, – сказал солдат, беря продукты. – Может быть, и закурить найдётся?

– Очень сожалею, но я некурящий, – виновато сказал Жуканов. – Здоровье не позволяет.

– Чего?

– Здоровьем, говорю, слаб. Грудь табачного дыма не принимает. Не курю. Вот, если хотите, подсолнухов – калёные подсолнухи.

Безайс вынул папиросу и дал ему закурить. Он с жадностью глотнул дым.

Матвеев разглядывал его. Он был одет в новенькую светло-коричневую шинель. Шинель сидела плохо, коробилась, как картонная, и торчала острыми углами на каждой складке; хлястик, перетянутый поясом, стоял дыбом. У солдата было курносое обветренное лицо, он часто мигал покрасневшими от бессонницы глазами. Сняв винтовку, он прислонил её к колесу и стал чесаться всюду – под мышками, за воротником, под коленями. Почесать спину ему не удалось – тогда он потёрся о кухню.

– Едят? – спросил его Жуканов.

– Как звери.

– Давно заняли Хабаровск?

– Третьего дня.

– А как тут дорога сейчас – спокойная? Безопасно ехать?

– А чего ж бояться?

– Мало ли чего! Партизаны могут быть или красные пойдут в наступление. Попадёшь в самую толчею, так, пожалуй, и не выскочишь. Вот я через это и беспокоюсь ехать.

Солдат снова залез на козлы, закрыл ноги и начал отовсюду подтыкать шинель, чтобы не продувало.

– А знаете что? – продолжал Жуканов. – Я лучше с вами поеду. Боюсь я, знаете ли, ехать. Вернусь с вами в деревню,

пережду там денька два, пока все не утрясётся, а потом и двину в Хабаровск. Как, господин солдат, возьмёте вы меня с собой?

– Мне что? – ответил он. – Дорога казённая.

– А мы? – воскликнул Безайс, хватая Жуканова за рукав.

Жуканов спокойно отнял рукав.

– А вы идите пешком. До Хабаровска недалеко, живо дойдёте. Ваше дело молодое, не то, что я. Да и я тоже не за себя боюсь, а за лошадей – вдруг отымут?

– Но ведь это чёрт знает что!

– Не чертыхайтесь. Ничего такого особенного нет в этом.

– Скоро вы там? – спросил солдат. – Мне ехать надо.

– Ну, послушайте, Жуканов. Ну, оставьте, пожалуйста.

– Мне нечего оставлять. Чего мне оставлять?

– Поедьте дальше...

– Что я, обязан, что ли, вас возить? Сказал – не поеду.

Безайс, сияясь улыбнуться, взглянул на Матвеева. Он сидел бледный, подавленный, глядя в лицо Жуканову.

– Хорошо, – тихо сказал Матвеев. – Мы пойдём. Только отъедемте немного дальше, чтобы мы могли вынуть деньги и бумаги.

– Какие деньги? – громко спросил Жуканов. – Это что вы пятёрку мне дали? Берите, пожалуйста, мне чужого не надо. Подавитесь своей пятёркой.

– Тише, пожалуйста, – сказал Безайс, насильно улыбаясь и путаясь в словах. – Деньги, тысячу рублей... И бумаги. Пожалуйста.

Жуканов обернулся к солдату. Он молча, с любопытством наблюдал за ними.

– Чистая комедия, – сказал он, разводя руками и улыбаясь. – Какие-то бумаги с меня требуют. Чудаки. Не рад, что связался с ними. Уходите вы с богом, отвяжитесь от меня. Я вас не трогаю, и вы меня не трогайте.

– Какие бумаги? – спросил солдат. – Об чем у вас разговор?

– Жуканов, – сказал Матвеев глухо, почти шёпотом. – Дайте нам незаметно взять деньги, и мы вас отпустим. Бросьте эту игру. Слышите, Жуканов?

– Вы и так уйдёте, – ответил он тихо. – Уходите, пока целы. Берегите головы, а о деньгах не думайте. Деньги хозяина найдут.

– Слушай ты, Жуканов! – произнёс Матвеев с угрозой.

– Сорок восемь лет Жуканов. Да ты мне не тыкай, – молод ещё тыкать. Пошёл вон из моих саней! Слышишь? Господин солдат, что же это такое? Какие-то лица без документов нахалом залезли в сани и не вылезают.

– Матвеев... голубчик... ну, ради бога... – быстро заговорила Варя, и в её голосе зазвучала тоска и ужас. – Уйдёте... скорее. Ну, я тебя прошу... пожалуйста, оставь...

Он больше догадался по движению губ, чем расслышал её последние слова:

– Убьют ведь...

– Матвеев, я ухожу, – сказал Безайс, поднимаясь с места и беря мешки. – Идём.

Матвеев взглянул на него с угрюмым упрямством.

– Я без денег не пойду, – ответил он, бледнея и сам пугаясь своих слов. – А ты – уходи. Уходи, Варя.

– Идиот, – упавшим голосом сказал Безайс, снова сядя на своё место. – Проклятый идиот.

Они услышали тяжёлый прыжок – солдат спрыгнул на землю и спускал предохранитель винтовки. Он делал массу мелких движений, и на его простоватом лице горел деловой азарт. «Застрелит ещё, дурак», – тревожно подумал Матвеев.

Скрипя новыми сапогами, солдат подошёл к саням. На секунду он задержался, что-то вспоминая, потом быстро, как на ученье, взял ружьё наизготовку, выбросил одну ногу вперёд.

– Вы кто такие? – спросил он строго. – Документов нет?

– Нет, – покорно ответил Матвеев.

– У меня – есть! – воскликнул Жуканов, торопливо доставая бумажник и роясь в нём. – Паспорт, метрическая выпись и удостоверение с места службы, от торгового дома Чурина. Прошу посмотреть. А у них нет, то есть, может быть, есть какие-нибудь, да они их попрятали.

– Ага...

Солдат постоял несколько минут, вздрагивая от возбуждения, потом отчётливо, в несколько приёмов принял винтовку к ноге, со вкусом щёлкнув каблуками. Все смотрели на него, не понимая, чего он хочет. Солдат взволнованно обошёл сани. Внезапно, отскочив на несколько шагов, он вскинул винтовку и с наивной радостью крикнул:

– Вот я вас сейчас буду стрелить!..

Матвеев подобрал голову в плечи. Солдат пугал его своей стремительностью. Он был молодой, наверное, недавно прочитал устав и теперь горел желанием обделать все как можно лучше.

Он медленно опустил винтовку и снова подошёл к саням, что-то выдумывая.

– Молчать! – крикнул он не своим голосом. – Ты, мордастый! Ты чего, ну? А? Молчать! Ты почему без документов? Это зачем баба тут?

– Она...

– Молчать!

У него на лбу выступил пот.

– Вот я... – сказал он срывающимся голосом, – вот я...

Он сосредоточенно пожевал пухлыми губами.

– Не лезь в разговор, не шебурши! Сейчас вы арестованные. Заворачивай! Крупа! Представлю в штаб, они вам покажут езди-ить!

Безайс, не понимая, смотрел на его веснушчатое лицо.

– Как же так? – спросил он оторопело. – Нам надо скорей домой.

– Не разговаривать!

– Но позвольте, – сказал Матвеев, – позвольте...

– Ничего не позволю!

– Но, господин солдат...

Он не сразу понял, что произошло. У него зазвенело в ухе и лязгнули зубы.

– Съел? – услышал он.

Он поднял голову; солдат с еле сдерживаемым восторгом смотрел на него. Это была оплеуха – у Матвеева жарко горела правая щека.

В нем проснулась старая привычка, и пальцы как-то сами собой сжались в кулак. Когда его били, он давал сдачи.

«Чего же это я смотрю?» – удивился он. Тут вдруг он заметил, какое обветренное, озябшее лицо у солдата, как неловко сидит на нём коробящаяся шинель и дыбом стоит

хлястик. Ещё минуту назад Матвеев боялся его и видел в нём солдата, а теперь это был просто нескладный деревенский парень, смешной и нелепый, с винтовкой в руках, которую он держал, как палку. «Да ведь это нестроевой, кашевар», – подумал Матвеев с острой обидой.

Тогда он встал, взглянул на солдата вниз с высоты своего роста и хватил его кулаком между глаз. Солдат с размаху сел на снег. Матвеев нагнулся и вырвал у него винтовку из рук, поднял упавшую шапку и нахлобучил ему на голову.

– Уходи, дурак, – сказал он сердито. – А то я тебя так побью, что ты не встанешь.

Солдат поднялся медленно, озираясь, измятый и вывалянный в снегу. В его небольших глазах гасло возбуждение, он бормотал что-то, трогая налившийся синяк и вытягивая правую ладонь вперёд, точно защищаясь от нового удара. Матвеев посмотрел на его жалкое лицо и пренебрежительно отвернулся. Надо было скорей уезжать.

Ни на кого не глядя, он положил винтовку в сани. Жуканов с мелочным упрямством не убрал ногу, мешавшую Матвееву. Тогда Матвеев взял двумя пальцами его ботинок и отодвинул в сторону.

– Отдай винтовку, – услышал он позади. Солдат, опустив руки, напряжённо смотрел на него.

– Не отдам.

– Отдай!

– Не отдам, проваливай! Не приставай.

Матвеев сел в сани. Солдат взволнованно потёр рукой переносицу.

– Так сразу и драться, – сказал он, шмыгая озябшим

носом. – Ему уже и слова сказать нельзя. Какой выискался...

– Замолчи!

– Я и так молчу. Сразу начинает бить по морде. Отдай винтовку, она казённая...

Безайс хлестнул по лошадям. Некоторое время солдат стоял на месте, а потом сорвался и побежал за санями.

– Отдай!

Он споткнулся, упал, шапка слетела у него с головы. Поднявшись, он опять побежал без шапки, прихрамывая на одну ногу.

– Отдай!

– Черт его побери, этого осла, – сказал Матвеев. – Орёт во все горло.

Обернувшись, он погрозил ему кулаком, но солдат не отставал. На голове из-под стриженных волос у него просвечивала розовая кожа. Он опять упал.

– Отдай ему, – сказала Варя.

Матвеев поднял винтовку, вынул затвор и выбросил её на дорогу. Он видел, как солдат подошёл к винтовке, осмотрел её и пошёл обратно, волоча её за штык. Ветер раздувал полы его шинели. Когда он скрылся из виду, Матвеев размахнулся и выбросил в сторону затвор. Он глухо звякнул о дерево и зарылся в снег.

ТАК И НАДО

Внизу, под горой, лошади пошли тише, и Безайс начал снова хлестать их кнутом. Жуканов наклонился к нему и взял вожжи из рук.

– Вы мне так лошадей запалите. За всякое дело надо с умением браться, – сказал он строго.

Он имел такой вид, точно его обидели, и уж никак не был смущён. На его усатом лице отражалась строгость. Безайс вопросительно взглянул на Матвеева и передал вожжи Жуканову.

– Поверните сюда, – сказал Матвеев, указывая на узкую дорогу, сворачивавшую прямо в лес.

Жуканов смирил его взглядом.

– Сюда нельзя, – сказал он.

– Что?

– Нельзя, говорю, сюда сворачивать. Она никуда не идёт. По ней за дровами ездят.

– Делайте, как я сказал!

И Жуканов повернул лошадей. Сани въехали в чащу деревьев, раздвигая мелкие ёлочки. Ветки задевали по лицу и по плечам. Безайсу хотелось спросить, зачем они свернули с дороги, но после встречи с белым Матвеев вырос в его глазах, и он доверял ему безусловно.

Они отъехали с полверсты, когда Матвеев велел остановиться. Он вышел из саней и сказал:

– Безайс, поди сюда.

Безайс послушно встал. Жуканов смотрел на них с недоумением.

– Варя, – сказал Матвеев, – мы сейчас придём. Возьми револьвер и стереги его, – он показал на Жуканова. – Смотри, чтобы он не убежал.

Но когда Варя взяла револьвер и неумело потрогала курок и барабан, Жуканов забеспокоился.

– Погодите, – сказал он, опасливо глядя на Варю. –

Скажите ей, чтобы она не наставляла на меня револьвер. Ведь она с ним не умеет обращаться и может по нечаянности выстрелить.

По выражению лица Вари было видно, что она и сама опасается этого. Но Матвеев взял Безайса под руку и быстро повёл вперёд. Отойдя так, что деревья скрыли от них Варю и Жуканова, Матвеев остановился.

– Ну-с?

– Ты молодец! – сказал Безайс, глядя на него восторженно.

Матвеев опустил глаза.

– Это пустяки, – ответил он. – Главное – это не волноваться и сохранять благоразумие. Вот и все.

– Ты, – продолжал Безайс, не слушая его, – вёл себя прекрасно. Надо сказать, что я даже не ждал этого от тебя. Я прямо-таки восхищён, – убей меня бог!

Он подумал немного и великодушно прибавил:

– Пожалуй, я не сумел бы так ловко вывернуться из этой истории...

– Не стоит об этом говорить, – возразил Матвеев. – Ты тоже держался очень хорошо. Но сейчас нам надо спешить. Каждую минуту кто-нибудь может найти на дороге этого кашевара. Если это станет известным в Хабаровске раньше, чем мы туда приедем, нас поймают непременно... Мы должны изо всех сил спешить в Хабаровск.

– Так чего же мы стоим? Зачем ты свернул в лес?

– Как зачем? А Жуканов?

Безайс задумался.

– Это верно, – ответил он. – Но какая он сволочь! Ты заметил, какие у него жилы на руках?

– Мы не можем оставить его так. Он выдаст нас при первом случае.

– Выбросим его из саней, а сами уедем.

– Но он знает нас в лицо и по фамилиям.

Безайс взглянул на него.

– От него надо избавиться, – сказал Матвеев, помолчав.

– Что ты думаешь делать?

– Его надо устранить.

– Но каким образом?

– Да уж как-нибудь.

Они с сомнением взглянули друг на друга.

– А может быть, он нас не выдаст? – нерешительно сказал Безайс. – Ведь он только хотел получить деньги. Теперь он напуган.

Матвеев задумался.

– Он дурак, он просто дурак, он даже не так жаден, как глуп. Нельзя. Мы не можем так рисковать. От него можно ждать всяких фокусов. Хорошо, если не выдаст. А если выдаст?

Безайс потёр переносицу.

– Ну ладно, – сказал он. – Я согласен.

– Сейчас же? – спросил Матвеев несколько торжественно.

– Конечно.

– На этом самом месте?

– Можно и на этом. Все равно.

Такая уступчивость показалась Матвееву странной.

– Ты, может быть, думаешь, – подозрительно спросил он, – что это все я буду делать?

Безайс подпрыгнул и сорвал ветку с кедра, под которым

они стояли. Лёгкая серебряная пыль закружилась в воздухе.

– Да уж, голубчик, – ответил он, сконфуженно покусывая хвою. – Я хотел тебя об этом просить. Честное слово, я не могу.

– Ах, ты не можешь? А я, значит, могу?

– Нет, серьезно. Я умею стрелять. Но тут совсем другое дело. Сегодня утром мы ели с ним из одной чашки. Это, понимаешь ли, совсем другое дело. Тебе... это самое... и книги в руки.

Матвеев сердито плюнул:

– Нюня проклятая! А тебе надо сидеть у мамы и пить чай со сдобными пышками!

Безайс слабо улыбнулся. Это было самое простое и самое удобное, но его воротило с души, когда он думал об этом. Маленькие наивные ёлки высывались из-под снега пятиконечными звёздами. Он машинально смотрел на них. В нем бродило смутное чувство жалости и отвращения.

– Неприятно стрелять в лысых людей, – сказал он, пробуя передать свои мысли.

– Так ты, значит, отказываешься? Может быть, мне позвать Варю вместо тебя?

– Оставь. Но ведь ты мне веришь, что если бы речь шла о драке, я бы слова не сказал?

– Вот что я тебе скажу, – ответил Матвеев. – Есть подлая порода людей, которые всегда норовят остаться чистенькими. Они охотно принимают за все при условии, что грязную часть работы сделает за них кто-то другой. Им непременно хочется быть героями, совершить что-нибудь необычайное, блестящее, какой-нибудь подвиг. Я знал та-

ких ребят. Их нельзя было заставить написать коротенькое объявление об общем собрании, потому что им хотелось написать толстую научную книгу. Они не хотели колоть дрова на субботах, потому что предпочитали взрывать броневики. Такие люди бесполезны, потому что подвиг у человека бывает один раз в жизни, а чёрная работа – каждый день... Ты, кажется, обиделся?

Безайс обиделся уже давно, но молчал.

– Ты, может быть, думаешь, что я специально обучался людей убивать?

– Могу ли я знать, – сказал Безайс, – почему ты, человек сурового долга, сваливаешь на меня эту грязную работу? Я растроган почти до слез твоими нравоучениями, но почему ты сам этого не сделаешь?

Матвеев зябко поёжился.

– Я не отказываюсь, – сказал он. – Но мне и самому не хочется браться за это. Я не то что боюсь – это пустяки. Я не боюсь, а просто страшно не хочется. И пускай уж мы вдвоём возьмёмся за это. Одному как-то не так.

Безайс молчал.

– Но если ты отказываешься, я, конечно, обойдусь и без тебя.

Безайс поднял на него глаза. Он почувствовал, что если откажется, то не простит этого себе никогда в жизни.

– Я не отказываюсь, – сказал он. – Вместе так вместе.

Они рядом, в ногу, пошли к саням. Безайс сосредоточенно хмурился и старался вызвать в себе возмущение и злобу. Он до мелочей вспоминал фигуру Жуканова, лицо, сцену с солдатом. «Око за око, – говорил он себе. – Так ему и надо». Но он чувствовал себя слишком усталым и не

находил в себе силы, чтобы рассердиться. Тогда он начал убеждать себя в том, что Жуканов, собственно говоря, пешка, нуль. Подумаешь, как много потеряет человечество от того, что он через несколько минут умрёт. В конце концов все умрут. Умрёт он, умрут Матвеев и Варя.

Из-за деревьев показались лошади и сани. Безайс услышал голос Жуканова:

– Вы ещё молоды, барышня, учить меня. Да и я стар, чтоб переучиваться. Вы говорите – деньги. Боже меня упаси чужое взять. Но ведь эти деньги-то тоже не ваши. Партийные деньги. А это всё равно что ничьи.

– Как же это – ничьи?

– Да так и ничьи. Скажите мне, как фамилия хозяина? На какой улице он живёт? Это деньги шалые, никто им счёту не ведёт, не копит, не интересуется.

Матвеев и Безайс подошли к саням. Варя держала револьвер, как ядовитого паука, и казалась подавленной ответственностью, которую на неё возложили. Она чувствовала, что выглядит забавной с револьвером в руках, и была рада случаю вернуть его Матвееву.

Жуканов встретил их с угрюмой насмешливостью.

– Как видите, не убежал, – сказал он. – Напрасно вы расстраивались – я от лошадей никуда не убегу.

Он подождал ответа, но Матвеев молчал.

– Да и зачем мне убегать? – продолжал он. – Я никого не грабил, не убивал. Документы у меня в порядке. Другие, например, не имеют документов и скрываются. Или безобразничают, а потом убегают. А мне зачем убегать?

– Подите-ка сюда, Жуканов, – сказал Матвеев.

– Куда это?

– Сюда на минуту.

– Зачем?

– Потом узнаете.

Жуканов задумался.

– Нет, вы скажите зачем.

– У меня к вам есть одно дело.

Некоторое время они неподвижно смотрели друг на друга. Потом Жуканов встал и пошёл к ним, переводя взгляд с одного на другого.

Они пропустили его вперёд и пошли вслед за ним на несколько шагов. Безайс, сдерживая дыхание, опустил руку в карман, вынул револьвер и поднял его на уровень глаз.

Ему не было жаль Жуканова. Он думал только об одном и мучительно боялся этого: что Жуканов обернётся, увидит револьвер и поймёт. Он боялся крика, умоляющих глаз, рук, хватающих за полы шинели. В этот момент Жуканов обернулся, и Безайс мгновенно выстрелил.

Он почувствовал толчок револьвера в руке и услышал почти одновременно выстрел Матвеева. Большая серая ворона сорвалась с дерева и полетела, степенно махая крыльями. Жуканов свалился на бок, в сторону, и, падая, судорожно обхватил руками дерево. Скользя по стволу, он опустился на снег.

– Так! – вырвалось у Матвеева.

Они подождали несколько минут. Жуканов не двигался. Тогда они тихо обошли тело и взглянули на него спереди. Он лежал со строгим выражением на помертвевшем лице. Сквозь полузакрытые веки виднелись белки глаз. Крови не было.

Матвеев, держа револьвер в руке, опустился на колени

и расстегнул пуговицы его пальто. На груди, около горла и у левого плеча, темнели два кровавых пятна. Матвеев засунул руку в боковой карман и вынул кожаный бумажник с документами.

Назад они возвращались быстро, спеша. Варя встретила их молча, пристально поглядела и отвернулась.

– Скорей! – крикнул Безайс, вскакивая в сани и хватая вожжи. Он ударил по лошадям, и сани понеслись.

– Вы его убили? – спросила Варя, не поднимая глаз.

– Убили, – коротко ответил Безайс.

Они подъехали к дороге. Безайс остановил лошадей, и Матвеев пошёл вперёд.

– Мучился он? – спросила Варя.

– Нет, – ответил Безайс. – Он свалился, как мешок с отрубями. Я попал над сердцем, в плечо, – добавил он.

Варя передёрнула плечами.

У неё осунулось лицо, волосы выбились из-под шапки беспорядочными прядями. Она беспомощно взглянула на Безайса.

– Не понимаю, как это вы можете, – сказала она, отворачиваясь. – Убить человека! Ты не жалеешь, что убил его?

– Нет.

– Ничуть?

Безайс резко повернулся к ней.

– Отстань от меня! Чего тебе надо? Ну, убили. Ну, чего ты пристаёшь?

Он отчётливо вспомнил узкую дорогу, немую тишину леса и каблук Жуканова, подбитый крупными гвоздями. В нем поднималось чувство физического отвращения к этой сцене, и, чтобы заглушить его, он заговорил быстро и вызывающе:

– Подумаешь – важность какая! Одним блондином на земле стало меньше. Так ему и надо! Он получил свою долю сполна. Таких и надо убивать.

Он перевёл дыхание.

– А тебе жалко? Может быть, его надо было отпустить на все четыре стороны? Как же! Убили – и прекрасно. Одним негодяем меньше.

– Перестань, – сказала Варя.

Вернулся Матвеев.

– На дороге никого нет, – сказал он. – Можно ехать.

ОСКОЛОК КОСТИ

Они подъехали к Хабаровску, когда уже стемнело. Небо вызвездилось крупными, близкими звёздами, на западе широкой лиловой полосой потухал закат. По редкому лесу они въехали на гору, и Хабаровск внезапно встал перед ними. После узкой, неровной дороги и чёрного леса город показался огромным. Над ним колебалось мутное зарево огней, в сумерках блестели освещённые окнами вереницы улиц. Издали город огибала широкая полоса занесённой снегом реки, в синеватом воздухе тонким кружевом выделялся громадный, в двенадцать пролётов, Амурский мост. Здание электрической станции горело красными квадратами больших окон. И уже чувствовалась торопливая жизнь, шорох шагов, тёплое дыхание людской толпы.

– Приехали, – сказал Матвеев, чтобы нарушить молчание.

Безайс, перевесившись через край саней, взволнованно смотрел на город. Хабаровск рисовался ему чем-то отвле-

чѐнным, ненастоящим – черным кружком на карте. Теперь он колебался внизу пятнами огней – большой город с живыми людьми.

– Видите, вон там, справа, идёт бульвар, – говорила Варя, вытягивая шею. – А дальше, по набережной, за той большой трубой, – там наш дом. Ах, что будет с мамой!

Безайс не видел ни бульвара, ни трубы.

«Что будет с нами?» – машинально отметил он про себя.

Он оглянулся на Матвеева и встретился с ним взглядом. Матвеев сидел, откинувшись к спинке саней, и сосредоточенно кусал соломинку. Позади острыми вершинами чернел в небе редкий лес.

– Это дешёвый трюк, – сказал Матвеев, скривив лицо. – Если они на секунду заподозрят неладное, – все лопнет. Глупо – кто поверит, что мне сорок восемь лет? Это для детей.

Безайс резко бросил вожжи и сдвинул шапку на затылок. Было очень скверно.

– Но что же делать? – сказал он тихо и виновато. – Старик, мне самому это не нравится. Тут все напропалую, что выйдет.

Он поднял голову и глубоко вздохнул. Надо было перешагнуть и через это.

– Ну, а если?

– Что ж – если...

И, подумав, прибавил:

– Все там будем.

– Где? – с тихим ужасом спросила Варя.

Она была напугана до смешного, до меловой бледно-

сти, и Безайсу стало совестно при мысли, что он может быть хоть немного похож на неё.

– Да ничего, – сказал он. – Думаю, все обойдётся. И потом я заметил, что у белых караульная служба поставлена скверно. Часовые бегают пить чай, спят. Как-нибудь.

Матвеев судорожно, с усилием зевнул.

– Да-а, – сказал он неопределённо.

Он вытянул другую соломинку и начал её кусать, что-то придумывая, пока не поймал себя на том, что он просто оттягивает время – эту последнюю, уже наступающую минуту. Тогда он бросил соломинку и сказал, торопясь:

– Ну, поезжай!

Сани разом тихо скользнули вниз и пошли, наезжая боком на сугробы. Город огнями поплыл в сторону, замелькал сквозь чёрные ветки и на секунду исчез, – снова была звёздная ночь, снег, спокойный лес. Матвеев вдруг, торопясь, достал папиросу, закурил, мельком взглянул на часы.

– Без четверти девять, – сказал он.

Из-за косогора снова показались городские огни. Он машинально глядел на них и вдруг вспомнил, что где-то здесь, в одном из этих домов, живёт Лиза. Была такая же ночь там, в Чите, когда они ходили, держась за руки и болтая вздор. За последнее время он как-то не думал о ней; может быть, потому, что было некогда, или потому, что в лесу, в мороз, женщины и любовь нейдут на ум. Теперь воспоминание о Лизе было овеяно опасностью, стерегущей внизу у подножья горы, и загло в нём кровь. Город уже не был таким чужим.

– Безайс, – сказал он, – ты слышишь? Если они оста-

новят и попробуют задержать, гони лошадей. Черт с ними! Что будет. Удерём – и все.

– Хорошо.

«Удерём – и все», – повторил Матвеев про себя эту успокоительную фразу. Было всё-таки легче думать, что есть ещё один выход.

Теперь город стал ближе, поднялся вверх, и кое-где стали намечаться отдельные дома. Показались низкие крыши предместий, скворечни и длинные огороды. Стало ещё темней. Далеко впереди, в конце улицы, блестел одинокий фонарь.

– Сейчас начнётся, – сказал Матвеев, роясь в кармане. – Ну, Безайс, теперь держись крепче.

Пронеслось ещё несколько мгновений.

– Там направо, – сказал вдруг Безайс жарким шёпотом. – Это часовой.

– Сам вижу, – тихо ответил Матвеев.

Справа стоял небольшой дом с освещёнными окнами. С низкой крыши нависали пухлые сугробы снега. В небольшом палисаднике росли поникшие берёзы. Ещё издали они заметили тёмную фигуру на дороге, против дома. Они подъехали ближе и увидели гранёное острие штыка, торчащее из-за спины. Солдат окликнул их; хотя Безайс давно ждал этого, он невольно вздрогнул.

– Стой! – громко сказал часовой.

Безайс придержал лошадей.

– Кто едет?

Часовой был одет в огромную овчинную шубу, доходившую до земли. Он утопал в ней – снаружи виден был только верх его папахи.

– Свои, – ответил Безайс обязательной фразой.

– Кто такие?

– Местные. Хабаровские жители.

Наступила тишина. Безайс слышал, что впереди о чём-то тихо говорят. По снегу закрипели шаги. «Ну, чего же ты смотришь?» – услышал он. Кто-то вышел из ворот с фонарём, и жёлтый свет заколебался по снегу.

– Вы кто? – спросил другой голос.

– Хабаровские жители, – повторил Матвеев.

Впереди снова о чём-то заговорили. Безайс слышал обрывки фраз, но не мог ничего понять. Сердце коротко и глухо отбивало удары. «Скоро, что ли?» – вертелась тоскливая мысль.

На крыльцо, хлопнув дверью, вышел кто-то. Видны были только освещённые щелью фонаря сапоги. От изгороди падали на снег густые, чернильные тени.

– Ну что? – спросил громко стоявший на крыльце.

Ему ответили.

– Позовите Матусенку, – продолжал он. – Вы кто?

– Мы хабаровские жители.

За воротами звенели цепью. Лаяла собака. Лошади стояли, опустив головы.

– Откуда сейчас?

– Из Жирховки. Пропустите нас, будьте любезны.

Ворота, скрипя, открылись.

– Заводите лошадей во двор. Раньше утра в город въехать нельзя.

– Но мы же здешние, – крикнул Матвеев. – У меня документы есть, все в порядке. Пропустите, пожалуйста.

Слышно было, как стоявший на крыльце зевнул.

– Въезд в город только по разрешению коменданта, – ответил он. – Ночь переночуете здесь.

– Да как же так?

– Ничего не могу. Заводите лошадей.

Безайс нагнулся к Матвееву.

– Ну? – спросил он.

– погоди, – шёпотом отозвался Матвеев.

И громко крикнул, бессознательно подражая Жуканову:

– Сделайте удовольствие, пропустите нас! Я больной человек, мне нельзя так. Да и дома нас ждут.

Ответили не сразу. Кто-то засмеялся.

– Не сдохнешь, – слышали они.

– Гони, – чуть слышно сказал Матвеев.

Безайс шумно вобрал воздух в лёгкие, привстал и хлестнул кнутом. Толчок саней отбросил его назад. Он больно стукнулся подбородком, но тотчас поднялся на колени и снова ударил кнутом. Мимо мелькнул фонарь и тёмные фигуры людей. Сзади кричали, но Безайс не разбирал слов. Комья снега летели в сани. Стоя во весь рост, он хлестал по спинам, по бокам, не разбирая.

Навстречу кто-то бежал прямо на лошадей, крича и махая руками. Он отскочил в последний момент, и сани промчались мимо.

Сзади хлопнул выстрел, и Безайс инстинктивно пригнулся. Ему показалось, что пуля пролетела около виска, шевельнув прядь волос. Снова раздался выстрел.

– Господи! – услышал он восклицание Вари.

Улица казалась бесконечно длинной. Дома, прыгая, неслись навстречу чёрной грудой. Выстрелы оглушительно

отдавались в ушах. Из ворот выскочила собака и побежала за санями, остервенело лая. Безайс смотрел вперёд на перекрёсток, где можно было свернуть за угол. «Успеем ли доехать?» – думал он.

– Безайс!

Голос доносился глухо, точно по телефону. Он медленно, не сразу, понял, что его зовут.

Перекрёсток приближался. Безайс сжимал вожжи так, что руки у него онемели до локтя. Он подался вперёд, думая только о том, что надо скорее доехать и повернуть за угол. Отвяжется когда-нибудь эта собака?

На углу он резко потянул вожжи, и сани сделали крутой поворот, накренившись набок. Безайс ухватился за передок, ожидая, что сейчас они вывалятся в снег. Но в следующую секунду сани уже неслись по тёмной улице.

Белая пыль колола лицо, и воздух свистел около ушей. Кони, храпя, крепко били копытами по укатанной дороге. Вся жизнь сосредоточилась в этом стремительном движении. После Безайс смутно помнил, что они повернули несколько раз в переулки, спускаясь и поднимаясь по какой-то горе, проезжали мимо церкви и длинного дощатого забора, из-за которого торчали голые сучья деревьев. Несколько раз он слышал, что ему кричат что-то, но он не вслушивался. Лошади сами перешли в рысь, хотя Безайс продолжал машинально хлестать их кнутом. Он поднёс руку к подбородку и почувствовал боль. «Это я, наверное, о передок ударился», – догадался он.

– Безайс, – услышал он. – Да постой же ты! С ума сошёл?

Безайс медленно собирался с мыслями. Он только те-

перь заметил, что на нём нет шапки. Лоб и щеки были совершенно мокрые от снега и пота.

– Ну, что с тобой? Я не могу тебя дозваться. Погляди на Матвеева. Ну, двигайся скорей, ради бога.

Безайс вытер лоб.

– Что с ним? – спросил он, нащупав в ногах измятую шапку и надевая её на голову. – Что ты кричишь? Говори тише.

Он остановил лошадей и зажёл спичку. Некоторое время он бессмысленно смотрел, соображая, что произошло. Мгновенно он вспомнил Жуканова. Лицо Матвеева было бледно, губы закусены. Он сидел, вцепившись левой рукой в борт саней. Голова была откинута назад и повернута набок. У Безайса захватило дыхание. Убили?

– Матвеев, – позвал он тихо.

Но Матвеев молчал. Безайс поднял его руку – она беспомощно повисла. Скользнув глазами, он заметил вдруг, что левая нога Матвеева в крови. Безайс снова зажёл спичку. Ниже колена, около ступни, густо проступала кровь. Из обрывков материи виднелось что-то белое, сначала ему показалось – бельё. К крови прилипло несколько соломинок. Но потом он вдруг с мучительной ясностью заметил, что кусок белого был осколком кости, – острый, овальный, с неровными краями осколок. Это перевернуло в нём душу. Варя была поражена бессмысленным выражением его лица.

– Он жив? – спросила она.

Безайс снова поднял его руку и стал щупать пульс. На тротуаре, против них, остановился человек, постоял и пошёл дальше.

– Ну что? – спросила она.

Он никак не мог найти пульса. Напрягая память, он старался вспомнить правила первой помощи. В это мгновение Матвеев слабо пошевелил пальцами. Безайс бережно опустил руку.

– Ну что? – повторила Варя. – Он уже умер, да? Да что ты молчишь, Безайс?

– Он живёхонек! – воскликнул Безайс. – Ты знаешь, где здесь живёт хороший доктор? Самый лучший, самый дорогой доктор?

– На Набережной есть хороший доктор. У него лечилась тётя Соня. Только, Безайс, милый, езжай скорей. Ведь, правда, он жив, Безайс?

– Ну, разумеется, жив!

Он стал поворачивать лошадей, когда вдруг Варя вспомнила, что доктор на Набережной – специалист по лёгочным болезням.

– Дура! – сердито сказал Безайс.

– Я совсем сошла с ума. погоди!.. – ответила она, прижимая ладони к вискам. – А какой нам нужен? Как он называется?

– Хирург.

– Хирург? Сейчас, сейчас! погоди, я сейчас. – Она крепко закрыла глаза, покачивая головой.

Безайс глядел на неё с нетерпением.

– Скоро ты? У тебя голова набита опилками?

– погоди, Безайс, голубчик, – повторила она умоляюще. – Я стараюсь вспомнить, но у меня ничего не выходит. Хирург?

Безайс ждал, нетерпеливо стуча каблуками. В эту ми-

нута он ненавидел её. Надо было спешить, не теряя ни минуты, а она сидит и не может вспомнить! От его влюблённости не осталось ничего – ему хотелось отколотить её.

– Пока ты здесь сидишь, он истекает кровью! – воскликнул Безайс. – Ведь он умереть может, пойми ты!

Она молчала.

– Полено! – простонал он.

Плечи Вари вздрогнули. Она заплакала.

– Я... ничего... не могу вспомнить... – сказала она, всхлипывая. – У меня голова идёт кругом. Он ещё не умер?

Безайс вскочил в сани и взмахнул вожжами.

– Безайс, послушай, – сказала Варя, быстро вытирая слезы. – Хирурги не прививают оспу?

– Где тут ближайшая аптека?

– Прямо и направо. Не гони так, трясёт очень.

Улица шла далеко вперёд ровной линией. Сквозь ставни домов на дорогу сочился мягкий свет. Небо было по-прежнему ясно и холодно светилось крупными, близкими звёздами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В прихожей на вешалке грудами висели пальто и шубы. За стеной на пианино играли бравурный марш. Безайс впервые за несколько месяцев увидел своё лицо в зеркале. Ссадина на подбородке и клочья выбившихся из-под шапки волос делали его лицо настолько странным, что он с трудом узнал самого себя. Он снял шапку и приглаживал волосы, когда в прихожую вошёл доктор.

– Вы ко мне?

– Доктор, пожалуйста... Случилось несчастье: мой брат ранен. Я заплачу вам любые деньги, только помогите мне.

Он испугался, что доктор обидится и откажется.

– Я не стал бы вас беспокоить, но рана очень серьёзная, – продолжал он с натянутой улыбкой, просительно глядя доктору в глаза.

– Но у меня нет приёма сейчас. Отчего вы не обратились в больницу?

– Я приезжий и не знаю города. Мне указали на вас.

Доктор вынул зубочистку и поковырял в зубах, раздумывая.

– Кто вас направил ко мне?

– Мне рекомендовали вас в аптеке как лучшего хирурга.

За стеной пианино смолкло. Задвигались стулья. Безайс с беспокойством ждал ответа, ловя каждое движение его век.

Многое зависело от этого приземистого доктора с желчным лицом. В его белых сухих пальцах вздрагивала, теряя кровь, судьба человека.

Доктор поиграл брелком.

– Хорошо, ведите его сюда.

Безайс бегом бросился на улицу. Обхватив плечи Матвеева, он стал его поднимать, стараясь быть как можно осторожнее. Нагнувшись, он положил его руку себе на шею.

– Держи его за поясницу, Варя!

Он поднял его и пошёл к двери, шатаясь под тяжестью бессильного, обвисшего тела.

– Безайс, ты упадёшь! – крикнула Варя.

Он поднялся по лестнице, ощупывая ногами ступеньки.

Наверху стояла со свечой горничная в аккуратном переднике и смотрела на Матвеева с нескрываемым любопытством. Дойдя до прихожей, Бейзас совершенно выбился из сил и стал бояться, что упадёт вместе с Матвеевым.

— Куда нести? — спросил он, задыхаясь.

В дверь заглядывали женские лица. Маленькая девочка с розовым бантом сосредоточенно рассматривала его.

Безайс вошёл в небольшой кабинет и, изнемогая, положил Матвеева на кожаный диван. Доктор снимал пиджак и говорил что-то горничной.

— Разденьтесь, — сказал доктор, надевая халат. — Вы не боитесь крови? Вымойте руки.

В кабинете стоял сложный запах старого, годами обогретого жилья. На письменном столе скопились кучи открыток с морскими видами, валялись искусанные карандаши, распиленный и застёгнутый на медные крючки череп, бюст Толстого и огромные книги. Над столом висела картина, на которой выводок полосатых котят возился с клубком шерсти. В стеклянном шкафу тускло блестели золочёными переплётами ряды книг.

Горничная внесла спиртовку и таз с водой, вкатила белый железный стол и спустила с потолка большую лампу. Безайс мыл руки, поглядывая на доктора.

Небольшого роста, узкоплечий, с угловатыми движениями, доктор был под стать своему кабинету с его старомодной, потёртой мебелью. Одет он был неловко, в просторный пиджак и брюки с вытянутыми на коленях мешками. Седая борода была подстрижена клинышком, на лбу колебался хохолок редких волос. Он носил золотые очки с толстыми стёклами, которые делали выражение глаз упорным и странным.

– Как это случилось? – спросил он, осматривая Матвеева.

– На нас напали хулиганы...

– Ну?

– И... ударили его. Выстрелили.

Доктор снял очки и потёр их платком.

– Давно?

– Час назад, полтора. Почему он без памяти, доктор?

– От потери крови...

Он осмотрел ногу, выпячивая губы и что-то прищёптывая, неодобрительно качая головой.

– Хулиганы... А зачем вы к ним полезли, к хулиганам?

– Они сами полезли.

– Конечечно. Сами полезли. А вы бы ушли без скандала.

Надо было драку начать?

В комнату вошёл высокий худой человек с зелёным лицом и длинными зубами. Он поздоровался, мельком взглянул на Матвеева и стал надевать халат.

– Вот... полюбуйтесь, – сказал доктор.

Худой – его звали Илья Семёнович – подошёл к дивану, застёгивая на спине халат.

– Перелом?

– Пулевая рана. Задета кость.

Они перенесли Матвеева на железный стол с откидными спинками и спустили лампу к самой ноге, отчего по углам сгустилась темнота. Илья Семёнович потрогал ногу и скривил своё длинное лицо.

– Как же это его? – спросил он, и Безайс снова повторил историю с хулиганами, чувствуя, что она неправдоподобна. Доктор смотрел на него с явным неодобрением, точно Безайс сам прострелил Матвееву ногу.

– Хорошо, хорошо, – сказал он нетерпеливо.

Илья Семёнович разложил на куске марли блестящие инструменты. Они пугали Безайса своими сверкающими изгибами и безжалостными остриями, сделанные, чтобы проникать в живое тело. За ним вытянулась линия бутылей с притёртыми пробками. Несколькими взмахами кривых ножниц Илья Семёнович взрезал напитанную кровью материю и обнажил ногу Матвеева. Доктор строго взглянул на Безайса.

– Не разговаривайте и не кашляйте, – сказал он. – Возьмите часы и считайте пульс, – все время. Умеете считать пульс?

– Умею. А что с ним, доктор? Серьёзно?

– Серьёзно. Не разговаривайте, я вам сказал.

Он нагнулся и принялся очищать залитую кровью кожу, обтирая её скрипящими комками белоснежной ваты, снимая запёкшуюся, уже бурую, корку. Безайс считал как машина, вкладывая в это все силы и едва удерживая дрожь в пальцах. Сбоку искося он видел кровь, обнажённое мясо, и ему стало страшно. Тогда он решительно, одним усилием повернул голову. Он увидел большую, с рваными краями рану, выходившую на внутренней стороне ноги. Прорвав кожу, показался небольшой, в полтора сантиметра, осколок кости бледно-розового матового цвета с алыми прожилками. Сквозь запёкшуюся кору проступала наружу крутыми завитками свежая кровь. Пальцы ноги были неестественно белы и неподвижны.

Безайса охватило чувство мгновенной дурноты и слабости, за которое он тотчас возненавидел себя. Закрыв глаза, он стоял, чувствуя, что не может смотреть на это.

Вид раны вызывал в нём мысль о мясной лавке, в которой лежат на потемневших столах липкие куски говядины. Но какая-то внутренняя сила заставила его открыть глаза и смотреть, подавляя ужас, как доктор захватывает щипцами края кожи и выравнивает порванные мускулы.

Лампа ярко освещала стол, быстрые пальцы доктора, вату и ряд инструментов. За этим меловой белизны кругом стояла полутьма, из которой слабо поблёскивало золото переплётов. На спиртовке клокотала вода, пар таял под абажуром, покрывая стекло влажным бисером.

– Сколько? – спросил вдруг доктор.

Безайс не сразу понял, что это относится к нему.

– Триста семьдесят один.

– Что-о? Сколько?

Безайс повторил.

– Нельзя же быть таким бестолковым, – сказал доктор, дёргая щекой. – Надо по минутам считать. Сколько в минуту. Поняли?

Он снова наклонился над Матвеевым. Его руки были в крови. Пальцы двигались с непонятной быстротой. Илья Семёнович работал, как автомат, движение направо, движение налево, – не уклоняясь и не спеша. Безайс прямо перед собой видел его спину с острыми лопатками. В комнате резко пахло спиртом и перегретым воздухом. Горничная бесшумно вынесла таз, наполненный кровавыми комками ваты. В тишине сдержанно шипело синеватое пламя спиртовки. Илья Семёнович однообразно двигал руками, и все это – холодный стол, тикающие часы, белый халат доктора, пульс, вздрагивающий под пальцами Безайса, – рождало острую тоску.

– Сколько? – спросил доктор.

Безайс тупо молчал. Из-за толстых, блестящих стёкол доктор взглянул на него с тихой ненавистью. Он ушёл в работу с головой, и каждый промах Безайса принимал как личную обиду. Безайс чувствовал, что, не будь доктор так занят операцией, он пырнул бы его тонким блестящим ножом, который держал в руке.

– На часы надо смотреть, а не на меня, – что вы пялите глаза? – сказал доктор. – Говорите вслух каждую минуту, – сколько. Ну!

Безайс стал глядеть на часы. Стрелка быстро бегала по циферблату. Опять вошла горничная. По комнате пополз запах – сладковатый, крепкий, оставляющий на языке какой-то привкус.

– Семьдесят два, – сказал Безайс.

Ему стало стыдно. В конце концов, он не баба же. Они вместе работали и вместе были под пулями. Для товарища надо сделать все, – и уж если приходится кромсать ему ногу, то надо сделать это добросовестно и чисто.

– Семьдесят три, – сказал он.

Под конец Безайс измучился и не признавал почти ничего. Тяжело передвигая ноги, он перетаскивал вместе с Ильёй Семёновичем Матвеева на диван, слушал шутки доктора, внезапно подобрёвшего, когда перевязка кончилась, и машинально улыбался. Илья Семёнович вымыл руки, оделся и ушёл в столовую пить чай. Толстая повязка белела на ноге Матвеева ниже колена. Безайс стоял, вспоминая, что надо делать, – надо было одеть Матвеева. Опустившись на колени, он начал застёгивать пуговицы.

Доктор снимал халат и плескался водой около умывальника.

– Однако вы ловко все это сделали, – сказал Безайс, чувствуя необходимость сказать ему что-нибудь приятное.

Доктор вытирал руки мохнатым полотенцем.

– Да, я немного маракаю в этом. Но он совсем ещё мальчик. Сколько ему лет?

– Н-не знаю... Двадцать – двадцать один.

– Хм... Странно – не знать, сколько лет брату.

– Я забыл, – сказал Безайс, подумав.

Пуговицы никак не застёгивались. Матвеев коротко стонал, мотая головой. Тут Безайс вспомнил, что на улице его ждёт Варя. Он совсем забыл о ней, как забыл обо всём другом. Что она там делала одна на морозе с чужими лошадьми?

– Доктор!

Безайс вскочил, сжав кулаки, готовый драться со всем городом. Доктор стоял около телефона, держа трубку в руке.

– Куда вы хотите звонить?

– В больницу.

– Зачем?

– Чтобы приехали за ним.

– Пожалуйста, не звоните. Я отвезу его домой.

– Почему?

– Потому что отвезу. Я не хочу, чтобы он лежал в больнице. Повесьте трубку!

– А если не повешу?

– А если... Повесьте трубку!

– Но ему надо лежать в больнице. Так нельзя. Нужен тщательный уход.

– Уход будет самый тщательный. Не звоните, я вас прошу.

Доктор повесил трубку и засунул руки в карманы.

– Так-с, – сказал он неопределённо, выпячивая щетинистые губы.

Безайс снова опустился на колени и, лихорадочно спеша, надел чулок и ботинок.

– Смотрите, – услышал он, – на вас опять могут... – доктор помедлил, – хулиганы напасть.

– Не нападут.

Он чувствовал на затылке внимательный взгляд доктора и спешил, как только мог. Надо было скорее убираться, становилось что-то очень уж горячо.

Слышно было, как доктор шуршал бумагой на столе и укладывал инструменты. Потом он принялся ходить по комнате, кашлять, щёлкать пальцами, сопеть; наконец, подойдя к Безайсу почти вплотную, он остановился у него за спиной.

– Ну, а теперь скажите мне правду, где его ранили? Не обманывайте меня.

И, понизив голос, сказал:

– Вы большевик. И он – тоже большевик.

Безайс медленно поднялся с колен и прямо перед собой увидел золотые очки, мясистый нос доктора и его бородку клинышком. Опустив глаза, он взглянул на шею в мягком воротничке домашней рубашки; потом, выставив вперёд левое плечо, он твёрдо упёрся ногами в пол.

– Слушайте, – сказал он, равномерно дыша и распрямляя пальцы. – Бросьте эти штуки. Это может плохо кончиться для вас.

– Плохо? – тихо переспросил доктор.

– Совсем плохо, – так же тихо ответил Безайс.

И вдруг он увидел, как на лице доктора, около глаз, дрогнули и разбежались весёлые морщинки. Это немного сбilo его с толку, – но лицо доктора было по-прежнему серьёзно.

– Вы меня убьёте? Потащите в угол и придушите подушкой?

– Посмотрим, – ответил Безайс неуверенно.

– Нет, без шуток?

– Посмотрим, посмотрим.

Он отошёл на несколько шагов, не спуская с Безайса удивлённых глаз.

– А сколько вам лет?

– Девятнадцать, – угрюмо солгал Безайс.

Доктор минуту смотрел на него с непонятным выражением лица, что-то обдумывая, потом спросил:

– Вы не обедали сегодня, правда?

– Не обедал.

– Сумасшедшие, – сказал он, качая головой. – Ну не делайте такого лица, я знаю, что вы вооружены до зубов. Зачем вы так рано вмешиваетесь в политику? Что это вам даёт? Ведь сейчас вам надо было бы выпить стакан молока и лечь спать. Вы изводите себя. Сначала надо вырасти, окрепнуть, а потом делайтесь белыми или красными. У вас совершенно больной вид. Здесь, под лопатками, не колет?

– Нет.

– Общество, коммунизм, идеалы, – надо и о себе немного подумать. Так вы уморите себя. Отдыхайте, дышите свежим воздухом и лучше питайтесь. Вы, конечно, скаже-

те, что это меньшевистская программа. Но я уверен, что если бы ваш Ленин был здесь, он уложил бы вас в постель. Да вы не слушаете меня?

Безайс был измучен и сознавал только, что доктора бояться нечего.

– Слушаю, – ответил он. – Если бы Ленин был здесь, он уложил бы меня в постель. У вас профессиональный подход к делу. Есть много вещей на свете, которых вы не сумеете понять.

– Стар?

– Может быть.

– И глуп?

– Нет. Просто вы чужой человек.

– Чужой? А вы мальчишка!

Безайс с удивлением заметил вдруг, что доктор волнуется.

– Чужой... говорите прямо: кровосос. Ещё и выдаст, чего доброго, правда?

Он оборвал себя самого.

– Я пошутил. Конечно, чужой. Знаете что? Пойдёмте поешьте чего-нибудь. У вас совершенно заморённое лицо.

– Спасибо, не могу. На улице меня дожидается одна девушка.

– Тоже сестра какая-нибудь? Ну, как хотите.

– Сколько я вам должен за работу?

– Какие у вас деньги? Купите себе на них леденцов.

Он отошёл к столу, написал несколько рецептов и долго объяснял Безайсу, что надо делать. Он настаивал на том, чтобы Безайс на другой же день привёл его к Матвееву.

– Политика политикой, а гангрена сама собой.

Безайс машинально кивал головой. Он был оглушён событиями этого дня и чувствовал себя невыносимо скверно.

– Хорошо, – сказал он безрадостно.

Он кое-как одел Матвеева, заложил его руку за шею и приподнял с дивана. Матвеев все время невнятно мычал, и Безайсу это напоминало, как на бойне мычит сваленный последним ударом бык. Нести было тяжело, но Безайс отказался от помощи доктора.

– Я сам.

Он вынес его на улицу и бережно уложил в сани, укрыв пальто. Подумав, он снял шинель и тоже положил её на Матвеева, оставшись в куртке.

– Что с ним? – спросила Варя. – Ты простудишься.

– Ничего. Ну, поедem.

Он оглянулся. Доктор стоял в дверях, ветер трепал его редкие волосы и полы пиджака. На его лице отражалось волнение, и глаза за толстыми стёклами казались большими и тёмными. Точно вспомнив что-то, Безайс вылез из саней и подал ему руку.

– До свидания. Я и мои товарищи – мы вас благодарим.

– Ладно, – сказал доктор. – Какое вам дело до меня? Конечно, вы правы: у вас слишком много дел, чтобы обращать внимание на стариков. Из стариков надо варить мыло, правда?

Он захлопнул дверь и снова открыл её.

– Но завтра обязательно приходите за мной.

НОГА

Матвеев открыл глаза и вдруг разом почувствовал, что жизнь переменилась, – будто и земля и воздух стали другими. Сбоку он увидел окно, тюлевую занавеску и ветку сосны, качавшуюся за стеклом. Кто-то осторожно ходил по комнате.

– Можно, – услышал он голос Безайса. – Но только тише, тише, пожалуйста. Скажи, чтоб затворили дверь из кухни. Кажется, их надо держать пять минут. Крутых он не любит, надо в мешочек.

Ему ответили шёпотом. Матвеев снова стал дремать, но его вдруг поразил звук, от которого он давно отвык. Где-то мяукала кошка – и он живо представил себе, как она ходит, выгибая спину, и трётся об ноги. Он повернул голову, и голоса смолкли. Безайс присел на край кровати.

– Как дела, старина? – спросил он, широко улыбаясь. – Дышишь? Лежи, лежи. Привыкай к мысли, что тебе придётся порядочно полежать.

– Жарко, – ответил Матвеев. – Сними с меня эту штуку.

Он почувствовал боль в левом плече и поморщился.

– Больно? – спросил Безайс, стряхивая термометр. – Дай, я тебе поставлю. – Он приложил руку к его лбу. – Жар. Тебя лихорадит. Не раскрывайся.

– Где это мы сейчас?

– У Вари. Ты разве не помнишь, какой здесь вчера был переполох, когда мы ввалились?

Он ничего не помнил – голова была как пустая. Все его мысли сосредоточились вокруг тюлевой занавески, окна и мохнатой ветки, однообразно качавшейся перед глазами.

Тело болело ноющей болью – это было совершенно новое ощущение. Он обрезал себе пальцы, падал, в драке ему разбивали голову, – но такой странной боли он не испытывал никогда.

Тут он вдруг вспомнил давнишний, забытый им случай с колбасой, происшедший несколько лет назад. По карточкам выдавали колбасу, и он на рассвете стал в длинную, на несколько улиц растянувшуюся очередь. Очередь двигалась медленно – наступило утро, по улицам с песнями прошёл отряд ЧОНа, в учреждении напротив красноармеец долбил на машинке одним пальцем. После обеда пришли рабочие строить на площади арку к какому-то празднику. К прилавку он дошёл уже вечером, и тут, когда приказчик отвесил ему полфунта ярко-пунцовой колбасы, оказалось, что Матвеев взял с собой карточки на керосин. И теперь ему вдруг стало неприятно и обидно на свою рассеянность. «Те были синие и с каёмкой по бокам, а эти розовые и без каёмки», – подумал он.

Но он опять забыл об этом случае и вспомнил, что рядом с ним сидит Безайс.

– А что со мной, Безайс? Почему я лежу?

Безайс уронил ложку и долго искал её.

– Тебяхватило в ногу, – ответил он, вертя ложку в руках. – Но теперь опасности нет, не беспокойся. Мы тебя выходим.

Какая-то новая мысль беспокоила Матвеева. Она не давала ему покоя, и он беспомощно старался вспомнить, в чём дело. Но он знал, что дело важное и что вспомнить он обязан непременно.

Безайс тихо спросил:

– Ты какие любишь яйца больше: всмятку или в мешочке?

– Я люблю... – начал он и вдруг вспомнил. – А деньги? А документы? Целы они?

– Не беспокойся. Все цело.

– Безайс, это правда? Они у тебя?

Безайс покорно встал и достал из мешка свёрток. Но когда он вернулся к кровати, Матвеев спал уже, Безайс пошёл к двери. У косяка сидела Варя.

– Пойдём отсюда, пусть он спит.

Они вышли в другую комнату. Варя подошла к окну. Это была столовая, здесь стоял обеденный стол, исцарапанный мальчишками буфет и клеёнчатый диван. На стене висели барометр, карта и рыжая фотография Вариной мамы, снятая, когда мама была ещё девушкой и носила жакет с высоким воротником.

– Это хорошо, что он спит, – сказал Безайс. – Значит, рана его не очень беспокоит. Но мне прямо страшно вспомнить, как доктор вчера чинил ему ногу. Бедняга! Александра Васильевна пришла?

– Нет.

– Ты бы не могла смотреть на это. На польском фронте, в госпитале, когда мне вырезали опухоль под правой рукой, я насмотрелся на жуткие вещи. Доктора орудовали ножами направо и налево. Они вошли во вкус и хотели начисто оттяпать мне руку. Я едва отвертелся от них. Они привели меня в операционную, раздели и положили на ужасно холодный мраморный стол. Я страшно замёрз и дрожал так, что стол заскрипел. Докторша потрогала опухоль и – р-раз! Два!

Он выдержал паузу.

– Они сделали мне под мышкой такую прореху, что можно было засунуть кулак!

Варя молчала, прижавшись лбом к стеклу. Безайс подождал, что она скажет. Но у неё не было желания разговаривать.

Безайс прошёлся по комнате, посвистел. Ему стало тоскливо.

– Сегодня обошлось. Но что я потом скажу ему? К черту, к черту! – как только он встанет, я увезу его из вашего проклятого города! Уедем при первой возможности. Это худшее место на всей земле!

Варя обернулась.

– Вы уедете? Когда?

– Не знаю когда. Как только смогу его увезти.

– Безайс, почему? Вы опять попадёте в какую-нибудь историю. И тебя тоже ранят.

Он махнул рукой.

– Все равно – пропадать!

– Но это глупо! Почему не подождать, пока придут красные?

– А если они через год придут?

– Нельзя же так ехать – неизвестно куда. Особенно теперь.

– На это и шли. У тебя психология беспартийного человека: мама, папа, убьют. А я видал всякие вещи.

День был тусклый, по комнате стлался мутный свет, Варя снова повернулась к окну. Безайс прошёлся по комнате, чувствуя себя отчаянным и решительным.

– У нас, в Советской России, настоящие парни, – сказал

он, хмурясь. – Мы все рискуем шкурой. Сегодня ему ногу, а завтра мне голову. Это серьёзное дело. Матвеев сам отлично все понимает, и его не надо уговаривать.

Он подошёл к зеркалу и стал рассматривать своё лицо. Кожа обветрилась и покраснела, около глаз лежали тёмные круги. Худым он был всегда, но теперь похудел ещё больше. За дорогу он отвык спать в постели и есть за столом. Но он никогда не придавал этому значения. «Быть здоровым, – говорил он, – это всё равно, что быть брюнетом: кому повезёт, тот и здоров. В наше время только мещане имеют право на здоровье, а нам прямо-таки некогда лечиться и прибавлять в весе».

Он прислушался – из комнаты Матвеева ничего не было слышно. Мать Вари пошла к доктору – было решено, что Безайсу лучше первое время не показываться на улице. Чтобы заняться чем-нибудь, Безайс нагнулся к зеркалу и сделал сердитое лицо. Некоторое время он рассматривал своё отражение, а потом высоко поднял брови и скосил глаза. В эту минуту ему показалось, что Варя всхлипывает. Он обернулся и увидел, что она действительно плачет. Волосы упали ей на лицо, она вздрагивала и вытирала глаза рукой.

– Варя, что это значит?

Она не отвечала. Он вынул из кармана носовой платок, но после минутного размышления сунул его обратно.

– Что это такое?

Вопрос был праздный, и Безайс чувствовал это. Женщины всегда были для него сплошным сюрпризом, и он никогда не мог угадать, какую штуку они выкинут через минуту. Когда у мужчины неприятности, он курит и режет

стол перочинным ножом. А женщины плачут от всего – от горя, от радости, от неожиданности, от испуга, – и что толку спрашивать их об этом? В тягостном настроении он вынул папиросу и закурил.

– Как тебе не стыдно, – сказал он, подбирая выражения. – Взрослая, передовая, развитая девица ревёт ревмя! Му-у! Ты плакала вчера, плачешь сегодня. Это, кажется, переходит у тебя в привычку. Придёт твоя мать и подумает бог знает что. Она подумает, что я... что ты...

Он замолчал с полуоткрытым ртом. Его поразила новая, неожиданная, стремительная мысль. Ему показалось, что он настал, этот день, ожидаемый давно и упорно, – его праздник. Надо было петь, орать, бесноваться, а не болтать эти вялые и пошлые утешения. Он уезжает, – и она плачет! Мяч катится ему навстречу, и надо было держать его обеими руками.

– Неужели? – прошептал он взволнованно. – Безайс, старина!..

Он потрогал ногой половицу и пошёл к Варе, обходя каждый стул. В сером квадрате окна её фигура с круглыми опущенными плечами казалась трогательной и милой. Волосы светились вокруг головы тусклым золотом. У Безайса была только одна цель, опьяняющая и блестящая, дальше которой он не видел ничего: обнять её за талию. Мир раскрывал перед ним самую странную и прекрасную из своих загадок, которую он хранит для каждого человека – даже когда у того веснушки и розовые уши.

– Варя!

Она спрятала своё лицо, и он видел только шею и вздрагивающую грудь.

– Варя! – повторил он с каким-то воплем, сам пугаясь своего голоса.

Она оттолкнула его руку.

– Пусти! Какое тебе дело?

– Не плачь!

– Отстань от меня!

Он постоял, а потом рванулся, точно его держали за воротник, отбиваясь от самого себя, и обнял её за талию. Тут он успокоился и некоторое время стоял, упиваясь этим новым ощущением и ободряя себя к дальнейшему продвижению. Пока можно было действовать молча, одними руками, было ещё сносно, но вскоре надо было начать говорить. Он боялся этих неизбежных уже слов и в то же время страстно их желал. «Я тебя люблю».

– Успокойся... ну, я тебя прошу, – исчерпывал Безайс свой скудный запас нежных разговоров. – Очень прошу.

– Я... не скажу... ни одного слова.

– Ну, пожалуйста, оставь, – тихо сказал он, совершенно иссая.

Она словно сопротивлялась, но Безайс охватил её плечи и повернул к себе. Тогда она отняла руки от лица и подняла на него полные слез глаза. «Какая она хорошенькая!» – подумал он возбуждённо.

– Ты понимаешь, Безайс, – заговорила она взволнованно и уже не стыдясь своих слез, – он даже не спросил обо мне! Хоть бы одно словечко, Безайс, а? Ведь меня могли ранить, даже убить, а ему всё равно! Он спрашивал о тебе, о деньгах, о бумагах, обо мне даже не вспомнил. Значит, я для него совсем не существую? Он обо мне ни капельки не думает? Да, Безайс?

Сдерживая дыхание, она вопросительно смотрела на него. Безайс, расширив глаза, стоял глухой и слепой. Невозможно угадать, какую штуку они выкинут в следующую минуту. У мужчин все это гораздо понятней и проще, а женщины сделаны, как шарады: кажется одно, а получается совсем другое.

У него на языке вертелись только самые пошлые, самые избитые фразы: «Ах, вот как?» Или: «Вы, кажется, того?» Или: «Я давно кое-что замечал!» Но это здесь не годилось. Её ресницы слиплись от слез, и глаза стали большими и блестящими. Безайс осторожно отвёл руки от её талии.

– Какая ты глупая! – воскликнул он с плохо сделанным удивлением. – Он, наверное, толком не понимает даже, где он находится и что с ним случилось. Ранили бы так тебя, ты узнала бы, что это такое. Когда мне на фронте вырезали опухоль под правой рукой, я никого не узнавал. И не удивительно – потеря крови, лихорадка, слабость. Это хуже всякой болезни.

– Но ведь о бумагах и деньгах он вспомнил же?

– Да, о бумагах. Это партийное дело. Оно важнее всяких болезней. Ты никогда не поймёшь, что это такое.

Она покачала головой.

– Вовсе не поэтому. Я знаю, он считает меня мещанкой и душой.

– Почему ты так думаешь? – уклончиво ответил Безайс. – Он мне ничего такого не говорил. Сейчас он просто болен, и глупо требовать от него галантности. А ты ревёшь, разводишь сырость и устраиваешь мне сцену. Хочешь, я покажу, как ты плачешь?

Он скривил лицо и всхлипнул. Она быстро вытерла слезы и оттолкнула его.

– Ну, уходи, – сказала она, смущённо улыбаясь и краснея. – Уходи, чего ты на меня смотришь?

Безайс повернулся и вышел. В столовой он мимоходом взял со стола пышку и сел перелистывать семейный альбом. Откусывая пышку, он машинально рассматривал пожелтевшие фотографии бородатых мужчин и странно одетых женщин.

– Нет, – сказал он, захлопывая альбом. – Каждый человек может быть немного ослом. Но нельзя быть им до такой степени.

Он встал, походил и остановился перед гипсовой собакой нелепой масти, стоявшей на комод. У неё был розовый нос и трогательные голубые глаза; одно ухо было поднято вверх. Безайс пощёлкал её по звонкому носу.

– Это ваше личное дело, – прошептал он. – Вы влюбляетесь и рыдаете. Но за что я, Виктор Безайс, обязан выслушивать все это? А если я не хочу? Какое мне дело, позвольте спросить?

Собака неподвижно смотрела на него гипсовыми глазами.

На другой день снова пришёл доктор. Он осмотрел метавшегося в жару Матвеева, долго писал рецепт и расспрашивал Варю. Потом он встал и отвёл Безайса в угол.

– Это правда, что он ваш брат? – спросил он.

– Нет. Это мой товарищ.

Доктор взял Безайса за рукав и засопел.

– Хотя всё равно. Но отнеситесь к этому, как мужчина. Вы слушаете?

– К чему? – спросил Безайс, холодея.

– Ему придётся отнять ногу. Больше ничего сделать нельзя.

На мгновение он перестал видеть доктора. Перед ним был Матвеев – здоровый, широкоплечий, на груди мускулы выпирали из рубашки.

– Это невозможно! – воскликнул Безайс. – Как же так?

– Кость раздроблена, срastить её нельзя. Началось нагноение.

Безайс взволнованно взъерошил волосы.

– Доктор, неужели нельзя? Вы не знаете, какой это человек! Он такой сильный и здоровый. Что он будет делать без ноги?

Доктор сердито пошевелил бровями.

– Не надо лезть! – сказал он со сдержанной яростью. – Дома надо сидеть, а не лезть на рожон. Ну, зачем вы полезли? Кто вас просил?

Безайс не слушал его. Он понимал только, что Матвееву собираются отхватить ногу около колена, и ничто на свете не может ему помочь.

– Вам ничего не втолкуешь. Идейные мальчишки!

– Но его лучше прямо убить! – с отчаянием сказал Безайс. Он не мог представить себе Матвеева с одной ногой. – А если не резать?

– Он умрёт, вот и всё.

– Так пускай лучше он умрёт, – ответил Безайс.

Доктор заложил руки за спину и прошёл из угла в угол. Матвеев бормотал какой-то вздор.

– Думаете – лучше? – спросил доктор задумчиво, останавливаясь перед Безайсом.

– Лучше.

Прошло много времени – минут пятнадцать.

– Куда он денется? – сказал Безайс. – И на что он будет годеи? Заборы подпирати? У него горячая кровь, он сам здоровый – что он будет делать?

Опять наступила пауза.

– Операцию я всё-таки сделаю, – сказал доктор. – Это его дело распоряжаться своей жизнью, а не ваше. Вы слушаете меня?

– Слушаю.

– Я думаю – завтра.

– Это – окончательно? Никак нельзя поправить?

– Я же сказал. Если вы обращаетесь к врачу, надо ему верить.

– Где вы думаете сделать это?

– Не беспокойтесь, он будет в безопасности. Операцию сделаю в больнице. Я ручаюсь, что никто не будет знать, кто он такой. Иначе невозможно, – на дому таких вещей делать нельзя. Это сложная история.

Безайс молчал.

– Вы мне не верите? – спросил доктор с горечью. – Думаете – выдам?

– Нет. Но вы сами уверены, что никто не узнает?

– Я ручаюсь.

Поздно вечером приехали за Матвеевым – доктор, Илья Семёнович и одна женщина. Они увезли его, и на другой день, тоже вечером, привезли обратно – левая нога Матвеева кончалась коротко и тупо. Безайс ушёл в тёмную столовую и сел на расхлябанный диван. Ему хотелось рычать.

Он чувствовал себя виноватым – виноватым за то, что

он здоров, что у него целы ноги, что мускулы легко играли под кожей. Ехали вместе и вместе попали под пули, но Матвеев один расплатился за все. Безайс тут ни при чем, это его счастье, что ни одна пуля не задела его – но иногда так невыносимо, так дьявольски тяжело быть счастливым!

ГИПСОВАЯ СОБАКА

Матвеев очнулся сразу, точно от толчка. Он вздрогнул и открыл глаза. Комната в серых сумерках, незнакомая, странная, медленно поплыла перед его глазами.

Его охватило тяжёлое предчувствие чего-то страшного. Все вокруг имело дикий, несоразмерный вид. Потолок и стены кривились острыми зигзагами. У кровати на стуле стояли бутылка и стакан с чайной ложкой. Они показались огромными, выросшими и заполняли собой все. Комод, стоявший у противоположной стены, виднелся точно издали, как в бинокль, когда смотришь в уменьшительные стекла. В углах шевелились сумерки. Он прислушивался к их тихому шороху, не понимая, что сейчас – утро или вечер.

Закрывая глаза, он чувствовал, как кровать начинает качаться под ним медленными, плавными размахами. Сначала ноги поднимались вверх, потом опускались, и начинала подниматься голова. Он открыл глаза, повернулся и вдруг дико вскрикнул. За окном, прижавшись к стеклу широким лицом, стоял кто-то и неподвижно смотрел на него.

Ужас придавил его к кровати. Все ощущения мгновенно приобрели остроту и напряжённость. С мельчай-

шими подробностями он видел, как тёмная фигура за окном подняла руки, надавила на раму, и стекла высыпались, падая на одеяло. Тёмный силуэт просунулся в комнату и опёрся на подоконник – осколки хрустнули под его локтями. Матвеев видел большую голову, широкие плечи и завитки волос над ушами, но лица разглядеть не мог – вместо лица было какое-то серое пятно.

В комнате ходил ветер, хлопая занавеской. Несколько снежинок закружилось над Матвеевым.

Исчезающими остатками сознания Матвеев понял, что это бред.

– Ничего нет, – прошептал он.

И действительно, на секунду силуэт побледнел, и сквозь него стали видны очертания рамы. Последним усилием Матвеев старался освободиться от тяжёлой власти кошмара, точно разрывая опутывающие его верёвки. Но затем он сразу погрузился в дикий призрачный мир, и бред сомкнулся над его головой, точно тяжёлая вода. В синем квадрате окна очертания тёмной фигуры стали ещё отчётливее.

Для него исчезли день и ночь, пропали границы времени. Когда он снова открыл глаза, было уже поздно, и луна светила в комнату. За окном никого не было. По-прежнему аккуратными складками висела тюлевая занавеска, и стекло светилось матовым блеском. Матвеев долго лежал, ни о чём не думая. Потом он услышал тончайший писк и повернул голову. Писк прекратился. Через минуту из темноты тихо вышла большая рыжая крыса и остановилась в пятне лунного света. Это было крупное животное – ростом с котёнка. На её тонких круглых ушах

серебрилась короткая шерсть. Она постояла, поводя ушами, потом пошла дальше, волоча по полу длинный хвост и низко держа узкую морду. Он следил, как она постепенно выходила из лунного луча – сначала голова, туловище и, наконец, вся, до кончика хвоста, пропала в темноте.

Потом пришли ещё два плюшевых гада, неестественно больших, и стали ходить по комнате. Они возились, как лошади, шуршали бумагой и нагло подходили к самой кровати. Их голые лапы казались прозрачными. Матвеев несколько раз кричал на них, они медленно уходили в угол и снова возвращались на середину пола. Потом они вовсе перестали обращать на него внимание, точно его не было в комнате, ходили, царапались, пищали и чуть не довели его до слез. Ему страстно хотелось их убить.

Снова наступил провал – не то сон, не то обморок. Луна ушла в тучи, разливая ровный млечный свет. Скрипнув дверью, вошёл Жуканов. В комнате потянуло холодком. Матвеев неприязненно поглядел на него и полузакрыв глаза. Сквозь опущенные ресницы он видел, как Жуканов отряхивал рукой снег с левого бока. «Он упал на левый бок», – вспомнил Матвеев.

Жуканов подвинул стул к кровати и сел. Сняв шапку, он разгладил редеющие волосы и начал что-то говорить, улыбаясь и вопросительно глядя на Матвеева. Матвеев устало молчал, не слушая его. Голова тяжело лежала на горячей подушке. В висках быстрыми ударами билась кровь. Он обернулся – в окне никого не было.

Нога не болела – он не чувствовал её. Иногда, касаясь подушки, он испытывал быструю, пронизывающую боль от скулы до плеча. Может быть, и плечо тоже ранено? Вряд

ли, Безайс сказал бы об этом. Это у Жуканова в плечо. В плечо и в грудь – под горлом...

Тут он отчётливо увидел, как стоявшая на комодe гипсовая собака подняла заднюю ногу и почесала у себя за ухом привычным собачьим жестом, а потом снова застыла в неестественной окаменевшей позе. Это его удивило.

– Скажите пожалуйста! – прошептал он.

Жуканов настойчиво тронул его рукой. Матвеев поднял глаза и заметил, что он сердится. О чем это он? Опять о лошадях? Боже, как это надоело!

– Я ничего не знаю, спросите у Безайса. Не лезьте руками, у вас пальцы холодные. Что? Мне до этого нет никакого дела: видите, я болен.

Тучи за окном рассеялись, и лунный свет мягко разлился по комнате. На одеяло легла тень оконной рамы. За стеной раздался осторожный бой часов. Матвеев натянул одеяло на голову, но снова высунулся.

– Вы ужас как много болтаете, – сказал он, сердито поглядывая на Жуканова. – Оставьте меня в покое! Я ничего не знаю, понимаете? Чего вы ко мне пристали? Уходите отсюда.

Жуканов сгорбился и виновато улыбнулся. Это привело Матвеева в ярость.

– Убирайтесь к черту, старый попугай, – закричал он, садясь на кровати. – Убирайтесь, или я встану и хвачу вас по башке!

Он нащупал бутылку и сжал её в руке. Жуканов встал.

– Я тоже ранен, – сказал он глухо. – В плечо и в грудь – под горлом. Я тоже ранен, заметьте это...

Матвеев почувствовал режущую боль. Тело ослабело,

подогнулось, как бумажное, и само опустилось на кровать. Бутылка, звеня, покатилась по полу. Он задыхался. Над ним наклонилась Варя, натягивая ему на плечо одеяло. Матвеев отстранил её рукой.

– Я ещё разделаюсь с вами, старый осел, – сказал он, высовывая голову и морщась от нестерпимой боли в плече.

Его томило желание крепко выругаться, но присутствие Вари мешало ему. Придерживая рукой рубашку на груди, она накрывала его одеялом и говорила что-то. Матвеев послушно повернулся на другой бок.

– Идиот, – сонно пробормотал он, закрывая глаза.

Боль медленно гасла. Слабость тихо разлилась по телу до кончиков пальцев. Варя приложила руку к его горячей голове.

– Сколько у него? – спросил кто-то.

– Вечером было сорок и шесть десятых.

– Не дать ли ему хины?

Матвеев не хотел пить хину. Чиркнули спичкой, на стене заколебались тени. Кто-то прошёл по комнате, осторожно ступая босыми ногами.

– Я не хочу пить хину, – сказал Матвеев.

Ему не ответили.

– Мама, принеси полотенце и уксус, – сказала Варя.

«Это ещё зачем?» – недовольно подумал Матвеев.

Он хотел сказать, что ему не надо ни полотенца, ни уксуса, но тотчас забыл об этом. Он заснул сразу и не слышал ничего.

Сколько прошло времени – год или неделя, – этого он не знал. Он ещё жил в призрачном и страшном мире, перед

ним проходили далёкие пережитые дни. Старые товарищи садились на кровать говорить с ним о боевых делах, и он снова переживал восторг и ужас горячих лет. В сумерках своей комнаты он слышал команду – она звучала, как призыв, и заставляла дрожать от возбуждения. Ему хотелось стать на своё место в строй; броситься вместе со всеми и кричать отчаянное слово «даёшь!».

Было рождество – весёлое морозное рождество с жареным гусем, ангелами из ваты и старой ёлкой. На кухне бушевал огонь, и Александра Васильевна холила, распространяя запах ванили и сливок. Это было её время – никто не смел с ней спорить или прикуривать на кухне. Когда запекали окорок, казалось, что в доме случилось несчастье. Она то звала помогать, то гнала всех и несколько раз принималась плакать. Окорок вышел хороший, темно-красный, его поставили в столовой и привязали к нему кокетливую бумажную манжетку.

Ёлку пришлось делать в спальне, потому что столовая была рядом с комнатой Матвеева. Несколько дней шла возни с разноцветными цепями и флагами. Безайс говорил, что всё это предрассудки, вздор и что для передового человека ёлка является таким же грубым пережитком, как каменный топор. Варя немного поколебалась, но потом сказала, что она всегда так думала. И когда вечером зажгли свечи, около ёлки были только родители и малыши: они ходили вокруг сверкающего дерева и вполголоса, чтобы не разбудить Матвеева, пели: «Как у дяди Трифона было семеро детей...»

В семье к Матвееву было особое отношение. В этот тихий дом он вошёл, как легенда, озарённый мрачной

славой отчаянного и гордого человека, не щадящего ни себя, ни других. Они никогда не видели смелых убийц, кладоискателей, знаменитых поэтов и других необыкновенных людей, идущих своим сказочным путём. Отец, Дмитрий Петрович, тридцать два года плывал по реке от Николаевска до Сретенска взад и вперёд, без всяких приключений. Ему не суждено было причаливать к незнакомым берегам, где без устали щебечут радужные птицы, растут странные цветы и чёрные люди отдают золото за осколки стекла. На выцветшей фотографии в столовой он был снят, когда впервые надел нашивки механика, – худощавый, в баках, с прямым взглядом светлых глаз. Сначала он водил зелёный с кормовым колесом пароход «Отец Сергей», возивший вверх солёную кету, дешёвый миткаль, японские веера, спички и иголки. Вниз, от Сретенска, он шёл налегке, захватывая иногда пассажиров – волосатых, обветренных забайкальцев, едущих в низовье на заработки. «Отец Сергей» принадлежал «Береговой компании Николаева и Сомова в Хабаровске» и был единственным пароходом компании. Дмитрий Петрович вступил на пароход через неделю после смерти старого капитана.

«Отец Сергей» был изумительно дряхлым судном, старым, как река, как седые амурские камыши. «Береговая компания» сама удивлялась, когда «Отец Сергей» снова возвращался из плавания в Хабаровск и, надсаживаясь, орал у пристани. Он держался на воде прямо-таки чудом, вопреки рассудку. Его старый зелёный кузов, заплатанный в десятках мест, ржавая труба и грязная, в щелях, палуба наводили на мысль о вечности. Он плывал, поразительный, как миф, старческими усилиями бороздя голубые волны громадной реки.

Восемь лет Дмитрий Петрович водил «Отца Сергия» по реке, продавая береговым сёлам кету, дробь и ситец. Дела «Береговой компании» шли неважно. Компания однажды сделала предложение Дмитрию Петровичу вступить в долю, но он отказался, – было бы безумием всаживать деньги в эту грудку ржавого железа и старого дерева. Тридцати одного года он перешёл помощником механика на «Даур» и женился.

Его заветной мечтой было получить большой пассажирский пароход. Это было бесконечной темой семейных разговоров. «Когда отец получит пассажирский», – так начинались все предположения о спокойном, твёрдом будущем. Маленькой Варе пассажирский пароход рисовался добрым, щедрым богом. Пассажирский пароход вошёл в быт, сжился с мельчайшими разветвлениями жизни. Его так долго ждали, что уже казалось невероятным, чтобы отец не получил его. С годами Дмитрий Петрович похудел ещё больше, его волосы и брови побелели. На пятом десятке лет, когда он добился уже звания старшего механика, мечта о пароходе казалась особенно близкой и осуществимой.

Варя отчётливо, до мелочей, помнила этот весенний прозрачный день, когда принесли повестку из конторы. Мама мыла окна в столовой, на дворе бестолково кричал петух. Посыльный вошёл, спугнул ребят, возившихся на пороге, и передал маме большой конверт. Папу вызывали в контору.

В походе и разговоре посыльного, в конверте с печатью, в вежливом и лаконичном письме конторы чувствовалось что-то необычайное, новое. Папа молча оделся,

поцеловал маму и ушёл, бледный и торжественный. Даже «переплётчики» затихли, чувствуя, что наступил большой день. Мама зажгла лампадку и послала Варю догнать отца, — он забыл носовой платок.

Он вернулся домой поздно, усталый, и прошёл в столовую, не сняв фуражки с седой головы. Его назначили на берег ремонтным смотрителем, — покойная работа для стариков. О пассажирском пароходе надо было забыть, но трудно забывать такие вещи, хранимые десятками лет. В этот день не ужинали, не смеялись, даже не разговаривали, точно умер в семье близкий человек.

Для Матвеева была отведена угловая комната, где обычно гостей поили чаем. Он лежал полусонный и, ничего не сознавая, смотрел прямо перед собой. Он выздоравливал медленно, сознание действительности возвращалось к нему кусками — иногда он отчётливо видел Безайса, Варю, каких-то незнакомых людей и разговаривал с ними. Он знал, что ему отрезали ногу, но не успел ни удивиться, ни испугаться — снова наступил бред, и комната наполнилась говором, шелестом листьев и звяканьем копыт по странным, неезженным дорогам. Иногда было больно, но он умел болеть и глотать лекарства молча и быстро.

Не то это был бред, не то на самом деле произошёл такой случай, — этого он не помнил, — но однажды он увидел Безайса, сидевшего у него на постели. Безайс глядел ему прямо в глаза и долго молчал, потом сказал:

— Тебе отрезали ногу, старина, ты знаешь?

Матвеев думал, закрыв глаза, потом открыл их. Прямо перед ним висел в рамке похвальный лист, выданный ученику Волкову Дмитрию за отличные успехи и пример-

ное поведение. Недалеко от похвального листа к стене был приколот рисунок, изображавший огромную бабочку с толстыми усами и лапами, сидевшую на небольшом, унылого вида цветке. Бабочка смахивала на паука, и Матвеев с трудом привыкал к ней. Его особенно сердили бессмысленные глаза бабочки и неестественно толстые лапы.

– Знаю, – сказал он. – Нельзя ли убрать отсюда эту мазню?

Безайс встал и снял рисунок, потом снова сел на кровать.

– Я знаю, – повторил Матвеев, что-то вспоминая. – Это для меня костыли там?

А потом он вдруг увидел, что Безайса нет, а на его месте сидит военком 23-й бригады, товарищ Брагин, с которым он прошёл насквозь Область Войска Донского и Украину, и Кавказ – в Батуме они купались в море и ели золотистые апельсины. Такая же была борода кустами и жестоко потрепанный френч. Голубоглазая гипсовая собака спрыгнула с комода, подошла, стуча неживыми ногами, и стала нюхать рыжие брагинские сапоги.

Но иногда по ночам он вдруг просыпался с ясной головой, лежал, прислушиваясь к тихим ночным шорохам, и думал, пока не засыпал снова. Многого теперь было кончено для него – и лошади и футбол, – уже не бегать ему больше, обгоняя других. Все это было уничтожено шальным выстрелом на большой дороге около чужого города. Ему было жаль своё сильное, хорошо сложенное тело, и он с медленной тоской вспоминал ясный июльский день, когда они побили седельскую команду.

Но ко всему этому примешивалось небольшое тще-

славию, на которое всегда имеет право человек, сделавший больше других. Это была честная солдатская рана. В конце концов, не каждый может сказать о себе то же самое.

Понемногу им овладела одна мысль – встать с постели. Иногда ему даже снилось, как он надевает на правую ногу ботинок, берет костыли и необычайно быстро ходит по комнате. Ощущение во сне было до того реальное, что, просыпаясь, он чувствовал под мышками лёгкое давление от костылей. Но он знал, что вставать пока ещё нельзя, и потому терпеливо ждал, когда придёт его время. Тут, в постели, он приобрёл внимательность к мелочам. Он пересчитал, сколько прутьев в спинке кровати и половиц в комнате, следил, как на окне нарастают новые узоры льда. Сначала он замечал вещи – они неподвижно стояли на местах, их было легче запоминать. Людей он стал замечать потом.

Это было утром, в пятницу. Он чувствовал сильный голод. За окном густыми хлопьями падал снег. Голова не болела, но во всем теле были слабость и лень. Он оглянулся и увидел, что у дверей стоит маленький стриженный мальчик в брюках на помочах и с любопытством смотрит на него. Заметив, что Матвеев проснулся, он сконфузился и начал царапать ногтем пятно на двери.

В ноге был такой зуд, что Матвееву хотелось снять повязку. Он с трудом подавил в себе это желание.

Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась ещё одна стриженная голова, но тотчас спряталась.

– Молодой человек, – сказал Матвеев, удивляясь, что его голос звучит так слабо, – вы принесли бы мне чего-нибудь поесть. Какую-нибудь котлету или булку.

Мальчик сконфузился ещё больше. Он, видимо, не ждал такого внимания к себе, и это угнетало его.

– Котлет сегодня нет, – раздался за дверью несмелый голос. – А булки мама заперла в буфет.

– А что есть?

– Есть пирог с рисом и яйцами.

– Давайте.

Оба мальчика убежали. Через несколько минут они вернулись, красные, тяжело дыша, и, оспаривая друг у друга честь накормить Матвеева, принесли ему большой кусок пирога. Они робели перед ним, но костыли делали Матвеева неотразимым, и они не нашли в себе сил оторваться от этого зрелища. Они были почти одного роста, одинаково одеты и так походили друг на друга, что Матвеев путал бы их, если бы один не был отмечен большой красной царапиной через подбородок и клетчатой заплатой на брюках. Они очень походили на Варю круглыми лицами и большими серыми глазами. С трогательным вниманием следили они за каждым движением Матвеева, и он чувствовал себя ответственным за выражение лица и каждый свой жест. Вошёл Безайс. Он поймал обоих мальчиков за уши и вывел их из комнаты. Они покорно последовали за ним.

– У меня с ними свои счёты, – сказал Безайс, раздеваясь. – Вчера я поймал их за тем, что они лежали на полу и выкалывали глаза семейным фотографиям. А это что такое?

– Это пирог с рисом и яйцами.

– Их придётся всё-таки высечь, этих мальчишек. Папаша говорит, что он поседел из-за них, и я начинаю ему верить. Ты не смотри, что у них такой скромный вид, – они

свиристывают в доме, как чума. Сегодня они успели уже высадить окно на кухне, и я заклеивал его газетой. А тебе полагается сегодня манная каша и слабый чай с молоком и сухарями. Пирогов тебе есть нельзя. Пироги сейчас для тебя опаснее яда, – это все равно, что есть битое стекло. Брось сейчас же, слышишь?

Но Матвеев знал его привычку преувеличивать и спокойно кончил свой пирог.

– Ну что ж, я умываю руки. Ты знаешь, что ты раздвигал? Ты выл и царапался. А помнишь, как ты опрокинул мне на брюки полный стакан отчаянно горячего чая? Я зашипел и теперь не могу спокойно глядеть на чай. Тогда я промолчал, но теперь я обязан сказать, что это было подлостью.

Матвеев облизнул губы.

– Ладно, давай манную кашу. Я очень хочу есть. Кто это такая – Александра Васильевна?

– Это её мать. Очень толстая и добрая женщина. Между прочим, ты ей страшно понравился. Она говорит, что ты очень похож на её двоюродного брата, который был умён и замечательно красив. Но ты, впрочем, не очень-то задавайся – ты похож на него только глазами и подбородком.

– У неё есть родинка на щеке?

– Ты разве её видел? А я знаешь на кого похож?

– Безайс, я есть хочу.

Безайс вышел и долго не возвращался. За дверями слышались шаги и отрывистый разговор. Матвеев начал уже терять терпение, когда вошла Варя, неся поднос с дымящимися тарелками и стаканами.

– Доброе утро! – сказала она, ставя поднос на табурет

около кровати. – Это Котька принёс тебе пирог?

– Их было тут двое.

– Ты сумасшедший. Пирог сейчас слишком тяжёл для тебя.

– А это что такое?

– А это манная каша.

Варя села около кровати, придвинула стул и посыпала сахаром дымящуюся тарелку манной каши. В дороге Варя почти не снимала пальто и платка, и теперь он в первый раз видел её в домашней одежде. Она была в сером клетчатом платье и белом переднике. Волосы были гладко зачёсаны, и сбоку около левого уха повязан кокетливый бантик, который ей очень шёл. Она выглядела очень миловидной и, казалось, сама догадывалась об этом.

Он был очень слаб, его все время клонило ко сну. В разговоре он часто забывал начало фразы и подолгу вспоминал, о чём шла речь. Одна вещь очень удивляла его. Перед тем как его ранили, в левом ботинке сквозь подошву вылез гвоздь, и Матвеев оцарапал о него большой палец. Теперь, лёжа в кровати, он чувствовал, как болит на отрезанной ноге этот палец. Он не понимал, как это могло быть, но ощущение было совершенно ясное.

Родители Вари пришли на другой день. Матвеев видел их раньше, но не разговаривал ещё с ними, занятый своими, одному ему понятными мыслями. Мать Вари была полная, невысокого роста женщина с обильными родинками на круглом начинающем стареть лице. Она была в том возрасте, когда появляются первые морщины, блекнут волосы и платье не сходится на спине. Она вошла, вытирая руки о фартук, поздоровалась с Матвеевым и села около кровати.

Матвеев подумал, что, встретив её на улице, он сразу догадался бы, что она мать Вари, – до такой степени они подходили друг на друга.

Через несколько минут пришёл отец. Он пожал Матвееву руку, коротко представился: «Дмитрий Петрович Волков», – и сел на стул, прямой и смущённый.

Родители сидели у Матвеева долго. Первое время они не знали, о чём говорить, пока не спросили, как здоровье Матвеева. С этой минуты разговор попал в верное русло и потёк непринуждённо. Отец и мать оживились. Разговор о здоровье и болезнях был знакомой, испытанной темой, которая никогда не даёт осечки. Они вспоминали десятки историй о ранах, простудах и вывихах. Все это клонилось к тому, что хотя его, Матвеева, рана и серьёзна, но что бывает и гораздо хуже, и надо радоваться, что пуля не попала в спину или, чего избави бог, в голову. Все сходились на том, что в этом случае Матвеев умер бы. Александра Васильевна говорила о болезнях со знанием и опытом женщины, воспитавшей троих детей. Дмитрий Петрович тоже знал толк в этих вещах. Сначала Матвееву было скучно, но потом он увлёкся сам. Его распирало желание рассказать случай с мальчиком, который засунул в ухо бумажный шарик, – он выждал время и вставил в разговор эту историю.

ОСТАВАЙСЯ ЗДЕСЬ

– Дала бы ты мне лучше чего-нибудь мясного. Манная каша мне опротивела, я зверею от неё.

Матвеев лежал, опершись о локоть, и капризно мешал ложкой кашу.

– Ведь нельзя, Матвеев, – сказала Варя. – Ты же не маленький.

– Конечно, не маленький. А ты кормишь меня кашей. Хоть небольшой ломтик мяса, а? Что от него сделается?

– Нет, нельзя. Если б даже я согласилась, Безайс всё равно не позволит.

Она помогла ему подняться и положила подушки за спину. Матвееву не понравилось, что она так ухаживает за ним. Ему не хотелось казаться беспомощным.

– Пусти, – сказал он с досадой. – Тебе, может быть, кажется, что я умираю?

– Вовсе нет, – ответила она растерянно.

Матвеев взял тарелку и начал медленно есть.

– Что слышно? Где сейчас фронт?

– Я ничего не знаю.

– Но этого быть не может.

– Честное слово, не знаю!

– А я знаю, – сказал Матвеев, беря хлеб. – Это все Безайсовы штуки. Он запретил говорить об этом? О, я знаю его. Если он вздумает что-нибудь, то скорее даст себя убить, чем откажется от своих глупостей. Он, наверное, расхаживает сейчас по дому, рассказывает, как ему на фронте вырезали опухоль и кричит на всех.

– Это правда, – засмеялась Варя.

– А он делает что-нибудь? – сказал Матвеев, помолчав.

– Не знаю. Он ничего мне не говорит.

– Он ходит куда-нибудь?

– Его целыми днями нет дома. А что он должен делать?

– Надо подумать об отъезде. Не целый же год мы будем сидеть здесь.

- А разве вы не останетесь, пока придут красные?
- Конечно нет. Кто их знает, когда они придут.
- А твоя нога?
- Нога заживёт.

Дверь неслышно приоткрылась. Сначала осторожно показалась нога в стоптанном башмаке. Вслед за тем появилась круглая голова с оцарапанным подбородком. Котя, младший из мальчиков, несмело осмотрелся и устоял на Матвеева. Он внимательно оглядел кровать, табурет, тарелки и стаканы. Несколько минут он изучал Варю, а затем перешёл к повязке Матвеева. В его широко раскрытых глазах отражалось преклонение и любопытство. Матвеев сделал сердитое лицо, но мальчик не уходил.

– Но ты не можешь так рисковать, – сказала Варя, тебе оборку передника. – Куда вы поедете, не зная дороги и не имея документов? Вы попадёте при первом же случае. Ты не имеешь права ехать на верную смерть.

– Так уже сразу и смерть!

– Ты мне ни в чём, совершенно ни в чём не веришь, – сказала она с каким-то новым оттенком в голосе.

– Да ничего подобного!

– Я не понимаю: зачем так рисковать? Ведь гораздо лучше просто подождать, когда придут красные. Много будет пользы, если вас убьют?

– Я обо всём подумал, – сказал Матвеев, ставя пустую тарелку и вытирая губы. – Пожалуйста, не беспокойся. Я знаю, что делаю.

– Как хочешь. Это не моё дело, да?

– Я этого не говорил.

Она отвернулась и заметила стоявшего у двери мальчика.

– Ты здесь? Что тебе надо?

Мальчик перевёл глаза на Варю, подумал и стал шаркать ногой по полу.

– Ну, иди сюда, не бойся. Скажи дяде «здравствуйте». Иди, глупыш, он не кусается. Где ты оцарапался?

Она порывисто встала, подошла к мальчику и опустилась на колени.

– Бедный малыш, тебе попало от папы? Правда, Матвеев, хорошенький мальчуган? Ты, я вижу, даже не умывался сегодня. Смотри, какие лапки грязные, – бяка! Но ты больше не приноси ему пирогов с рисом, – он не слушается твоей сестры. Понимаешь?

Она нервно рассмеялась.

– Что же ты молчишь? Дядя подумает, что ты немой. Где мама сейчас?

Мальчик смотрел вбок, наклонив голову, и сконфуженно молчал. Варя нахмурилась.

– Ну, не упрямься, – сказала она резко. – У тебя нет языка, маленький бука? Где мама? На кухне, да?

Он поднял голову и улыбнулся, не понимая, чего она хочет от него. Варя покраснела, схватила его за плечо и вытолкала за дверь. Обернувшись, она заметила на себе скушающий взгляд Матвеева, и её возбуждение разом упало. Она подошла, смущённая, к его кровати и села.

– Ты меня считаешь душой сейчас? – спросила она, нерешительно поднимая на него глаза. – Только скажи прямо, как ты думаешь, не скрывай.

– С чего ты взяла? Разумеется нет.

Матвеев чувствовал себя тягостно.

– Ты не думаешь, что я мещанка и что у меня нет интересов?

Он вздохнул.

– Я не понимаю, зачем ты это спрашиваешь. Конечно нет.

Варя встала.

– А если я попрошу тебя об одной вещи? – сказала она.

– В этом нет ничего особенного, честное слово.

– О чем?

– Чтобы ты остался здесь, пока не придут красные. А Безайс может поехать.

– Какая ты странная, – сказал Матвеев, криво усмехаясь. – Ведь надо же мне ехать. Мы и так потеряли много времени.

– Я не знаю. Но если я тебя попрошу, понимаешь? Очень попрошу?

– Ну, хорошо, – ответил Матвеев, опуская глаза. – Я как-нибудь попробую.

Они помолчали, не глядя друг на друга. Варя собрала тарелки и вышла из комнаты. В дверях она столкнулась с Безайсом.

Безайс был в приподнятом настроении. У него был вид человека, с аппетитом позавтракавшего, довольного собой и миром.

– Слушай, старина, – сказал он возбуждённо. – Как только ты научишься жевать твёрдую пищу, я дам тебе попробовать здешних битков с луком. Она делает их отлично. Я почти отвык от горячего мяса и сейчас ел будто впервые. Нам очень повезло, что мы наткнулись на Варю. Я прощаю Майбе, что он выбросил нас из вагона. Что я делал бы с тобой, если бы не это тихое семейство?

Матвеев лёг и укрылся одеялом.

– Очень жаль, что тебе здесь так понравилось. Мы должны уехать как можно скорее. Ты предпринимаешь что-нибудь?

– Куда ехать?

– Дальше, в Приморье. Это для тебя новость?

– А твоя нога?

– Мне это надоело. Что, я умираю, что ли? Скоро я вполне смогу ехать. И, пожалуйста, держи язык за зубами. Не говори Вале ничего об отъезде. Она, конечно, хорошая девица, но лучше об этом помалкивать. Если она спросит, когда мы едем, то говори, что когда придут красные.

– Это все? – спросил Безайс.

– Все.

– А теперь послушай меня, – сказал Безайс торжественно. – Ровно неделю ты не выйдешь из этой комнаты. Сначала ты будешь лежать и есть манную кашу. Дня через три ты побалуешься сухарями. А если не будет лихорадки, мы устроим тебе оргию из куриного бульона, рисовой каши и слабого чая. Не падай духом – если тебе очень повезёт, я позволю тебе пройтись немного по двору.

– Безайс, не зазнавайся! Сейчас я встану и вышибу из тебя дух.

– Меня изумляет забавная наглость этого негодяя, – сказал Безайс, показывая на Матвеева и как бы обращаясь к публике. – Ты встанешь? А ты знаешь, сколько вытекло из тебя крови? У тебя закружится голова при первых шагах. Надо лежать и лежать. Я знаю толк в этих вещах, мне самому пришлось их попробовать.

– Только не повторяй мне истории о твоей опухоли, – сказал Матвеев, смеясь и хмурясь. – У меня хватит силы запустить в тебя ботинком.

– Я хочу на это посмотреть, – ответил Безайс.

КАФЕ

Через несколько дней вечером Безайс зашёл в комнату Матвеева и остановился на пороге. Матвеев, совершенно одетый, стоял посреди комнаты и, нерешительно улыбаясь, медленно двигался к окну. В первый раз Безайс увидел его на костылях и был поражён этим.

Матвеев поднял голову.

– Только молчи, – сказал он. – И не подходи близко. Знаю, знаю. Ты мне надоел.

– Кто же помог тебе одеться?

– Сам. От начала до конца. Это надо уметь. Ботинок был под кроватью в самом углу, я достал его костылём. Самое трудное были брюки.

Он сделал ещё шаг и остановился, с любопытством глядя на костыли.

– Они стучат страшно, как товарный поезд. Но ничего, я привыкаю уже. Смотри.

Он дошёл до окна и вернулся обратно.

– Видел? – сказал он. – Ну, что ты мне скажешь? Безайс, будем говорить серьёзно: дальше так идти не может.

– Что?

– Надо что-то делать. Мне надоело тут до смерти. Ещё неделя – и я буду ходить свободно. А ты ничего не делаешь, прямо-таки пальцем не шевелишь. Так нельзя, Безайс.

– Ну, что же мне делать?

– Ехать дальше, – вот что. У меня чешутся руки. Ты что-то говорил о романтике, вот теперь она и начинается.

Ты выяснишь, можно ли ехать по железной дороге или нельзя. Если нет, поедem на лошадях. Там, наверное, думают, что нас убили или что мы испугались. Это я предлагаю тебе категорически, и чем меньше ты будешь рассуждать, тем лучше.

– Ты пойми, что это невозможно.

– Оставь. Мы обязаны доехать и начать работу.

– Дурак, да ведь это место черт знает где – в тайге. Туда и здоровым людям трудно добраться, а как же ты?

Матвеев подошёл к кровати и сел.

– Это неприятный разговор, Безайс, но обойти его нельзя. Я замечаю за тобой некрасивые вещи. Тебе не хочется уезжать отсюда. Из-за Вари, правда? Как идёт твоё ухаживание? Тебе, кажется, повезло?

Безайс опустил голову.

– Повезло, – сказал он, улыбаясь. – Страшно повезло.

– И далеко это у вас зашло?

– Так далеко, – ответил Безайс с расстановкой, – что дальше некуда.

– Я заметил. Она теперь так кокетливо одевается, что это бросается в глаза. Недавно она пришла ко мне напудренная. Я спросил, для кого она напудрилась, – и она страшно смутилась. Я рад за тебя, но нельзя же из-за пухленькой дурочки забывать партийную работу. Почему ты по вечерам никогда ко мне не приходишь? С ней небось обнимаешься?

– Может быть, с ней, – сказал Безайс, страдая от этой вынужденной лжи.

Матвеев встал и снова прошёлся по комнате. Его занимало новое ощущение.

– Это немного смешно, – сказал он. – Как на ходулях. Ты куда?

– Мне надо пойти сейчас часа на два.

– Ты подумай всё-таки об этом. Все хорошо в своё время. Некогда сейчас волочиться за бабами.

– Я подумаю, – сказал Безайс, открывая дверь.

Он вышел на улицу. Плавал лёгкий, налитанный лунным светом туман. Из аптеки через большие цветные шары на дорогу падали малиновые, синие и зелёные полосы света. Около фонарей воздух колебался матовыми волнами. Безайс легко поддавался впечатлениям, и теперь эти залитые лунным молоком улицы чужого города будили в нём странное чувство. Ему казалось, что он точно со стороны видит себя самого, идущего неизвестно на что.

– Жизнь собачья, – прошептал он.

Матвеев выматывал из него душу. За эту неделю Безайс чувствовал себя так, точно пережил большую жизнь. Некоторые вещи легче делать, чем говорить о них. Он ругал себя за это, но у него не хватало духа поговорить с Матвеевым начистоту.

Он остановился перед дверью подвала. Здесь было кафе «Венеция»; над входом висела вывеска, на которой были нарисованы море, солнце, горы и деревья. Снизу доносился грохот музыки. Любопытные, нагибаясь, заглядывали в мокрые окна. Безайс спустился по избитым ступенькам, открыл запотевшую дверь и вошёл.

В обычное время «Венеция» возбуждала бы в нём неприязнь, но теперь каждая мелочь этого кабака доставляла ему острое наслаждение. Это зависит от того, как глядеть на вещи. Для Безайса «Венеция» была первой в жизни

конспиративной явкой. С ней у него связывались все представления о настоящей подпольной работе, и это облагораживало «Венецию», – даже пиво, которое Безайс ненавидел и раньше не мог пить вовсе, теперь казалось ему не таким уж плохим.

Он подошёл к крайнему столику в углу и заказал себе пару пива. Народу было немного. У стены, выкрашенной масляной краской, стояла фисгармония, за которой сидел тапёр с длинными волосами, в блузе. Он играл добросовестно, изо всех сил, и Безайс уставал сам, глядя на него. Он бил по клавишам, и жилы вздувались у него на шее. По углам стояли волосатые пальмы. За столиком посреди комнаты сидели тесно шесть человек и пили пиво. Они были пьяны, но ещё больше хотели казаться пьяными, орали что-то, стучали стаканами и много курили. За другим столом сидела проститутка с бесцветным лицом, в платье с короткими рукавами и в валенках. Компания ухарски переглядывалась с ней, но пригласить не решалась.

Настоящий пьяный сидел за столом около стойки. Он был готов – его можно было убить, и он не обратил бы на это внимания. Только когда женщина встала и, шаркая валенками, прошла мимо него, он вскинул голову и оглушительно крикнул:

– Цыпочка!

– Дурак, – сказала она, не оборачиваясь.

Над дверью звякнул колокольчик. Вошёл пожилой человек в мохнатой шапке, огляделся и, увидев Безайса, подсел к его столику.

– Пива, – сказал он половому.

У него было худое, слегка косоглазое лицо. Это был

товарищ Чужой. Безайсу он нравился, нравился до того, что одно время Безайс сам начал машинально косить глазами. Чужой казался ему изумительным человеком, умным и фанатичным. Такими он представлял себе народовольцев. Он связался с ним через доктора. Доктор стоял от всего в стороне, но людей знал, ему доверяли, иногда прятали у него литературу.

– Я вам дам адрес одного вашего, – говорил он Безайсу, желчно улыбаясь. – Тоже такой же – заладил о пролетариате, о партии и больше не знает ничего. У вас, у большевиков, не хватает остроумия – вы все как один.

Тапёр оглушительно ударил по клавишам, и с пальм посыпалась пыль. Чужой, не глядя на Безайса, спросил:

– Ну как?

– Все вышли. Нужно ещё.

– Это кто в Гречихе расклеивал?

– Симоненко.

– Мало. Пошли туда двоих-троих. По набережной можно не расклеивать, всё равно там никто не видит. Осипа арестовали.

– Ну-у?

– Вот и ну. За тобой никто не ходит?

– Не видать.

– Осторожно надо. Квартира у тебя надёжная?

– Чужой, я хотел поговорить с тобой об этом, – сказал Безайс, ещё более понижая голос. – Просто терпенья никакого нет. Ты знаешь, – этот парень, который приехал со мной, он уже начинает ходить. Я сейчас отвиливаю от него, и он не знает, где я бываю. Но в конце концов он узнает и тогда уж дома не усидит. Скучно сидеть так, сложа руки. Я

хотел тебя просить, поговори с Николой, может быть, можно у меня на квартире совещание актива провести. За хозяев я ручаюсь, они не выболтают.

– Зачем это?

– Понимаешь, чтобы он немного встряхнулся. Парень тоскует сейчас. Он все время был на работе, – ему очень трудно ничего не делать. Сейчас требует, чтобы я ехал с ним дальше, не понимает, что ему нельзя. Пусть он побудет на совещании, заинтересуется местными делами. Мне кажется, тогда он спокойнее будет сидеть дома и лечиться. А квартира близко, и там совершенно безопасно. Поговори с Николой.

– Ну, Николу нелегко будет уломать.

– Почему?

– Ни почему. Скажет – нельзя, и все.

– Поговори всё-таки.

– Я поговорю.

Пьяный беспомощно пошевелил ногой и ещё ниже нагнулся над кружкой. За столом шумно расплачивалась компания. Чужой глазами указал Безайсу на них.

– Выходи вместе с ними, так незаметней. Я выйду позже. Подожди меня около часового магазина, если увидишь, что никто не следит.

Безайс кивнул головой. Начиналось самое необычайное, самое лучшее, что было у него в жизни. По вечерам он ходил с Чужим на работу – мыл паспорта, расклеивал воззвания, таскал какие-то вещи и оружие. Поймать могли каждую минуту – поймать и убить. Это придавало его жизни какой-то новый вкус.

Он встал, замешался в толпу и пошёл к двери. Они

толкались и грузно наступали на ноги. На улице Безайс огляделся, – не было никого. Тогда он отошёл к часовой лавке, остановился под большими жестяными часами, скрипевшими на ветру, и стал ждать Чужого.

НЕБОЛЬШАЯ ПРОСЬБА

С того времени как Дмитрий Петрович перешёл на береговую службу, воскресные дни сделались для него просто наказанием. Он не знал, что ему делать со свободным временем. По дому он не нёс никаких обязанностей. Александра Васильевна и Варя вели все хозяйство, и он не знал даже, где что лежит. Такой порядок установился с того времени, когда он плавал по реке и по неделям не бывал дома. Он привык к холодным, росистым вахтам над дымящейся в утреннем полумраке рекой, к шуму воды, кипящей под колесом, к грохоту якорных цепей. С переходом на берег жизнь опустела. Его голос, привыкший к громкой команде, казался странным и незнакомым в маленькой гостиной, оклеенной розовыми обоями. Он слонялся по комнатам, не зная, куда девать себя. Ему поручали вбить гвоздь на вешалке или поставить мышеловку в чулане, потому что мать боялась крыс.

Иногда он решал учить мальчиков математике, и «переплётчики» чувствовали себя, как грешники в страшный Судный день.

– Ну-с, приступим, – говорил папа, и это звучало, как труба архангела.

Они садились, покорные, грустные, с тоской глядя в клетчатые тетради, и погружались в четыре действия арифметики.

Но по воскресеньям, когда не надо было идти на работу, становилось совсем плохо. Сажать мальчиков за арифметику в праздник нельзя – эта наука придумана для будней. Он шёл на кухню, смотрел, как Варя и Александра Васильевна месят тесто или чистят картофель, говорил, что надо замазать окна, или рассказывал сон, который приснился в эту ночь, и брёл дальше. Он хватался за всякий предлог – придвигал диван к стене или подкладывал щепку под ножку стола, чтобы он не качался. Когда все было исчерпано и безделье надвигалось на него, он шёл к кошке и заводил с ней нескончаемый разговор.

– Ну, что ты, кошка, а? – говорил он, когда она лениво и небрежно тёрлась об его ногу. – Ну, чего тебе надо, а? Ты что же это мышей не ловишь? Кошка, кошка... Ну, чего тебе? Колбасы небось захотелось? – Так он разговаривал с ней, пока утомлённая кошка не уходила на кухню.

Но с того времени, как в доме появились Матвеев и Безайс, его дни наполнились новым содержанием. Одно то, что у него скрываются большевики, опасные люди, которых могут поймать, доставило ему много дела. Надо было ходить в аптеку, приносить и уносить самовар и драть мальчиков за уши, чтобы они не лезли к Матвееву. Сам Матвеев возбуждал в нём жгучее любопытство. Он расспрашивал Матвеева о его жизни и никак не хотел верить, что он такой же, как все.

Когда Матвеев начал поправляться, Дмитрий Петрович заявил, что он будет занимать его и не даст ему скучать. Матвеев сначала вежливо слушал его длинные истории и ветхие шутки, а потом начал уставать. Тогда он выучился лежать с внимательным выражением на лице, думая о

своих делах, и время от времени в нужных местах произносить ничего не значащие слова:

– Ишь ты... Так, так...

Но иногда старик заседал на него всерьёз, и с ним ничего нельзя было поделаться. За тридцать лет плавания в нём скопилось много всяких воспоминаний, и они искали выхода. Матвеев был для него прямо-таки находкой.

Иногда заходила Александра Васильевна, приносила горячие пышки со сметаной, ватрушки, сладкие пирожки. Матвееву она смутно нравилась, но он почти не замечал её. Ему не хотелось думать ни о Варе, ни о её родителях; у него были свои мысли, которые были больше всех этих пустяков.

В это воскресенье в его комнате вымыли пол, принесли длинный фикус в обёрнутом цветной бумагой горшке. Матвеев достал себе глупейшую книгу «Лорд-каторжник» и скучал над её истерзанными листами. Книге было лет пятьдесят, от неё пахло мышами и плесенью. Дмитрий Петрович пришёл после обеда улыбающийся, объятый нетерпением. Матвеев, глядя на его бесхитростное лицо, покорно закрыл книгу и принял болтовню молча, как мужчина. Потом пришёл Безайс и выручил его.

– Он, конечно, славный старик, – сказал Матвеев, – но я от него устал. Это очень тяжёлая штука: слушать избитый, знакомый с детства анекдот и делать вид, что тебе очень интересно и смешно. «А вы знаете историю, как барыня нанимала лакея?» Он подмигивает и стонет от хохота, и у меня не хватает духа сказать ему, что я слышал об этой барыне лет десять назад и что теперь она мне немного надоела. У меня есть к тебе одна просьба, Безайс, – неожиданно закончил он.

– Какая?

– О, это пустяки, – сказал он, закладывая руки за голову.
– Ничего особенного. Ты помнишь, я рассказывал тебе эту историю.

Безайс посмотрел на него вопросительно.

– О той?

– Да, о той.

– Так, – сказал Безайс. – Ну, и что же?

Матвеев медлил. Ему трудно было начать.

Он повернулся на спину и, глядя в потолок, сказал, что страсти, любовь, женщины – все это только мешает и стесняет человека, когда он занят борьбой или работой. Эти женщины! Они вертятся и болтают и путают голову.

Он помнит один случай, как одного члена губкома высадили из партии по бабьему делу. Это было в восемнадцатом... нет, не в восемнадцатом, а в девятнадцатом году. А фамилия его была Тёркин. А как была её фамилия – он забыл. Зяблова, кажется.

Но, впрочем, фамилия здесь ни при чем.

Он хочет только сказать, что в наше время женщины и разная там любовная чепуха – поцелуи, объятия, записки и всякое тому подобное – сбивают человека с толку. Когда работник влюблён, его мысли принимают другое направление. Надо ехать на фронт, а ему не хочется. Посылают его на партийную работу в другую губернию, а ему жалко оставлять свою бабу. Потом от любви бывает ревность, а это уже чёрт знает что такое.

Безайс слушал что-то очень уж внимательно, и это смущало Матвеева. «Что ж это я несу?» – подумал он, но остановиться или свернуть разговор на другую тему уже было нельзя.

Так вот. Но, с другой стороны, разные бывают женщины. Женщина может быть другом, товарищем, она не связывает мужчину и не мешает его работе. Даже наоборот. Эта самая... Лиза Воронцова...

Он снова запнулся, удивлённый одной мыслью. «Я как будто оправдываюсь перед Безайсом в том, что влюбился в Лизу, – подумал он. – Точно я совершил какой-то неблаговидный поступок. И Безайс слушает, как следователь».

– Ну, – сказал Безайс. – Дальше-то что же?

– Дальше ничего, – сердито ответил Матвеев, стыдясь того, что он наговорил. – Мне очень скучно здесь лежать. Хотелось бы её повидать всё-таки.

Безайс встал, угрюмый и задумчивый.

– Вон куда ты гнёшь! – сказал он. – Нет, об этом лучше не будем и говорить. Я тебя на улицу не пущу. Да ты и сам не дойдёшь.

Матвеев сел на кровати. Он немного нервничал.

– Я знаю. До сих пор я не заговаривал о ней. Мне хотелось стать на ноги и пойти к ней самому. Но теперь я вижу, что это долгая музыка. А мне очень хочется увидеть её, понимаешь? Очень.

– Любовь зла, – плоско пошутил Безайс.

– Я хочу, чтобы ты или Варя зашли к ней и сказали, что я здесь, – только и всего.

Безайс рассмеялся.

– Варя? – воскликнул он. – Чтобы она пошла к ней?

– Ну, пойди ты. А Варя почему не может?

– Потому... потому... – ответил Безайс, потирая лоб, – потому что ты осел.

НЕ НАДО ВОЛНОВАТЬСЯ

Он обещал Матвееву, что пойдёт утром, после чая. Но, напившись чаю, Безайс начал оттягивать уход и выдумывать предлоги, которые задерживали его дома. После чая надо покурить, а он не любит курить на улице. Потом он помогал искать веник. Когда веник был найден, Безайс начал подумывать, не наколоть ли ему дров, но Александра Васильевна заявила, что дров ей не надо. Тогда он со стеснённым сердцем оделся, повертелся несколько минут у Матвеева и вышел на улицу.

Его пугало это поручение. С некоторого времени женщины начали возбуждать в нём острое любопытство и непонятную робость. Все, что выходило за пределы обычного разговора, внушало ему страх – настоящий, позорный, мучительный страх, которого он стыдился сам, но от которого не мог отделаться. Особенно он боялся сцены. А в этом случае, казалось ему, без сцены не обойтись.

Большое красное солнце стояло в туманном воздухе. Он шёл по обрывистому берегу реки, машинально насвистывая. «Весёленькая история», – вертелось в голове.

Идти было далеко. Низкие, зарытые в снег дома предместий остались позади. Он спустился по крутой лестнице вниз, перешёл через овраг и повернул в улицу. Было ещё рано, и прохожие встречались редко. Кое-где счищали с тротуаров выпавший за ночь снег. Безайс вышел на гору, и Хабаровск встал перед ним.

Далеко за горизонт уходила ровная белая гладь реки. Слева виднелся бульвар, над которым высился чей-то памятник. Деревья, покрытые инеем, стояли неподвижно, как белые облака.

Безайс постоял, разглядывая город, потом вздохнул и стал спускаться вниз. На перекрёстке он увидел голенастый поджарый пулемёт и около него несколько солдат в серо-зелёных шинелях с измятыми погонами. Они грызли кедровые орехи и переговаривались. Безайс свернул в переулок, но там стоял целый обоз. Военные двуколки тянулись непрерывной вереницей. От лошадей шёл пар, на дороге валялись клочки сена. Около походной кухни стояла очередь, и солдаты несли дымящиеся котелки. Он прошёл мимо, заставляя себя не ускорять шагов. Теперь он относился к белым спокойно. Их дело было кончено. Что они значили здесь, у края земли, когда вся страна была в других руках? Безайс шёл мимо них, как хозяин.

Он вышел на длинную пустую улицу и остановился перед каменным домом с мезонином. Во дворе дряхлая собака обнюхала его ноги и пошла прочь. Он прошёл через веранду с выбитыми стёклами и постучал. Неряшливо одетая женщина впустила его в полутёмный коридор, где резко пахло стиранным бельём. Она смотрела на него испуганно и выжидающе.

— Здесь живёт Елизавета Федоровна Воронцова? — спросил Безайс. В нем внезапно вспыхнула надежда, что её нет дома.

— Здесь, — ответила она, напряжённо глядя на него.

— Мне надо её видеть.

Она ушла, но тотчас вернулась.

— Может быть, вам Катерина Павловна нужна? — спросила она.

— Нет, — ответил он. — Мне нужна Елизавета Федоровна. Она ввела его в небольшую комнату, выходящую ок-

нами в сад. У Безайса началось сердцебиение, и он жестоко ругал себя за такую подлую трусость. Это была её комната, все было строго и просто, точно здесь жил мужчина. У окна стоял небольшой, закапанный чернилами стол, рядом – узкая железная кровать, покрытая стёганым одеялом. Особенно поразил Безайса беспорядок и разбросанные на полу окурки. На столе стояла лампа с обгоревшим бумажным абажуром и валялись растрёпанные книги. «Аналитическая геометрия», – прочёл он на раскрытой странице. С полки скалил зубы медный китайский божок.

Позади скрипнула дверь. Безайс вобрал голову в плечи и медленно повернулся. Перед ним стояла Лиза.

Безайс думал, что она очень красива, и теперь был немного удивлён. Это была невысокая смуглая девушка, черноволосая, с живыми глазами. Она была хорошенькая, но Безайс встречал многих лучше её.

Она остановилась в дверях и вопросительно смотрела на Безайса.

– Здравствуйте, – сказала она.

Матвеев сказал правду – глаза у неё действительно были очень красивые.

Безайс порывисто встал.

– Здравствуйте. Я к вам по делу. Ваш... это самое... знакомый... вы его, конечно, помните...

Она подошла к нему, слегка щуря глаза.

– Простите, как ваша фамилия?

– Это пустяки. А впрочем, моя фамилия Безайс.

Ему хотелось скорей свалить с себя это дело, прибежать домой и валяться в носках на кровати, не думая ни о чём.

– Он послал меня и очень извиняется, что не может

прийти сам. Вам придётся зайти к нему, но это близко, не беспокойтесь. Если хотите, я могу вас проводить сейчас. Если, конечно, вы ничем не заняты.

Она подошла к стулу, на котором лежали какая-то материя, бумага, спички, и стала складывать все это прямо на пол.

– Ваша фамилия – как вы сказали?

– Безайс. Я пришёл к вам от Матвеева, моего товарища.

– Матвеев здесь? – спросила она живо.

– Да, здесь.

– Отчего же он не пришёл сам?

Он помолчал, собираясь сказать самое важное. Но она вдруг подошла к двери и открыла её. Безайс мельком увидел впустившую его женщину. Она стояла, прислонившись к косяку.

– Мама, – сказала Лиза, – уходи сейчас же! Ну?

– Так вы товарищ Матвеева? – продолжала она, закрывая дверь и улыбаясь. – А отчего он сам не пришёл?

– Он нездоров. Хотя, вернее сказать, даже ранен.

Она широко раскрыла глаза.

– Ранен?

Безайс тоже встал.

– Но не надо волноваться, рана не серьёзная, – начал он, торопясь. – Он уже почти здоров, честное слово! Но самое главное – не надо волноваться. Это же глупо – волноваться, когда он почти здоров.

Она смотрела на него ошеломлённая, точно ничего не понимая.

– Куда его ранили? – спросила она.

– В ногу, – ответил Безайс. – Ему страшно повезло, это

такая рана, от которой легко поправиться. Возьмите себя в руки и не расстраивайтесь. До свадьбы заживёт, – прибавил он с глупым смехом.

Все остальное тянулось, как кошмар. Он начал рассказывать ей и несколько раз собирался сказать прямо, что Матвееву отрезали ногу, но всякий раз хватался за какой-нибудь предлог и рассказывал о другом – о Жуканове, о Майбе, о дороге. Она слушала, молча глядя ему прямо в глаза, и Безайс смущался от этого взгляда, точно он лгал. Наконец он измучился от звука собственного голоса. Тогда он замолчал, думая несколько минут, и сказал:

– Ему отрезали ногу ниже колена.

Она вскочила, как от удара.

– Отрезали? – крикнула она со всхлипыванием.

– Да, – сказал Безайс, – отрезали. Ниже колена.

– Ниже колена?

Безайс поднял голову. На её лице был ужас. Она не замечала, как у неё дрожат губы. Некоторое время они стояли молча, тяжело дыша.

– И теперь он... на одной ноге?

– На одной.

– А как же он ходит?

– На костылях.

Никогда в жизни он не чувствовал себя так скверно. Она схватила его за руку и стиснула до боли.

– Это он послал тебя?

– Он. Ему хочется, чтобы вы пришли к нему.

– Но как же это вышло? Неужели ничего нельзя было сделать? Ты все время был с ним?

– Конечно, все время.

– И ничем нельзя было помочь?

Это было прямое обвинение. Безайса охватила мгновенная ярость. Он вырвал свою руку.

– Началось нагноение, доктор сказал, что без операции он умрёт.

Она села на стул: сверху Безайс видел её волосы, разделённые прямым пробором.

– Как это глупо, – сказала она, сжав руки и покачиваясь всем телом. – Именно его! Ведь вас было трое?

– Да.

– Ну, а сейчас? Он встаёт?

– Даже ходит немного.

Она помолчала, что-то вспоминая.

– Он совершенно беспомощный?

– Нет, конечно. Недавно он сам оделся.

Безайс сидел, ожидая чего-то самого тяжёлого. Он обвёл глазами комнату, потрогал себя за ухо и встал.

– Я пойду, пожалуй, – сказал он, не глядя на неё и вертя шапку в руках. – Вот теперь я вам сказал все.

Он вышел в коридор, натолкнувшись в темноте на впустившую его женщину, ощупью отыскал дверь, но потом вернулся снова. Она сидела, прижавшись грудью к столу.

– Я забыл дать вам его адрес, – сказал он. – Вы придёте сегодня к нему?

– Я приду завтра.

Он вышел на улицу и пошёл прямо, пока не заметил, что идёт в обратную сторону. Тогда он вернулся, прибежал домой и сказал Матвееву: «Завтра она придёт», – потом ушёл к себе, лёг в носках на кровать и долго курил. Он

как-то не выяснил своего отношения к этой истории, и в его голове был полный беспорядок. Черт знает, что хорошо и что плохо.

Он думал о Матвееве, о Лизе, о самом себе, и было совершенно непонятно, чем все это кончится. Одно было ясно – девушки, как Лиза, встречаются не каждый день.

ОНА ПЛАКАЛА

На другой день Матвеев поднялся и, бодро стуча костылями, отправился просить у Дмитрия Петровича бритву. Кое-как он побрился и, сидя перед зеркалом, с удовлетворением рассматривал свою работу.

Насвистывая, он вернулся к себе в комнату, критически её оглядел и остался недоволен расстановкой стульев. С полчаса он возился, громя стульями и поправляя оборки на занавеске, но потом устал и сел, тяжело дыша. Он был в хорошем настроении, и весь мир улыбался ему. Отдохнув, он пришёл в столовую и стал учить мальчиков играть на гребёнке с папиросной бумагой. Но потом пришла Александра Васильевна, гребёнку отобрала и загнала Матвеева обратно в его комнату.

Пробил час, а Лизы все ещё не было. Время текло медленно, и он не знал, куда его девать. Безайса, по обыкновению, дома не было. Александра Васильевна принесла завтрак, и пока он ел, она стояла у дверей и расспрашивала, – есть ли у него мать, сколько ей лет и правда ли, что большевики и коммунисты – это почти одно и то же. Она жаловалась на то, что Варя хочет остричь волосы. Она считала это глупостью и удивлялась, кому может нравиться безволосая женщина.

Но Лиза все ещё не приходила. Когда большие хриплые часы в столовой пробили три часа, Матвеев начал беспокоиться. Он взял костыли и отправился бродить по дому, с тоской и недоумением спрашивая себя, что могло её задержать. Он снова ушёл в свою комнату. Там он сидел до вечера, и с каждым ударом часов в нём росла уверенность, что она уже не придёт. Ноющая, точно зубная боль, тоска поднималась в нём, он начал думать, что с ней случилось какое-то несчастье. Эта мысль была невыносима, и, когда пришла Варя, ему хотелось сломать что-нибудь.

Она села рядом и начала говорить, что он должен больше есть, чтобы пополнеть.

— Ты скажи, — говорила она, — что тебе больше нравится. Суп всегда остаётся в тарелке. Хочешь, завтра сделаем пирог с курицей. Мама очень хорошо его делает.

Это было самое неподходящее время для разговора о пироге с курицей.

— Не хочу, — сказал он.

Он искоса взглянул на неё и заметил, что она завилась. Лизу, может быть, арестовали, — и эти легкомысленные белокурые кудри оскорбили его.

— Давай говорить о другом, — сказал он сухо. — Ты что-нибудь хотела спросить? Ты вечно о кухне разговариваешь, будто на свете больше нет ничего.

— Нет, это я только так. А я действительно хотела спросить тебя об одной вещи. Я думала об этом весь день: когда будет мировая революция?

— В среду, — ответил он сердито.

За последнее время в ней появилась черта, которая его бесконечно раздражала. Она старалась говорить об умных

вещах: о партии, о цивилизации, о древней Греции. Это было беспомощно и смешно.

– Не старайся казаться умней, чем ты есть на самом деле, – сказал он, помолчав. – Это режет ухо. У тебя нет чувства меры, и ты слишком уже напиралась на разные умные вещи. Держи их про себя.

Он старался не глядеть на неё.

– Это просто флирт... Говори об этом с Безайсом, он будет очень доволен. Но даже и флиртовать можно было бы не так тяжеломерно.

– Почему это флирт?

– Ну, кокетство. Зачем ты завиваешься?

– Я больше не буду, – сказала она тихо.

Он немного смягчился.

– Ах, Варя, мне сейчас не по себе. Не обращай внимания. Но ты напрасно так держишься, это смешно. Неужели ты этого не видишь? Будь глубже и оставь это уездное жеманство. Хотя лучше, знаешь, бросим сегодня это, я что-то зол. Когда придёт Безайс, пришли мне его, хорошо?

– Хорошо, – покорно ответила она, вставая.

А когда пришёл Безайс, он закатил ему скандал. Матвеев спросил, что в городе нового, и когда Безайс ответил, что ничего нового нет, он взбесился.

– Мне надоело это, Безайс, – начал он громко, чувствуя, что у него дрожат губы. – Это возмутительно, понимаешь ты? Ты изводишь меня. Я сижу в этой проклятой комнате и ничего не знаю, что делается кругом. А ты рассказываешь мне всякий вздор. Зачем это? Ты смеёшься, что ли? Я не позволю так обращаться со мной! Скотина!

Последнее слово он почти крикнул.

Безайс осторожно присел на кончик стула.

– Я тут не виноват, старик. Это все доктор. Он сказал, что тебе нельзя волноваться, и я старался изо всех сил. Но теперь я вижу, что он умеет только пачкать йодом и ничего не понимает в нашем деле.

И он рассказал Матвееву, зачем он уходил по вечерам и что делал. Он почувствовал, что хватил слишком и что дальше молчать было нельзя. Матвеев немного утешился и слушал Безайса, не прерывая ни одним словом.

– Это все хорошо, – сказал он. – погоди, я встану, и будем втыкать вместе. Ты не слушай докторов, это для баб. Из всех лекарств я оставил бы только мятные лепёшки, – говорят, они помогают против икоты. А больше я не верю ничему. Завтра я выйду на двор посмотреть, что там, в природе, делается без меня.

– Ты не выйдешь. Увидят тебя соседи, пойдут разговоры. Потерпи ещё немного.

Матвеев молчал несколько минут, потом смущённо улыбнулся.

– Она далеко живёт отсюда?

– Кто?

– Лиза.

– Нет, не очень. Несколько кварталов.

– Слушай, тебе опять придётся к ней пойти.

– Когда?

– Сейчас. Я думаю, с ней что-нибудь случилось. Сам знаешь, какое время. Вдруг её арестовали? Видишь ли, если она что-нибудь пообещает, то обязательно сделает. Безайс, пожалуйста.

Безайс встал.

– Хорошо, – сказал он убитым тоном.

Худшего наказания для него нельзя было придумать. Но идти надо было: если б он попал в такое положение, Матвеев сделал бы это для него. Он ушёл и пропадал два часа, а когда вернулся, то произошёл разговор, о котором потом он всегда вспоминал, как о тяжёлом несчастье. С этого дня он дал себе страшное обещание никогда не ввязываться в чужие дела.

Он осторожно прошёл по тёмным комнатам, – в доме уже спали. Матвеев ждал его, сидя на кровати, и курил папиросу за папиросой.

– Ты был у неё? – спросил он нетерпеливо.

– Был, – ответил Безайс. – Все благополучно.

– Что она говорит?

– Говорит, что сейчас не может прийти. Придёт завтра.

– Почему?

– Должно быть, занята чем-нибудь. Я не знаю.

Матвеев был озадачен.

– А что она просила мне передать?

– Что завтра она придёт.

– И больше ничего? Только это?

– Да, как будто ничего.

– Вспомни-ка, Безайс, подумай хорошенько. Ты забыл, наверное.

Это звучало как просьба. Безайс откашлялся и сказал глухо:

– Ну... просила передать, что ты... милый, конечно.

– Ага...

– Что она прямо помирает, так соскучилась. Знаешь, разные эти бабьи штуки.

– Ага...

– Ну... вот и всё.

– А что обо мне говорила?

– Да ничего такого особенного не говорила.

– Она волновалась?

– Как тебе сказать...

Он поднял глаза и увидел, что Матвеев бледно улыбается, – точно его заставляли. По его лицу медленно разлилось недоумение. Безайс хотел рассказать, какая она передовая, мужественная, но теперь заметил вдруг, что Матвееву этого не надо, что он хочет совсем другого.

– Она плакала, когда ты рассказывал ей об этом?

Он смотрел на него с надеждой и ожиданием, почти с просьбой, и Безайс не мог этого вынести. Он решил идти напролом. Не все ли равно?

– Как белуга, – ответил он, твёрдо и правдиво глядя в лицо Матвееву. – Я просил её перестать, но что же я мог поделать. Они все такие.

– Честное слово?

– Ну, разумеется.

Матвеев откинулся к стене и рассмеялся счастливым смехом.

– Это изумительная девушка, Безайс, ей-богу! – сказал он тщеславно. – Когда ты узнаешь её ближе, ты сам это увидишь. Так она плакала?

– И ещё как!

– Вот дура! Наверное, первый раз в жизни.

Наступила пауза.

– А как она тебе понравилась?

– Да ничего. Подходящая девочка.

– Правда, хорошенькая?

– Правда.

– А где ты с ней встретился?

– В её комнате.

– Та-ак. Какое первое слово она сказала, когда тебя увидела?

– Сказала «здравствуйте».

– А ты?

– Я тоже сказал «здравствуйте».

– Хм. Она, наверное, была в коричневом платье с крапинками?

– Нет, в синем и без крапинок.

Безайс был угрюм, смотрел в пол, но Матвеев не обращал внимания на это. Его распирало желание разговаривать.

– Никогда не знаешь своей судьбы, – говорил он, улыбаясь. – Помнишь, как я старался всучить тебе билет на этот вечер? Каким же я был ослом! Ведь не пойдя я тогда, я бы с ней и не встретился. Случайность. Я часто думаю теперь об этом и благодарен тебе, что ты остался дома. Так она тебе очень понравилась?

– Ничего себе.

– Я так и думал. Черт побери, у меня, наверное, сейчас очень дурацкое лицо?

– Нет, не очень.

– Да-а. Так-то вот, старик. Это новая женщина в полном смысле слова. Когда я разговариваю с Варей, мне кажется, будто я жую сено. Очень уж невкусно. Ты не обижаешься? Она свяжет тебя по рукам и ногам и будет стеснять на каждом шагу.

– По совести говоря, – ответил Безайс с одному ему понятной насмешкой, – она меня не очень стесняет.

– Ну, может быть. Каждый получает, что он хочет. Ты не чувствуешь в этом вкуса, Безайс. Сойтись, дать друг другу лучшее, что имеешь, и разойтись, когда нужно, без всяких сантиментов. Это чувство физическое, и слова тут ни при чем. Так, значит, она сказала, что завтра придёт?

– Так и сказала.

Было два часа ночи, – Безайс потушил лампу и ушёл.

ОТ ЭТОГО НЕ УМИРАЮТ

И действительно, на другой день она пришла.

День был точно стеклянный, весь пропитанный холодным блеском. Лёд на окне был чистого синего цвета, и небо было синее, и снег чуть голубел, как свежее, хрустящее бельё. Из форточки в комнату клубился воздух, поднимая занавеску. Матвеев оделся, ёжась от холода. Его переполняла нетерпеливая радость, желание свистеть и щёлкать пальцами. Когда вошёл Безайс, Матвеев сказал вдруг:

– Я решил подарить тебе свой нож.

Ещё минуту назад он не думал о ноже. Эта мысль пришла ему в голову внезапно, когда Безайс отворял дверь.

– Зачем?

– Да так.

– А ты останешься без ножа?

– Ну что ж. Он мне надоел...

Нож был с костяной ручкой, в тёмных ножнах, замечательно крепкий. Он снял его с офицера под Николаевым и

с того времени носил с собой в кармане. Им он открывал консервы, чинил карандаши и подрезал ногти.

Безайс даже покраснел от удовольствия.

– Странно.

– Ничего не странно.

Он вынул нож, подышал на блестящее лезвие и показал Безайсу, как быстро сходит испарина.

– Бери на память.

Потом пришла Варя. Она и Безайс сидели у него долго, но он перестал обращать внимание на них и вёл себя так, точно их не было в комнате, пока они не догадались уйти. Он лежал, курил и читал «Лорда-каторжника», ничего не понимая. Так прошло ещё несколько часов. С обострённым вниманием он прислушивался к шагам в столовой, к стуку ножей и тарелок, смертельно боясь, что на него обрушится Дмитрий Петрович со своей неисчерпаемой болтовнёй. Солнце играло по комнате цветными пятнами.

Наконец приотворилась дверь, показалось круглое лицо Александры Васильевны, горевшее нетерпением и любопытством, а за ней Матвеев, замирая, увидел знакомую беличью шапку.

– Вас спрашивает какая-то барышня.

Он швырнул книгу и попробовал встать, но для этого надо было добраться до другого конца кровати, где стояли костыли. Празднично улыбаясь, он замахал рукой. У дверей стояла Лиза, и её смуглое лицо, порозовевшее на морозе, было таким знакомым и милым.

– Ну, раздевайся! – сказал он. Это было первое слово, которое пришло ему в голову, и он тотчас пожалел, что произнёс его. После того как они не виделись целый месяц, надо было сказать что-то другое.

Она медленно подошла к нему. Матвеев, улыбаясь, смотрел на её розовое от холода лицо, на воротник пальто, покрытый инеем. Точно такая же, как тогда в Чите, на вечер, когда он увидел её в первый раз. Неужели прошёл только месяц? Он смотрел на неё, вспоминая морозную звёздную ночь, звонкий хруст шагов и первые неумелые поцелуи. Но она все ещё молчала, и надо было сказать что-нибудь.

– Как ты меня находишь? Знаешь, ты ни капли не изменилась.

Она взволнованно провела рукой по щеке.

– А ты – очень изменился, – ответила она.

Он вздрогнул от звука её голоса.

– Ну, поцелуй меня, – сказал он просительно.

Она подошла и поцеловала его в губы. На мгновение он зарылся лицом в холодный воротник её пальто. Он согласился бы сидеть так хоть целый час, но она выпрямилась.

– Раздевайся, – повторил он, охваченный внутренней теплотой, от которой покраснели шея и уши. – Что же ты стоишь?

Она сняла меховую шапку и пальто. Он увидел, что она оделась именно так, как тогда, в первую встречу, – в козоворотку с вышитым воротником и поясом, в тёмную юбку с карманами. У него хватило смысла догадаться, что она оделась так для него, и он снова покраснел.

– Какая милая комната, – сказала она после минутного молчания.

– Да, конечно. Отчего это пятно у тебя?

– Варила суп. Тебе больно сейчас?

– Нет. Ни капельки.

– А когда ранили?

Ему вдруг захотелось рассказать, как это вышло. Как их остановили, как рванули кони и понеслись, разбрасывая снег. Мутное небо, оглушительные до звона в ушах выстрелы и эта нелепая собака, лающая за санями, – все это встало перед ним и на мгновение заслонило комнату и Лизу. Но она перебила его:

– Почему ты раньше не прислал за мной?

– Я хотел сам прийти к тебе, – сказал он, глядя на её шею и борясь со своими мыслями. – Но они меня не выпускают отсюда... А ты помнишь, как мы целовались тогда, в коридоре, и нас заметили?

Она напряжённо улыбнулась.

– У тебя бывает доктор?

– Время от времени. Сядь немного ближе, хорошо? Тут такая скука, что прямо выть хочется. Ко мне ходит каждый день один старый лунатик и выматывает из меня душу столетними шутками. Ты скучала обо мне?

– Я страшно беспокоилась.

– И я тоже. Безайс хороший малый, но он ничего не понимает. Как пень. Я валяюсь на кровати и целыми днями думаю о тебе. Как она называлась, эта улица, где общежитие, – Аргунская? Но какая ты хорошенькая!

Она подняла глаза и взглянула в его лицо, сиявшее счастьем. Он очень похудел, под глазами легла синева. Месяц назад он был совсем другой.

– А как ты себя сейчас чувствуешь?

– О, ничего. Через неделю-полторы мы двинем с тобой дальше. Да, я забыл рассказать тебе смешную вещь... Но можно тебя поцеловать? Или об этом не спрашивают?

Он начал входить во вкус и сожалел, что поцелуи так коротки.

– Это очень странная штука. Иногда, когда я о чём-нибудь задумываюсь, я ясно чувствую, как у меня болит палец на той ноге, которую отрезали. На левой.

– Болит палец? – спросила она со сдержанным ужасом.

– Я растёр его сапогом, – сказал он успокоительно. – Это только кажется. Лиза, дорогая, так ты беспокоилась? Глупая! Что могло со мной случиться?

Он запнулся.

– Хотя случилось, – сказал он, смущённо улыбаясь. – Вот. Но это ничего, правда? Я ещё наделаю делов. Бывает и хуже. Я почти здоров уже.

– Да?

– Ну конечно. О, нога мне не мешает. Хочешь, я покажу тебе, как я хожу?

– Не надо, – быстро сказала она, но Матвеев, снисходительно смеясь, взял костыли и поднялся. Он нацелился на окно и с грохотом, стуча костылями, проковылял до него, повернулся и снова дошёл до стула. Она встала.

– Каково? – спросил он, улыбаясь.

– Очень хорошо, – ответила она, комкая свою меховую шапку. – Но мне пора уже идти, милый.

Он сел и взглянул на неё снизу вверх.

– Почему? – спросил он тоном ребёнка, у которого отбирают сахарницу.

– Я выбралась только на минутку, – сказала она, опускающая ресницы. – Мне обязательно надо быть дома сегодня.

Когда она говорила – надо, Матвеев сдавался. Он совершенно не умел с ней спорить.

– Но ты, может быть, придёшь сегодня попозже, когда освободишься?

Она подошла и мягко обняла его.

– Не скучай, – шепнула она, целуя его в щеку. – Завтра я приду на весь день – обязательно.

– Нет, в губы, – только и нашёлся сказать он.

Так она стояла рядом с ним, обняв его за голову и перебирая пальцами волосы, Матвеев торопливо и жадно целовал всё, что попадалось, не разбирая, с прожорливостью голодного человека, – шею, руки, лицо, овеянный нежным теплом её тела. Долго ждал он этого дня, – в вагоне, в лесу, в тёмных хабаровских улицах он думал об этих единственных бровях и нежной ямочке на шее.

Потом он вдруг почувствовал, что она вздрагивает, положив голову ему на плечо. Это было что-то новое.

– Лиза, что ты? – спросил он испуганно, осторожно садясь с ней на кровать.

Он подождал немного, а потом решил начать прямо с того места, на котором остановился, и уже обнял её за шею. Но она отвернулась, и Матвеев скользнул губами где-то около уха.

– Я хочу поговорить с тобой, – сказала она, тяжело дыша.

Он крепко сжал её пальцы. Она сидела к нему боком, и он видел её профиль с длинными ресницами.

– О чем?

– О наших отношениях.

Она волновалась – волновалась из-за него! – и это наполнило Матвеева вульгарной радостью.

– Говори, говори, – сказал он снисходительно.

– Вот... сейчас и скажу, – возразила она, тихо отбирая свою руку. – Ещё раз поцелую – и скажу.

Несколько минут она целовала его с закрытыми глазами, горячо и быстро, как его ещё не целовал никто и никогда.

– Ну, вот, – услышал он её взволнованный голос. – Я хочу... только ты не обидишься, милый? Постарайся меня понять. Наши отношения... они не могут быть прежними. Я не поеду с тобой в Приморье.

Она с облегчением перевела дыхание, но у неё не хватило мужества поднять глаза.

– Ты же сам понимаешь это. Я знаю, ты думаешь сейчас обо мне, что я дрянь? Но, дорогой мой, пойми, что я тоже мучаюсь. А я могла бы и не приходить – написать письмо. И все. Я не знаю только, поймёшь ли ты меня.

Молчание Матвеева начинало пугать её. Сделав усилие, она взглянула на него. Он имел такой вид, точно его ударили по голове, – он растерянно улыбался, и эта улыбка отозвалась на ней, как удар ножом. Ей захотелось плакать, и нежная жалость к Матвееву охватила её. Но любви не было, – что-то дрожало ещё в ней, – не то боязнь, не то недоумение. «Мне тоже тяжело», – вспомнила она.

Это было в Чите перед отъездом. Они ходили по улицам, – он держал её за руки и слушал, как она горячо и сбивчиво говорила о будущей любви. «Надо уметь вовремя поставить точку, – говорила она, – пока люди ещё не мешают друг другу». И теперь он вспомнил это.

– Понимаю. Надо уметь вовремя поставить точку, – сказал он вслух.

Она испугалась выражения его лица. Ей показалось, что он хочет о чём-то просить.

– Если бы ты мог понять, как мне тяжело, – сказала она жалобно.

Он молчал.

– Давай говорить об этом спокойно, – продолжала она. – Если я не буду счастлива с тобой, то ведь и ты будешь чувствовать это. Не надо никаких жертв.

Он пробормотал что-то.

– Я больше не могу, – бессильно прошептала она.

За дверью кто-то громко звал кошку и уговаривал её вылезти из-под буфета. Пыльный солнечный луч пронизывал комнату и дробился зелёными брызгами в стеклянной вазе.

– Но ты не сердись на меня?

Он глубоко вобрал воздух в лёгкие. Так бросаются в воду с большой высоты. Жизнь встала перед ним – Жизнь с большой буквы, и он собрал все силы, чтобы прямо взглянуть в её пустые глаза. Двадцать лет ходил он здоровый и никому не уступал дороги. А теперь ему оттяпало ногу, и надо потесниться. Ну что ж.

– Я не маленький, – сказал он слегка охрипшим голосом, – и знаю, почему мальчики любят девочек.

Она взяла его руку и прижала к щеке.

– Постарайся понять меня, милый. Мне так больно и так жаль тебя.

У него было только одно желание – выдержать до конца, не сдать, не распусться. Это было маленькое, совсем крошечное утешение, но, кроме него, ничего другого не было. Что-то вроде папиросы, которую люди курят перед тем, как упасть в яму. Он тоже падал, но изо всех сил старался удержаться. Это был его последний ход, и он хотел сделать его как следует.

– Ты слишком много придаёшь этому значения, – сказал он почти спокойно.

– Правда? – спросила она с облегчением.

– Ведь не помру же я от этого.

– Я думала, что лучше сказать все прямо.

– Конечно, ты отлично сделала.

– Но ты всё-таки будешь мучиться?

Карты были сданы, и надо было играть.

– Не буду, – сказал он, сам удивляясь своим словам. – Конечно, жалко, что эта интрижка не удалась, но что делать? Не беспокойся за меня.

– Интрижка? – проговорила она с расстановкой.

– От этого не умирают.

Она выпрямила грудь и откинула волосы с лица.

– Я сегодня не спала ночь. Это было самое ужасное – решить. Я никогда не забуду этого.

Надо было кончать как можно скорей.

– По совести говоря, – сказал он, храбро глядя ей в глаза, – эта история мне самому немного надоела. Слишком долго – целых два месяца.

Она встала.

– Что ты сказал? Надоела?

– Да.

– Вот как? Это для меня новость.

– Ну что ж!

– Я думала, что ты меня любишь.

– Хм. Я не знал, что ты придаёшь этому такое значение.

Она нервно стиснула руки.

– Это неправда, – воскликнула она, волнуясь. – Неправда, слышишь? Ты любил меня все время. Ну, скажи, любил?

В нем горячо забилась кровь. Какой вздор, – конечно, любил и больше всего – в эту именно минуту.

– Немножко, – сказал он из последних сил.

– Матвеев, неправда!

– Я просто забавлялся. В Чите нечего было делать.

– Ты сейчас это придумал?

– Ну как хочешь.

Он с удивлением заметил, что у неё выступили слезы.

– Как это гадко, – сказала она порывисто. – Значит, ты смотрел на меня как на вещь, на пустяк? Ты шутил со мной? А я так волновалась, когда шла к тебе!

Она волновалась! Матвеев взглянул на неё холодными глазами и с горечью подумал о своей смешной и глупой судьбе. Но он не хотел казаться смешным.

– Я не хуже и не лучше других мужчин на этой грешной земле. Пахло жареным, и мне хотелось попробовать, – сказал он тоном опытного развратника.

Её брови высоко поднялись, и несколько минут она разглядывала его, как нечто новое.

– Однако, – медленно проговорила она, чувствуя себя униженной и глубоко несчастной. – Я никогда не думала, что была такой душой. Надеюсь, между нами все кончено?

Он сказал, точно спуская курок:

– Все кончено.

Когда она ушла, он долго сидел на кровати, обхватив колени руками, и думал. Думал больше о себе, чем о ней, и все казалось ему новым, необычайным, пугающим.

Он погладил свою изуродованную ногу, оглядел костыли и вздохнул. Смешно подумать, он как будто не замечал этого раньше. Это надо было предвидеть, – ведь

странно, чтобы молодая хорошенькая девушка вышла за него замуж, когда на свете столько ребят с крепкими руками и ногами... Теперь его место в обозе, – и она указала ему на это.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Через два дня он узнал, что такое настоящая скука. Это было как болезнь. Каждый час ложился на него непереносимой тяжестью, и к концу дня он чувствовал себя разбитым, как после хорошей работы. У него пропал сон и поднималась температура; Варя говорила – лихорадка, но Матвеев знал, что это такое. Безайс честно старался развеселить его и выдумывал какие-то игры, от которых скука становилась прямо-таки невыносимой. Он был повален и лежал на обеих лопатках, лицом вверх. Один раз он унизился даже до того, что стал строить домики из коробок. Безайс принёс карты, и они сели играть в «пьяницы». Они сыграли несколько партий, и Безайс смеялся так добросовестно, что Матвеев бросил карты.

– Эта игра для весёлых покойников, – сказал он, покачивая головой. – Когда на кладбище нечего делать, там играют в неё. Иди, Безайс, я, кажется, засну сейчас.

Он повёртывался на бок и лежал несколько часов, не двигаясь, пока не засыпал. Но даже во сне скука не покидала его.

Когда Лиза вышла из комнаты, он думал, что все кончено, а оказывается, дело только начиналось. Никогда в жизни он не любил так – что они значили, эти девочки, у которых он крал торопливые поцелуи в клубных коридорах, его весёлые грехи и первые тайны?

Что ж, любовь... Любят все – и люди, и цветы, и лошади, в этом ничего особенного нет. Но его любовь была слишком круто посолена. Теперь он прямо с ненавистью вспоминал свои проклятые рассуждения о любви, о женщинах и обо всех этих холодных и умных вещах, которыми он так смешно гордился. Ему хотелось найти и побить человека, который их выдумал. Они хороши как раз до того времени, когда человек попадает в беду, когда ему вдруг таким нужным станет простое и тёплое слово.

Товарищ? Да, конечно, товарищ – большое слово. Но вот он не мог прийти к Безайсу и рассказать, как сшибла его жизнь и тяжёлой ногой прошла по нему. Это нехорошо, когда мужчина приходит к другому мужчине вымаливать утешения, это по-бабьи, это просто невозможно, потому что ничего не сумеет сказать Безайс. «Черт побери, – скажет он, взволнованно трогая ухо в бессильном порыве сделать что-то нужное, – вот так штука!»

У Матвеева был свой взгляд на такие вещи. Их лучше держать при себе и не навязывать другим.

Вот ещё глупая, бездарная история – все эти стриженные бабы с половыми проблемами. Если честно, по-человечески подойти к этим проблемам, то окажется, что их нет вовсе. Это всего только волнующие, дразнящие разговоры о запретном, стыдном – разговоры неврастеников, и его беда в том, что он всем своим большим сердцем поверил в них.

На второй день, вечером, Безайс шумно вошёл в комнату.

– Пойдём к нам, старик, – сказал он. – Знаешь, что я придумал? Я уговорил ребят провести совещание у нас.

Хочешь послушать, что там будут говорить?

– А когда они придут?

– Уже пришли.

– Ладно.

Некоторое время он лежал, убеждая себя не лениться и встать, потом нехотя оделся и вышел в столовую. Его сразу охватил сдержанный гул голосов, смех, табачный дым, в котором неясно виднелись чужие лица и огоньки папирос. Их было пять человек, кроме Безайса, который гремел посудой у стола и откровенно гордился честью поить чаем подпольное совещание. На свежей скатерти стояли самовар и чашки, розовел поджаренной коркой пухлый домашний хлеб. Матвеев поклонился и сел. Некоторое время они молчали, а потом заговорили снова – все разом, и в комнате гуще заколебался синий табачный дым.

– Кто любит крепкий? – спросил Безайс. – Не берите тот стул: у него три ножики.

Невысокий косоглазый человек давал информацию о положении на фронте. Это был товарищ Чужой. Новости были лежалые, и говорил он, казалось, больше для себя, – остальные его почти не слушали. Они пили чай и вполголоса разговаривали каждый о своём, кроме одного чернобородого, который молчал и глядел прямо перед собой, о чём-то думая. Он сидел, небрежно раскинувшись грузным, сильным телом, и дымил папиросой в коротких пальцах. Борода делала его похожим на патриарха.

Рядом с ним пил чай, держа блюдце на концах пальцев, пожилой человек. Сам он ничего не говорил и торопливо соглашался со всеми. На углу сидел молодой, красивый парень, и Матвеев чувствовал на себе взгляд его карих глаз.

Последний был заслонён самоваром, видны были только часть плеча и ухо, заткнутое ватой.

Матвеев сидел, разглядывая, ожидая чего-то, как сидят на заседаниях, где люди говорят сначала о неважном, скучном, потому что главное так огромно, что трудно говорить о нем сразу. И чашки с цветочками, и домашний хлеб, и благодушный самовар были будто нарочно поставлены здесь, чтобы заслонить эту огромную суть, таящуюся за окнами, в чёрном воздухе, на пустых улицах спящего города. Да и люди сидели, точно переодетые, точно пришли они к незнакомым пить чай и разговаривать о тихом житейском вздоре. Только в лёгкой дрожи пальцев, в неуловимом блеске глаз чувствовалось это горячее кровное братство, в котором люди ставят голову, как последний козырь.

У Чужого было неподвижное лицо и невыразительный голос. Пока он говорил, Матвеев несколько раз старался вслушаться, но потом снова забывал все. Речь шла о каком-то телеграфе — не то надо посадить туда своего человека, не то, наоборот, надо его снять, или, может быть, ничего этого и не говорил Чужой, — слова скользили мимо сознания и таяли, как лёгкий снег. Безайс со смешной торжественностью разливал чай, искоса поглядывая на Матвеева.

Чужой наконец замолчал; после длительной паузы ему задал кто-то никого не интересовавший вопрос, и когда он добросовестно и многословно ответил на него, заговорил тот, пятый, заслонённый самоваром, и, очевидно, заговорил о существе дела. Горячо, комкая слова, он что-то доказывал, но Матвеев не мог понять всего, — он не знал ни

города, ни расположения частей, ни последних событий. Урывками Матвеев ловил его возбуждённую речь.

– Организация разбита, – говорил он. – Нет ни связей, ни дисциплины, чёрт знает что! Информация не поставлена, и правильных сведений нет – подбирают прошлогодние сплетни. Надоело уже говорить об этом. Вместо планомерной работы товарищи увлекаются авантюрами. Кто выдумал этот налёт на город? Зачем это надо – испугать белых! Очень умно! А мы рискуем связями, людьми, всем аппаратом работы. Вести организацию под нож – и для чего? Сейчас в первую голову надо собирать силы, надо ставить агитацию, расклейку. Кухаренко сошёл с ума. Пускай спускает поезда под откос, но зачем лезть на город?

Тут он рассыпал целую кучу названий, имён, номеров полков, в которых Матвеев совершенно запутался.

Потом заговорил чернобородый – его звали Николой. Он налёг своей необъятной грудью на край стола и, ощетинив бороду, загудел густым голосом соборного певчего, сердито блестя белками из-под тяжёлых век. Иногда он ударял по столу ладонью величиной с блюдце, и ложки звякали в стаканах.

– На что мы сейчас бьём? – гудел он. – На то, что они не удержатся. Это их последняя ставка. Если б мы думали, что они продержатся долго, тогда имело бы смысл развёртывать подполье и заняться пропагандой. Но они не сегодня-завтра слетят. Японцы уже готовятся к эвакуации. Фронт прорван, они откатываются назад. Поэтому главная работа – военная. Под Пекином их теснят, – надо в тылу наделать панику, смешать, спутать карты. Некогда тут кружками заниматься. Кухаренко – горячая башка, он

натворит делов. Ты говоришь, что мы их только пугаем? Что ж. И надо пугать. Нельзя дать им спокойно эвакуироваться. Да ты знаешь, что будет на фронте, когда туда дойдут слухи, что в тылу, в Хабаровске, идёт пальба с красными?

Его голос рокотал, как басовые клавиши рояля. Он откинулся на стул и обвёл всех взглядом, двигая челюстями, как людоед. Все молчали. Потом заговорил Чужой:

– Я слышал, что сорок вторая снялась из Дупелей. Неизвестно, куда её сунут, – может быть, в прорыв, если успеют.

– Сорок вторая уже выехала.

Кто-то засмеялся.

– Когда?

– На той неделе. А ты только хватился?

– А откуда этот эшелон?

– Пришёл с Имана вчера. Сплошь товарный, с боеприпасами.

– Хорошо бы сообщить Кухаренко, чтобы имел в виду.

– Крепкий орех – сорок вагонов. Если его поднять, от депо ничего не останется.

– Ну, мало ли что!

– В прошлый раз, когда была эта история с японским эшелонном, все шло кувырком. А почему? Потому что действовали стадом. Я бегу к Петьке Синицину, а он ушёл к деповским. Потом он кинулся меня искать, а тут подрывники куда-то провалились. А кто виноват? Никто. Чужой дядя. Так нельзя.

– Надо связь держать. Двадцать раз об этом говорили, но вам все как в стену горох.

- Опять завели! Семь вёрст до небес и все лесом.
- Ты настаиваешь на своём, товарищ Каверин?
- Я ни на чём не настаиваю.
- Нашли время! И о чём спор – о словах!
- Надо решать основной вопрос, – выступаем мы или нет? Что это за фокусы? Надо уметь подчиняться.

Было душно, но форточку из осторожности не открывали. В самоваре klokотала вода. На столе валялись окурки, хлебные крошки, пролитый чай темнел пятнами. Кто-то прожёл скатерть и смущённо закрыл дыру стаканом.

– Я за выступление. Каверин говорит, что мы ведём организацию под нож. Ну что же? Надо уметь жертвовать людьми. Без этого не бывает войны. И надо окончательно договориться, чтобы больше не было этих разговоров.

Теперь Матвеев слушал, не пропуская ни одного слова. У него было такое чувство, точно он вернулся в свой старый дом. Все было знакомо, и слова были такие привычные – твёрдые, отточенные слова бойцов. Где-то раньше он сидел на таком же точно совещании, слушал и вдыхал горячий воздух, налитанный опасностью.

Он нагнулся и глотнул остывшего чая. Его руки дрожали. «Мы ещё покажем хорошую работу», – думал он, стараясь унять эту дрожь. Под Калачом, во время мамонтовского рейда, он попал вместе с другими в какую-то конную часть и повесил поверх рубахи саблю и карабин. На небе разгорался ослепительный день, когда они на рысях вылетели на поле, и полынь захрустела под копытами лошадей. Воздух дымился от пыли и зноя. Под ним бесновался его тяжёлый конь. Он увидел впереди окопавшуюся цепь, и душа задрожала восторгом и нетерпением, как сверкающий в руке клинок.

– Надо сразу, в одну точку. Пятая рота почти целиком из татар.

– Это липа.

– А сводный полк?

– Он разбросан по всему городу.

– Завтра ушлём кого-нибудь из связи к Кухаренко. Чтоб не было сутолоки, заранее распределим обязанности. Ты уйми своего дурака, этого чернявого. Прошлый раз он совсем с ума сошёл. Выступим сразу в нескольких местах. Они сделают главный удар на товарную станцию. Если удастся – подымут этот эшелон с боеприпасами.

– Опасно.

– Почему?

– Да ведь целый состав. Сорок вагонов.

– Ох, что это будет?

– Главные силы бросим на штаб. Это опасная задача, и надо отобрать самых боевых. Потом надо выделить группу человек в пять – резать телефонные провода. Можно поручить комсомольцам, даже девушкам. Они будут не так заметны.

– Повторяю, что я против этого, тем более, что были уже уроки. За что пропал Саечников? За пустяк. Но если уже решено, я предлагаю принять такие меры: во-первых, одновременно со штабом надо ударить по разведке, в частности попытаться освободить Протасова и Бермана.

– Верно.

– Во-вторых, насчёт связи. Чтобы в каждой группе был ответственный за это человек. Ведь это курам на смех: бегают друг за другом в догонялки.

– О расклейке тоже надо сказать. Я сам видел позавчера

несколько воззваний нарревкома. Одни были приклеены лицом к стене, другие – вверх ногами.

– Штаб я возьму на себя, – сказал Никола.

Теперь Матвеев вспомнил, где это было. В двадцатом году отряд ловил чубатых парней из банды Свекольников. Стояла серая снежная муть, в которой бесследно тонула цепь. Около монастыря бил пулемёт, и пули жадно искали человека. Цепь шла навстречу ветру, и когда сбоку рванул вдруг залп, замерла, упав в снег. Смерть была до того близко, что её можно было коснуться рукой. Подъехал на измученной лошади комиссар, окликнул командира и сказал сквозь рвущийся ветер:

– Я беру на себя левый фланг...

И теперь он вспомнил все это. Было много таких дней и ночей, оставшихся позади, и они звали его тысячью голов. Он выпрямил грудь. Это было как раз то самое, чего ему не хватало. Надо идти по своей дороге и делать свою работу – и тогда можно смело смотреть в лицо судьбе. А его судьба была здесь, и шагала отчаянная судьба в ногу с остальными, как ходят солдаты.

Когда встали из-за стола и, толпясь, разбирали пальто и шапки, Матвеев подошёл к Николе и отвёл его в сторону.

– А я? – спросил он несколько застенчиво.

Никола взглянул на него с сомнением.

– Но ведь у вас – это самое... Вы же больны.

– Теперь я здоров. Почти.

– А это?

– Это? Немного мешает.

– Смотрите, работёнка не из лёгких.

– Ничего. Бывало и хуже. Да я не так уж плох.

Никола вытер лоб и отвёл глаза от его ноги.

– Знаете что? Давайте подкрепитесь немного. Потом подумаем.

– Новая нога у меня не вырастет, – возразил Матвеев, нервно передёрнув плечами. – Пустяки, берите меня, какой я есть. Вместе с костылями. На какую угодно работу, всё равно.

– В том-то и дело, что подходящей работы нет.

– Не может быть! Давайте неподходящую. Вы не смотрите на мою ногу, это ничего.

Он начал волноваться. Крупное лицо Николы было неподвижно, и Матвеев понял, что его нелегко будет про-
нять.

– Но не в этом суть. Ведь есть же какая-нибудь работа, какую я мог бы делать. Расклейка, например? Потом я мог бы пойти вместе с парнями резать провода. Вы говорили, что можно даже послать девушек. Неужели я хуже их?

Он отчаянным усилием перевёл дух и ждал ответа, заглядывая ему в глаза. «Черт побери, – думал он, – экое упрямое животное!»

Никола осторожно переступил с ноги на ногу.

– Право, не знаю, – сказал он нерешительно, – как тут быть.

Матвеев наклонился к нему.

– Вы хотите сказать, – проговорил он обидчиво, – что я никуда не годен, да?

– Я этого не говорил.

– Но вы так думаете. Я это вижу.

– Я думаю, что вам надо хорошенько отдохнуть.

– Несколько недель я лежал в кровати. Да какое вам дело? Скажите прямо – берете меня или нет?

Он начал выходить из себя. Это была его последняя ставка, и невозможно было удержать рвущийся голос.

– Так нельзя с маху решать. Да вы не волнуйтесь.

– А вы не виляйте! Это дело докторов – разговаривать о болезнях. Мне надоело тут сидеть. Если – нет, то говорите сразу.

В чёрных глазах Николаы он увидел свой приговор, и ужас ударил ему в грудь, как кулак.

– Нет, – сказал Никола.

– Нет?

Кони, ломающие полынь, и ослепительные клинки, и жёлтая пыль метнулись перед его глазами. Ему стало страшно, потому что ломалось последнее, и он хватался за это последнее обеими руками.

– Может быть, все-таки можно? – спросил он униженно и покорно. – Что-нибудь?

Никола покачал головой.

Тогда он взбесился. Что-то лопнуло в нём, как струна; после, вспоминая это, он мучительно стыдился своих слов. Но у каждого человека есть право быть бешеным один раз в жизни, и его минута наступила.

– Думаете, что я никуда не годен? – сказал он, захлёбываясь. – Отработался?

Это было начало, а потом он назвал Николу канальей и опрокинул стакан и заявил, что ему наплевать на все. Он хотел куда-то жаловаться и говорил какие-то ему самому непонятные угрозы. Мельком он увидел покрасневшее лицо Безайса, который сидел и перебирал край скатерти.

Но остановиться уже нельзя было, и Матвеев говорил, пока не вышел запас его самых бессмысленных и обидных слов. Ему хотелось сломать что-нибудь. Он замолчал и, подумав, прибавил совершенно некстати:

— Я член партии с восемнадцатого года.

Только теперь он заметил, что все замолчали и смотрят на него. Но ему было всё равно. Э, пропади они пропадом! У него было одно желание: схватить Николу за плечи и трясти, пока он не посинеет. Никогда ещё мысль о своём бессилии не мучила его, как теперь.

Никола смотрел вниз и носком ботинка шевелил окурок на полу.

— Можете обижаться, — продолжал Матвеев, тяжело дыша. — Мне наплевать. Но я вам покажу ещё!

Никола взял его под руку.

— Знаете, что я вам скажу, — начал он тихо, чтобы другие не слышали, — вы горячий малый, но я не обижаюсь. Если вы настаиваете, чтобы я говорил с вами начистоту, то я вам скажу.

— Я ни на чём не настаиваю, — возразил Матвеев, подёргивая руку, которую держал Никола. — Это все равно. Мне наплевать.

Никола отвёл его в угол, не выпуская руки. Матвеев безразлично оглядел его плотную фигуру. Он сказал правду: ему было всё равно.

— Слушайте, паренёк, — начал Никола. — Вы коммунист. И вот у вас есть дело, которое вам поручено и которое надо во что бы то ни стало сделать. Партийное дело, понимаете? Да, кроме того, ещё и опасное. Вы будете из всех сил стараться, чтобы выполнить его как можно лучше. Так? И вот

приходит человек, который говорит: возьмите меня с собой. Возьмёте вы его, если он будет вам мешать? Понимаете – мешать? Нет, не возьмёте, будь он хоть ваш родной брат. У работы свои права, и она этого не признает. То-то и оно. Если б это было моё дело, то я б вас взял. Но это дело партийное. Поэтому я вас не беру. Не потому, что я не имею права или боюсь, что вас убьют, – а потому, что вы будете мешать нам всем.

– Чем же я буду мешать?

– Чем? Очень просто. Это не игра. Там будет драка. А драться вы не можете, это же понятно. Не обижайтесь. Значит, кому-то придётся за вами присматривать. На костылях вы далеко не убежите – значит, будете задерживать других. Поймите меня и бросьте это. Вы же член партии и знаете, что такое работа.

Матвеев поёжился. Он отнял свою руку у Николы, повернулся и пошёл к двери, чувствуя, что все глядят ему в спину.

В его комнате был густой чёрный мрак, и лунный свет лежал кое-где оранжевыми пятнами. Около стола он ударился локтем, но боль отозвалась минут через пять. Добравшись до кровати, он сел, чувствуя себя ограбленным.

Так он сидел около часа, пока в соседней комнате не стихло все.

Тогда он вынул из-под подушки револьвер и, наклонившись к окну, заглянул в дуло.

– Как живём? – пробормотал он.

Дуло преданно смотрело ему в глаза. У револьвера была простая, честная душа, какая бывает у больших и сильных собак. Он выручал Матвеева несколько раз раньше, в хорошее время, и готов был выручить сейчас.

Ведь бывают случаи, когда лучше самому выйти за дверь. На что он был теперь годен – без ноги, когда даже свои обходят его? Он привык жить полной жизнью и идти впереди других, а его просят отойти в сторону и не мешать.

Он осмотрел револьвер. Было трудно пойти на это, как трудно бывает выбросить старую сломанную вещь, к которой давно привык. Смерть – это скверная штука, что бы там ни говорили о ней.

– Привычки нет, – пробормотал он, взводя курок.

Он поднял руку, чтобы выплеснуть жизнь одним взмахом, как выплёскивают воду из стакана. Это был плохой выход, но ведь он и не хвастался им.

Но была, очевидно, какая-то годами выраставшая сила, которой он не знал до этого дня. На полу, в лунном квадрате, он увидел свою тень с револьвером у головы и тотчас же вспомнил избитые фразы о трусости, о театральности, о нехорошем кокетстве со смертью, – и ему показался смешным этот банальный жест самоубийц. Такая смерть была бесконечно опошлена в «дневниках происшествий», в праздной болтовне за чайными столами всего мира – да и сам он всегда считал самоубийц самыми худшими из покойников. Несколько минут он сидел, глядя на свою тень и нерешительно царапая подбородок, а потом осторожно, придерживая пальцем, спустил курок. В конце концов у человека всегда найдётся время прострелить себе голову.

– Представление откладывается, – прошептал он, накрываясь одеялом.

Я НЕ ТАК УЖ ПЛОХ

Утро было скучное, серое, и за окном ветки сосны раскачивались от ветра. Матвеев проснулся с тяжёлой головой и долго лежал, стараясь догадаться, который час.

Потом он встал, лениво оделся и отправился бродить по дому. Стук костылей выводил его из себя, – тогда он пошёл к Александре Васильевне, выпросил у неё лоскут материи и долго возился, обматывая концы костылей. Это помогло ему убить полтора часа, но впереди был ещё целый день. Он снова вернулся в свою комнату, вынул старые письма, заметки, документы, клочки бумаги – весь этот хлам, который заваливается по карманам, и начал его просматривать. Сначала было скучно, но потом ему удалось убедить себя в том, что это интересно. Здесь были обрывки каких-то тезисов, клочки дорожных впечатлений и стихи о германской революции, – до того плохие, что он улыбнулся: как это он мог написать такую дрянь! На скомканном листке, разрисованном домиками, лошадьми и профилями, было начало письма к Лизе:

«Моя дорогая, – прочёл он. – Мы стоим три часа на какой-то станции и простоим ещё пять. Безайс...»

На двадцать строк шло описание того, что делал Безайс. Потом о каких-то дровах.

«Меня грызёт тоска, – читал он. – С какой радостью я увидел бы тебя! У меня горит сердце, когда я думаю о тебе...»

Он покачал головой. «Горит сердце!» Странное дело: отчего это, когда пишешь, то выходит лучше, чем когда говоришь вслух? Ему ни разу не приходили в голову такие

слова, когда он с ней разговаривал. Так, какие-то глупости: как здоровье, что нового.

«Это письмо я пишу больше для себя, потому что оно придет одновременно со мной, – читал он дальше. – Мне кажется, будто я болтаю с тобой, и опять вечер, и мороз, и эта лавочка около общежития. Ни одну женщину я не любил так. У меня есть странная уверенность, что мы сошлись надолго – на годы...»

Он почувствовал какую-то неловкость и порвал письмо на мелкие клочки.

Дальше шли различные бумажки, относящиеся к их пребыванию в вагоне: несколько листиков из блокнота, на которых они играли в крестики, железнодорожные билеты и карикатуры, которые они рисовали друг на друга. Все это напомнило ему хорошее время – печку, пятнистый чайник и старый, расхлябанный вагон, в котором они неслись навстречу своей судьбе. Вот что удивительно: почему это людям хочется как раз того, чего им нельзя делать?

Это навело его на другую мысль. Он сам, не оглядываясь, топтал конём упавших в траву товарищей и летел вперёд, где поблёскивала ружьями чужая цепь, потому что некогда и невозможно было сказать им последнее слово. Другие умели падать молча, – сумеет и он.

«Небось не сахарный», – подумал он.

В пиджаке в кармане была дырка, и за подкладкой лежал твёрдый квадратный предмет. Он нащупал его и высоко поднял брови.

– Посмотрим, посмотрим, – прошептал он. – Что бы это могло быть? – Он засунул туда руку, отлично зная, что это такое.

Это была фотография Лизы, отклеенная с какого-то удостоверения, испачканная печатью и чернилами. Он вытащил её и порвал, прежде чем успел пожалеть об этом.

Самое обидное тут было вот что. В этом городе, в его холодных острых углах, люди делают свою работу. Люди схвачены этой работой, как обойма схватывает патроны, – а он, истраченный патрон, выброшен из пачки и лежит, вдавленный в землю, и на него наступают ногами.

Вчерашний вечер вспомнился ему: дым, чёрные глаза Николы, самовар. Он понимал, что вёл себя глупо. Не то, совсем другое надо было говорить. Прислонившись к стене и опираясь на костыль, он снова разговаривал с Николой – возмущался, упрашивал, шутил, поглядывал на себя в зеркало. Ведь девушкам – даже девушкам! – дают работу. Это его особенно сердило. Он не так уж плох, как это может показаться с первого раза. Годится для стрельбы, – если стрелять с колена.

Вынув револьвер, он разрядил все гнезда барабана, стал посреди комнаты на одно колено и, внимательно целясь в чернильницу, начал щёлкать курком. Понемногу он нашёл в этом какое-то удовлетворение. Он целился в свою судьбу – в прошлое, отмеченное этой глупой пулей, и в пустое будущее. Поезд бешено нёс его через тысячи вёрст, под колёсами стонали мосты, клубился снег. Он спешил, считая минуты, чтобы здесь вечером между забором и скворечней ему разнесли пулей кость на левой ноге. А в будущем у него костыли и какой-нибудь тихий кружок политграмоты два раза в неделю. На собраниях женщины уступают ему место: «Садитесь, товарищ Матвеев. Мы постоим».

Этот кружок политграмоты не давал ему покоя. Ко-

нечно, всякая работа хороша и нужна. Но ему один раз пришлось быть в детском саду для слепых. В скверной комнате сидели дети и ощупью плели корзины. С острой жалостью он глядел в их незрячие глаза и через пять минут ушёл – он не мог смотреть на их дурацкую работу. Так вот, это разные вещи. Одно дело вести кружок, когда это надо, а другое дело – вести его потому, что не можешь делать ничего другого.

Он тяжело поднялся с пола и опять зарядил револьвер. Слова для дураков. Хорошо бы сделать что-нибудь особенное, отчаянное. Утереть им нос. Спасти кого-нибудь или взорвать казарму. Или застрелить коменданта города. Чтобы потом прибежал Никола и, тиская его руку, говорил: «Извиняюсь. Я ошибся, честное слово, вы обгоните другого здорового».

Он тотчас поймал себя на том, что всё это пустяки, нелепость. Уж если обманывать себя, то не таким вздором по крайней мере. Остроумнее будет съесть кашу и лечь спать снова. А сейчас лучше подумать о том, как убить время до обеда.

Должен был прийти Безайс, но его что-то не было. Матвеев начал ходить по комнате, считая половицы. Он недоумевал, куда девать себя.

И тут пришла мысль, показавшаяся ему великолепной. Он решил написать повесть – это не так глупо, как играть в крестики, и всё-таки интереснее, чем копаться в старых бумагах. Это оживило его, и он стал лучше думать о самом себе. Повесть рисовалась ему тысячами блестящих красок, заставляя волноваться. Полчаса он метался по комнате, натываясь на стулья, отыскивая бумагу и ручку, а потом

сел к столу и с маху написал несколько листов. Безайс застал его бледным, измученным, но очень довольным собой.

– Я страшно занят сейчас, – сказал ему Матвеев. – Если тебе нужно что-нибудь, выкладывай сразу.

– Я всего только на минутку. Девчонки что-то затевают с санитарным отрядом. Это выдумывает Каверин. Очень задаются и делают вид, что без них все провалится.

Матвеев встал и подошёл к кровати.

– Я решил сделать тебе удовольствие, – сказал он. – Хочу подарить тебе револьвер. Твой смитик никуда не годен, им можно только заколачивать гвозди. Это кусок железа. А мой...

Он вынул из-под подушки большой, любовно смазанный револьвер. У Безайса был маленький 32-й смит-и-вессон, блестящий и жалкий, как дешёвая игрушка. Он давал Безайсу скорее моральное удовлетворение, чем защиту. Револьвер Матвеева был чёрный, массивный, с благородным матовым отблеском. Его очертания были просты и строги – настоящее боевое оружие, безошибочное и верное, сделанное, чтобы убивать. Закрыв левый глаз, Матвеев прицелился и щёлкнул курком. Раздался чистый, высокий звон хорошо закалённой стали. Матвеев опустил руку.

– Когда целишься, бери немного влево и вниз. Не позволяй дуракам щёлкать – испортят.

Он сжал рукоятку револьвера, какжимают руку товарища.

– Достал в губчека, – убили одного агента. Бери.

– Я его не возьму, – ответил Безайс тихо.

Ему хотелось уйти. Эта передача револьвера казалась ему каким-то тяжёлым, пугающим обрядом.

– Бери, бери. Он бьёт на двести шагов и вот, пока я его знаю, за несколько лет не дал ни одной осечки.

– У меня уже есть твой нож.

– Теперь будет и револьвер.

– Он тебе ещё пригодится. Зачем ты его отдаёшь?

Матвеев положил револьвер ему на колени.

– Бери. Он мне надоел...

Он торопливо вернулся к столу и взял ручку.

– А что ты хотел мне сказать?

– Я вот зачем: надо это спрятать. Здесь воззвания штаба. Моей собственной работы, между прочим... Ты был когда-нибудь в типографии? Я вымазался там, как негр. Видишь ли, если положить их в столовой или в других комнатах, то до них доберутся мальчишки, наделают из них голубей, и может выйти скверная история. Я положу их здесь на подоконник, ладно?

– Положи.

– Это запас, тут их штук тридцать. Сегодня не моя очередь, на расклейку пойдут ребята из пятёрки Чужого. Я пойду их расклеивать завтра ночью. Хочешь посмотреть, как они выглядят? И повозился же я над ними!

– А чего в них особенного? Не видал я печатной бумаги?

Безайс вышел, крайне удивлённый. Но как только за ним затворилась дверь, Матвеев добрался до подоконника и вытащил из пачки лист толстой, шершавой бумаги. Он долго разглядывал его со смутной ревностью. Так это работал Безайс, – скажите пожалуйста!

Потом он вернулся к столу и снова налёг на повесть. Это и в самом деле хорошо помогало убивать время. Слова

толпились перед ним, спеша и перебивая друг друга. Он не знал, какой будет конец, но это ему не мешало. Самое важное было то, что руки были заняты и цель стояла перед ним, как в прежние дни. «Надо только хорошенько поработать, а остальное придёт», – думал он.

За окном дымился бледный туманный день. Колючая ветка по-прежнему качалась, отбивая секунды. Зашёл Дмитрий Петрович, томясь каким-то новым анекдотом, но Матвеев безжалостно отделался от него. Потом, подобострастно изгибаясь, вошла полосатая кошка и села напротив, блестя зелёными глазами. Он терпел её несколько минут, но потом рассердился, бросил в неё коробкой спичек и громко сказал: «Дура!»

Повесть ему нравилась. На бумаге самые обычные слова становились особенными и приобретали какой-то новый вкус. Понемногу из их беспорядочной разноцветной груды слагался узор событий, людей, имён. Слова находили своё место и становились, выравниваясь, как в строю.

Он писал всё, что приходило в голову, без всякого плана. Ему казалось, что надо только придумать побольше героев и дать им какое-нибудь занятие, а уж потом они сами разберутся, что им делать. В творческом восторге он очерчивал людей, давал им внешность, привычки, заставлял их любить и ненавидеть друг друга. Для начала он женил одного рабочего на дочери фабриканта, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Она завивала волосы, поливала цветы и шёпотом рассказывала сплетни своему рыжему коту. Её отец ловил мух и отрывал у них крылья. Он был скопищем всех пороков – и Матвеев не мог думать о нем без отвращения.

Ему нравились сильные моменты, которые ужасали и подавляли воображение. Он не любил тихих, робких книг, в которых обыкновенные люди ходят и говорят обыкновенные слова. Ему хотелось придумать слова невиданной красоты, чтобы повесть гремела и сверкала ими. Пожар и кровь – вот что ему было надо. Тогда он устроил налёт на город и начал азартно убивать людей, своих и чужих – всех, поджёг город и взорвал водокачку. Бумага задымилась кровью, и перо нагрелось от горячих слов. Он перечитал написанное и бросил в повесть горсть многоточий и восклицательных знаков, чтобы оживить её и прибавить огня. Ложась спать, он самодовольно улыбался и думал, что день не прошёл даром.

Утром он, нечёсанный, заспанный, снова сел за стол и писал до обеда. Он работал изо всех сил, как ломовая лошадь, и дошёл до полного изнеможения. Безайс не заходил, и Матвеев был благодарен ему за это. Он старался не оглядываться и не думать ни о чём.

После обеда он, бродя по комнате, подошёл к окну и машинально вынул одно воззвание. Шрифт был неровный, и буквы ложились на бумагу кучами, как икра. Он прочёл его от начала до конца, потом перечитал снова. В конце крупно были набраны фразы:

«Пусть каждый возьмёт оружие и станет в ряды бойцов.
Да здравствует власть труда!
Смерть убийцам!»

Он положил прокламацию и отошёл от окна, как отравленный. Эти самые обыкновенные, давно знакомые слова ударили его в самое сердце: казалось, они были обращены прямо к нему.

И когда потом он взялся за повесть, ему стало ясно, что она никогда не будет написана. Он перечитал её, недоумевая, – неужели он сам написал это? В ней было столько покойников, что она походила на кладбище, на какую-то братскую могилу. Это не годилось. Оказалось, что писать гораздо труднее, чем он думал сначала. Он сам сделал своих героев, дал им дар слова и расставил их по местам, а потом они начали жить своей особой жизнью. Они рвались из-под его власти и все делали по-своему. Главный герой, коммунист, на одном решительном заседании, когда городу угрожали бандиты, встал и понёс такой вздор, что Матвееву стало неудобно за него. Он старался, чтобы все было как можно лучше, а между тем получалось совсем нехорошо.

Он отодвинул бумагу в сторону. Вся его повесть не стоила запятой в том воззвании, наспех кем-то написанном.

Александра Васильевна принесла охапку дров и затопила печь. Было темно; Матвеев, не зажигая лампы, перешёл к печке и целый час бессмысленно глядел на огонь. Это был конец, – ему начало казаться, что он и в самом деле никуда не годен.

Пахнуло холодом, будто кто-то открыл дверь. Огромная тишина вошла в комнату, и её дыхание шевелило волосы Матвеева. Лёд на стёклах был точно прозрачный мох. Прямо в окно смотрела круглая луна, и её неживой свет мешался с вздрагивающим отблеском печки, как на палитре смешиваются краски – голубая и красная. Тени бродили по стенам, как в брошенном доме.

Тогда Матвеев поднялся и стал терпеливо одеваться. В темноте, натываясь на мебель и вполголоса ругая всё, что

попадалось на дороге, он отыскивал шинель. Шапка куда-то девалась; он обшарил всю комнату, но она точно провалилась. Раз двадцать ему попадался под руки ботинок с левой ноги и довёл его почти до исступления. Он швырнул его в угол, потом ощупал каждый аршин комнаты, но через несколько минут его рука снова наткнулась на ботинок. Тогда он сел прямо на пол и вытер пот.

– Надо отдохнуть и подумать, – сказал он. – Спешить некуда, свободного времени у меня много – целые вагоны. Куда же она девалась, подлая?

Отдохнув, он снова взялся за поиски. Он отошёл к окну и оттуда начал правильную осаду, не пропуская ничего. Сначала он налетел головой на угол комода, а потом уронил зелёную вазу с ковылём, и она разбилась так громко, что он вздрогнул.

– Так я и знал, – прошептал он, трогая голову.

Через десять минут он нашёл шапку. Разумеется, она лежала на самом видном месте – на стуле. Он схватил её с чувством охотника, загнавшего наконец дичь.

Чтобы одеться, пришлось подойти к кровати, и там, держась одной рукой за спинку, он надел шинель и застегнул пуговицы. Потом он взял свёрток прокламаций и ведёрко клея, подошёл к двери, но вдруг остановился и засмеялся. Этого нельзя было оставить так. Он собрал со стола исписанные листы повести, подошёл к печке и с злорадным удовлетворением сунул бумагу в угли. Огонь исправил все: через минуту остался только шелестящий ломкий пепел. С облегчённым сердцем Матвеев вышел из комнаты.

В столовой никого не было. Он подошёл к другой двери

и осторожно заглянул в неё. Александра Васильевна, стоя на коленях, раздевала младшего и вполголоса говорила ему неистощимую материнскую ложь о хороших мальчиках, которые не рвут брюк, любят пить рыбий жир и никогда не воруют сахар из буфета. «Переплётчики», подавленные сознанием своей испорченности, хмуро молчали.

Она раздевала их медленно, и Матвеев начал бояться, что придёт Безайс. Уложив мальчиков, она потушила огонь и вышла из комнаты. Он прижался к стене, и она прошла мимо, едва не задев его. Он подождал немного и затем быстро шмыгнул в прихожую. В сенях несколько минут он шарил рукой, отыскивая крючок, в смертельном страхе, что его накроют, и когда он почти решил уже, что все пропало, дверь бесшумно открылась. Он вышел на двор.

Будто целую вечность он не дышал свежим воздухом. Он впивал полной грудью этот густой отличный воздух, чувствуя, как согревается кровь и наполняет тело играющей силой. Слишком уж долго он валялся в кровати и пил лекарства. Надо было с самого начала кормить его мясом и выпускать на двор поглотать настоящего воздуха, — тогда, может быть, все пошло бы иначе.

На дворе лежали острые тени, чёрные, как сажа, и только края заборов, опушённые снегом, были очерчены узкой полоской света. Он открыл калитку и вышел, прижимая к груди тяжёлый свёрток. Улица была пуста и едва намечалась вдали пятнами огней. Залитая лунным блеском, она казалась уютной и напоминала святочную открытку с ёлочными свечами и зайцами, которую присылают с поздравлениями на Новый год. Через дорогу падали кружевные тени берёз. На лавочке жалась одинокая пара — в

такую ночь хорошо бывает молчать, целоваться и греть руки друг другу. Сверху на город смотрела луна, и снег горел синим огнём. Матвеев перешёл через дорогу и пошёл по теневой стороне улицы размеренной походкой человека, который гуляет для собственного удовольствия.

Он жалел только об одном: почему ему раньше не пришло это в голову. Надо было самому пойти и доказать, что ты умеешь делать.

К нему снова вернулась уверенность здорового человека, который сумеет дать сдачи всякому. Ему даже стало смешно, когда он вспомнил слова Николы, что о нем, о Матвееве, надо кому-то заботиться.

– Я тоже годен к чему-нибудь, – сказал он счастливо, чувствуя тяжёлую силу своих рук и плеч.

Он перешёл через мост, и доски глухо звучали под его шагами. Около длинного низкого склада спал сторож в овчинной шубе. Матвеев осторожно обошёл его, прислонился к забору и, немного волнуясь, вынул тёплый лист бумаги. Теперь надо было поставить ведёрко на землю и намазать бумагу клеем. Первая проба была неудачна: бумага лопнула в двух местах, он вымазал рукав, потом уронил кисть, а нагибаться ему было очень трудно. Он огорчённо глядел на порванное воззвание.

– Не спешить и не волноваться, – прошептал он. – Беззайс говорит, что это вредно для меня.

Тотчас он отметил, что сохранил способность шутить, и это подняло в нём дух. Несколько минут он возился, отыскивая кисть и ругая её как только мог, а потом снова взялся наклеивать. Ведёрко он прижал коленом к забору, и это освободило ему руки. Бумагу пришлось придерживать

зубами и даже подбородком. Расправив её на заборе, он отошёл и полюбовался своей работой. Никола говорил вздор – он сделал это не хуже других.

Потом он придумал новый способ и стал расклеивать воззвания около лавочек, на которые можно было поставить ведёрко. Он вошёл во вкус и уже не боялся ничего. На углу, согнувшись на козлах, зябли извозчики. Он спросил у них, который час, потом сказал, что завтра, наверное, будет оттепель, и пошёл дальше, внутренне смеясь. Завтра будет кое-что получше оттепели – для него, например. Это совсем развеселило его; остановившись около телеграфного столба, он на свету с холодной наглостью наклеил бумагу и, не торопясь, завернул за угол. Тут ему подвернулся почтовый ящик и через несколько шагов – водокачка. Оглядываясь, он издали видел сверкавшую в лунном блеске бумагу.

Город раскрывался навстречу новыми улицами с палисадниками, с заиндевевшими деревьями, немой и сонный. Старый ветер дул в лицо, зажигая кровь, Матвеев пошёл, распахнув шинель, навстречу ветру, не помня себя от небывалого мучительного восторга. Он шёл догонять своих, и всё равно, по какой земле идти – по травяной Украине, которую он топтал конём из конца в конец, или по этому перламутровому снегу. В неверном тумане шли призрачные полки, скрипела кожа на сёдлах, тлели сигарки, и здесь, на этих замороженных улицах, он слышал, как звякают кубанские шашки о стремяна. Кони, кони, весёлые дни, развеянные в небо, в дым!

И когда сзади, разламываясь на звонкие куски, прокатился выстрел, Матвеев не испугался. Выстрел был по-

следней, самой высокой нотой в этой серьёзной музыке. Он сунул руку в карман, где пролежал себе место чёрный револьвер, и вдруг вспомнил, что отдал его Безайсу.

– Вот так штука! – прошептал Матвеев ошеломлённо.

Сзади ещё и ещё торопливо захлопали выстрелы, пули пошли сверлить голубой туман. Раздались шаги и тревожный крик:

– Стой!

Он сам испортил себе игру, но теперь было поздно и некогда жалеть. Изо всех сил он побежал вперёд, прыгая на костылях. Получилось неплохо, во всяком случае, могло быть и хуже. Он искал глазами открытую калитку, незапертые ворота, но не было ни одной щели.

Они не стреляли больше и бежали молча по его следам. Поворачивая за угол, он мельком увидел двоих с винтовками, в шинелях. Он удвоил усилия и нёсся вперёд на своих костылях с сумасшедшей, как ему казалось, скоростью. «Убегу!» – решил он вдруг, и сердце запело в нём, как птица.

Но уже бежали ему навстречу ещё трое, уже видел он их штыки и жёлтую кожу подсумков; впереди, хлопая полами шинели, бежал офицер – отчётливо были видны на нём ремни и шашка, которую он придерживал рукой на отлёте. Тогда Матвеев бросил свёрток бумаги и ведёрко – оно покатилося, загремев, – кинулся в узкий угол, черневший между двумя домами, и замер, прижавшись пылавшим лицом к ледяным камням. Здесь был чёрный, неподвижный мрак и впереди проход блестел, как серебряная дверь.

Крепкий топот сапог приближался с обеих сторон. Сначала добежали те двое, которые догоняли его, и, брякая

винтовками, остановились за стеной, не показываясь. Через несколько секунд слева подошли остальные, – шли уже шагом, шурша шинелями по стене, потому что бежать ему было некуда. Они окликнули тех двоих.

– Хамидулин, ты? – И солдат справа ответил что-то.

– Оружие есть?

Это спрашивали уже у Матвеева.

– Нет.

Снова раздались торопливые голоса, шаги, потом в проходе показался офицер – пожилой усатый человек с повязанной щекой; он стоял, держа револьвер вперёд.

– Подними руки вверх.

Матвеев помолчал. Они хотели взять его со всеми удобствами, как покупку с прилавка, – по крайней мере этого не будет.

– Иди сюда, я с тобой что-то сделаю, – ответил он.

Угроза была беззубая, жалкая, и офицер понял это, – оружия у него не было, иначе он отстреливался бы.

– Вылазь оттуда.

– Не пойду! – глухо отозвался Матвеев.

Офицер вздохнул, потом спрятал револьвер в кобуру и поправил повязку. Много раз приходилось это слышать, и не было уже ни возбуждения, ни любопытства, ни дрожи – ничего. Все они надеются на какой-то последний, безумный шанс и – смешно – не понимают того, что есть закон, точный и немой, с которым нельзя спорить, как нельзя спорить с камнем. Люди проявляют болезненный интерес к своему концу. Конечно, этому, загнанному в угол, кажется, будто на всей земле ему первому приходится умирать.

– Ну, вылазь, вылазь, – сказал он терпеливо.

Матвеев молчал. Он упёрся спиной в угол и выставил костыли немного вперёд. Это давало ему устойчивость. Тут было узко, около аршина от стены до стены; слева был дом, справа широкий каменный амбар аляповатой постройки. В проходе, впереди, полукругом стояли солдаты, держа винтовки на ремне; на стволах и гранях штыков отражался полосками лунный блеск. Прямо над головой Матвеева было окно, закрытое ставнем, сквозь щели жёлтый свет ложился тонкой сеткой на щербатую стену амбара. Там, за окном, кто-то играл на рояле гамму – играл упорно, настойчиво, точно заколачивая гвозди. Гамма ступеньками взбиралась вверх до тончайших нот и снова спускалась к рокочущим басам.

– Выходи, что ли. Возиться тут с тобой!

На мгновение у него мелькнула мысль выйти. «Скорей отделаюсь», – подумал он. Но все в нём запротестовало против этого – до конца, так до конца, – и он остался стоять. Наступило молчание, потом свет в проходе исчез. Поставив винтовку к стене, солдат сделал шаг вперёд, чтобы вытащить его наружу, как вытаскивают под нож упирающегося телка. Он приблизился, шаря по стенам руками, когда вдруг его остановил короткий удар по переносице. Прежде чем он успел удивиться, новый удар между горлом и челюстью, отдавшись во всем теле, запрокинул ему голову назад и боком бросил на снег, как вещь.

Он поднялся, дрожа от неожиданности, прислушиваясь к шуму крови в ушах. Он не понимал, что это такое, и слепо бросился вперёд, чтобы тяжестью тела подмять его под жестокие удары казённых сапог. Дальше этого он не видел

ничего. Перед ним был калека, человек на костылях, лишённый защиты, – и он смел ещё отбиваться? Солдат размахнулся, ударил с плеча и попал куда-то, по уху, или по груди, – раздался глухой звук.

Но ему дорого обошёлся этот удар. На него обрушился целый град быстрых, точных ударов, – по подбородку, по губам, по носу, – в них чувствовались верный глаз и тяжёлая рука. Они ошеломяли, не давали опомниться и закрывали человека как стеной. Это было уже искусство, перед которым была бессильна его неуклюжая деревенская возня с широкими вялыми размахами и бесцельной жестокостью.

Он кидался и снова отлетал назад, отброшенный этой безошибочной силой. Потом – пауза и новый удар, опять между челюстью и горлом. И, наконец, последний, страшный, усиленный отчаянием удар в живот, нанесённый мгновенным разрядом всех мускулов. Он проник сквозь шинель, сквозь ватную телогрейку, – не уберегло и мохнатое японское бельё, – подсёк колени и сломал человека пополам. Для него это оказалось на несколько градусов крепче, чем он мог вынести, и солдат вылез на улицу, уже не помня, с чего все началось.

Несколько наполненных недоумением минут слышно было, как бубнил дурак за окном свои бессмысленные гаммы, поднимаясь и опускаясь по клавишам, – сначала густое рычащее «до», потом вверх, вверх, к тонкой, как волос, ноте. Потом в угол бросились, толкаясь, сразу трое. Они спешили ради бескорыстного желания поколотить человека, – поколотить так, слегка, не до крови, – скорее игра, чем серьёзное избиение. Но с первых же секунд они

увидели, что человек относится к этой игре горячо. В одно мгновение они получили своё – больше всего по лицу. Он рассыпал удары щедро, полной горстью, показывая своё блестящее мастерство, и держал всех троих на расстоянии вытянутой руки.

Бывает, что свершается изумительное, невозможное. Одна великолепная минута встаёт над всем и горит огнём, но потом снова наступает обычный порядок вещей, – так было всегда с того времени, как земля начала вертеться. Он бил их троих всех сразу, – он! – но его минута уже истекла. Это немыслимо, чтобы один человек на костылях мог устоять против троих хорошо накормленных мужчин. Хрустнул костыль, и кончилась великолепная матвеевская минута. Настало его время лежать на земле, а над ним возились трое солдат, обдирая каблуками стены и звеня подсумками.

– Трое вас там дураков, – сказал офицер, нетерпеливо прислушиваясь. – Тащите его сюда.

Это было легче сказать, чем сделать. Он упирался, вертелся, как бешеный, и не давался никак. Его можно было только бить, и они отводили душу, колотя от всего сердца, неторопливо и старательно, как выбивают из матраца пыль. Наконец они выволокли его наружу под руки, тяжело дыша и встряхивая на каждом шагу.

Он опять увидел ослепительную торжествующую луну и синий снег. Офицер, опустив глаза, разглядывал его ногу. Четвёртый солдат стоял, прислонившись к стене, ожесточённо плюясь; его лицо в лунном свете было бледно, как неживое. На земле валялись брошенные прокламации и вздрагивали на ветру, точно умирая.

– Можешь идти?

Они здорово отделали его. Что-то случилось с левой рукой, наверное, наступили каблуком, потому что пальцы распухли и сгибались с трудом. Но особенно досталось голове. Губы были разбиты, и текла кровь, на затылке глубоко оцарапали кожу. Он выплюнул кровь и сказал:

– Без костылей не могу. А один костыль сломан.

Он вдруг почувствовал, что у него по одеревеневшему лицу от усталости и напряжения текут слезы, и сам удивился этому.

– Может, его здесь, ваше благородие? – спросили сзади.

Дыша на озябшие пальцы, офицер кинул сердитый взгляд.

– Не крути мне голову, не заскакивай. Соберите бумагу. А ты – что там с тобой? Достань его костыли.

Когда солдат, державший за левую руку, нагнулся, Матвеев обратился к самому себе с единственной мольбой. Надо было только на несколько секунд удержать равновесие. Затаив дыхание, он вырвал вдруг левую руку и, резким движением всего тела повернувшись на каблуке, хватил другого солдата опухшим кулаком. От силы удара его самого покачнуло назад, он схватился за рукав солдата, и они упали вместе.

Это была его последняя драка, и он старался как только мог. Иногда им удавалось прижать его, но потом снова одним движением он вдруг вырывался и бил, что было мочи. Времени у него оставалось немного, и он спешил, одновременно нанося несколько ударов. Один из солдат все время старался ударить его в пах, – подлый, блатной удар, – и Матвеев, изловчившись, с огромным удовольствием хватил его ногой в грудь.

Ему удалось высвободить голову, и он судорожно вцепился зубами в чью-то руку. Ни на минуту он не обманывал себя. Арифметика была против него, ещё ни одному человеку не удалось справиться с этой проклятой наукой. Она знает только свои четыре действия и не слушает ни возражений, ни просьб.

— Ты кусаться... так ты кусаться... — услышал он прерывающийся голос.

Отчаянным усилием он сбросил с себя вцепившегося в горло солдата, и тут вдруг небо и земля лопнули в оглушительном грохоте. На мгновение кровь остановилась в нём, а потом метнулась горячей волной. Луна кривым зигзагом падала с неба, и снег стал горячим. Близко, около самых глаз, он увидел чей-то сапог, массивный и тяжёлый, как утюг.

Жизнь уходила из тела с каждым ударом сердца, на снегу расплзлось большое вишнёвое пятно, но он был слишком здоров, чтобы умереть сразу. Машинально, почти не сознавая, что он делает, Матвеев повернулся на живот и медленно подобрал под себя колени. Потом, вершок за вершком, напрягая все силы, он поднялся на руках на четвереньки и поднял голову, повернув к солдатам побелевшее лицо. Надо было кончать и уходить, — но он никак не мог отделаться от этой смешной привычки.

— Здоровый... дьявол, — донеслось до него. — Помучились с ним...

Это наполнило его безумной гордостью. Оно немного опоздало, его признание, но всё-таки пришло наконец. Теперь он получил всё, что ему причиталось. Снова он стоял в строю и смотрел на людей как равный и шёл вместе

со всеми напролом, через жизнь и смерть. Клонясь к земле, на снег, под невыносимой тяжестью роняя силы, он улыбнулся разбитыми губами.

Вдруг он увидел большую тень. Перед ним, один в пустом городе, стоял его конь, с белой отметиной на лбу, похожей на сердце, и смотрел в лицо преданными тёмными глазами. Черным серебром отливала грива, точёные ноги стояли твёрдо.

– Ты?..

Он поймал повод, вскочил на холодное седло и полетел прямо по длинной лунной дороге – догонять своих.

– Ну... я... не так уж плох, – прошептал он, точно отвечая на чей-то, когда-то заданный вопрос.

Это было его последнее тщеславие.

1928